

ГАЛИНА КРАСНАЯ

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ В КРЕМЛЕ



ГАЛИНА КРАСНАЯ

**ЖЕНСКИЕ
ИСТОРИИ
В КРЕМЛЕ**

**Минск
СОВРЕМЕННЫЙ
литератор
1999**

УДК 882(476)
ББК 84(4Бен-Рус)
К 78

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части, а также реализация тиража запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Красная Г. Н.

К 78 Женские истории в Кремле.— Мн.: Современ. литератор, 1999.— 416 с.

ISBN 985-456-265-4.

Жены кремлевских вождей, их дочери, любовницы даже «партийные дамы»... Чем жили они, что их мучило и волновало? Что обсуждали они со своими подругами, что могли рассказать в минуту откровения? Чаще всего им приходилось молчать и переживать свои проблемы наедине с собой. Но некоторые из них вели дневники, или позже (когда стало можно) писали мемуары. Так появились «Женские истории в Кремле». Это истории о женщинах, которые волей судьбы были связаны с кремлевскими властителями.

В монологах женщин и свидетельствах очевидцев вы найдете и почувствуете то, что долгое время было тайной — поиски своего женского Я в мире заговоров и интриг, царские привилегии и внутреннее одиночество, предательство и истинное благородство характеров. Французский путешественник маркиз де-Кюстин еще в XIX веке говорил о том, что «Кремль — это вовсе не то, чем его обычно считают. Это жилище призраков». Так вслушайтесь в голоса женщин, которые тут жили, любили и умирали. Поверьте, им есть о чем поведать, они могут даже многое прояснить из того, что касается проблем современной жизни — открыть глаза на то, чего мы не знаем.

УДК 882(476)
ББК 84(4Бен-Рус)

ISBN 985-456-265-4

© Современный литератор, 1999

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я ушла от мужа, уехала из столицы — кинула все. Вернулась в город, в котором родилась, в дом под липами. И теперь лежу на кровати, на которой умер мой дед, и слушаю, как деревья голыми ветвями скребут старую крышу. Конечно, лучше бы мне не знать, что именно на этой кровати умер мой дед, но в детстве я случайно услышала об этом и не смогла забыть. И думаю об этом каждый раз, когда лежу на этой кровати. Думаю, пока не засну. А сегодня мне трудно заснуть. Очень трудно. Я не знаю, что будет со мной дальше. Поэтому я лежу и думаю. Я слышала, что вещи, принадлежащие мертвым, сжигают. Но почему же я тогда видела в музее писателей-орловцев кушетку, на которой умер Иван Бунин? Значит не сжигают...

Я ушла со скандалом, решила не возвращаться. Была уверена, что во всем виноват муж. А теперь, оказавшись в доме на берегу реки, под старыми липами, почувствовала такую горечь... И уже не уверена ни в чем.

Март на дворе. Лед на реке набух, и вот-вот пойдет. Хотелось бы посмотреть ледоход. Это такое зрелище! Весь город выходит смотреть. Он начинается в полнолуние. На небе огромная луна, а по реке плывут льдины — сталкиваются, наезжают друг на друга, режут, как динозавры. Стоя на берегу в это время, чувствуешь восторг освобождения...

Теперь, когда мне так плохо, особенно хочется посмотреть на ледоход. И поэтому, лежа в кровати, на которой умер мой дед, я вслушиваюсь в ночные звуки — вдруг лед тронулся.

Я вспоминаю, как я ушла из дома... Подруга везла меня на машине, а я все плакала и говорила, что хочу уехать из столицы навсегда.

— У тебя это не получится! — убеждала меня подруга.

— Почему?

— Потому, что тебе не будет хватать общения.

— Общенья? Какого?

— Ну, если для тебя ничего не значат наши встречи и разговоры, если ты сможешь выдержать без этого... Тогда ты можешь ехать. Но будешь совсем одна.

— Да буду одна. А все разговоры мне заменит общение с молчаливыми друзьями — книгами. Мне не будет скучно.

А теперь, в ожидании ледохода, я думаю: «Что значат женские разговоры, женские истории? Все они так или иначе связаны с мужчинами... Кто лучше, кто хуже. Кто любит, кто не любит. Кто изменяет, а кто делает вид, что не занимается этим. Вот и все разговоры. А раз я одна, то и говорить мне не о чём. А потом я вспомнила книги, которые читала — воспоминания кремлевских жен, они о женщинах, которым было что сказать, но они молчали.

Женские истории в Кремле приравнивались к государственной тайне. А если и были разговоры, то проходили они примерно так, как рассказано в воспоминаниях Камила Икрамова, сына Акмаля Икрамова, расстрелянного в 1938 году:

«Летом пятьдесят шестого года ко мне пришла пожилая женщина и в слезах рассказала, что она близкая подруга моей матери, жена одного из пер-

вых среднеазиатских коммунистов Ханифа Бурнашева, что звать ее надо тетя Надя. Тетю Надю реабилитировали, посмертно оправдали мужа, бывшего члена коллегии Наркомзема СССР, и она получила денежную компенсацию за конфискованные вещи, а также двухмесячный оклад свой и мужа.

Она узнала, что я жив, и просила меня взять несколько тысяч рублей, ибо у нее нет никого ближе. Денег я не взял, но она купила мне отличные ботинки на микропористой подошве, потому что увидела, что мои рваные.

— Я говорила с твоей мамой в последний раз в июне тридцать седьмого. Вы жили тогда в гостинице. Она была одна в номере. Я пришла и говорю: «Женя! Ханифа арестовали! Что мне делать?» А мама твоя говорит: «Собирай вещи, забирай дочку, мы завтра возвращаемся в Ташкент, поедешь нашим вагоном». Я говорю: «Женя, не могу я бросить здесь Ханифа, надо хлопотать, ведь он невиновен». А она ответила мне: «Если его взяли, Надюша, значит, он — сволочь».

Моя мама, Евгения Львовна Зелькина — старый член партии, экономист-аграрник, очень знающая и талантливая, была заместителем наркома земледелия Узбекистана. С Ханифом Бурнашевым она работала с 1922 года и знала его так же давно, как и моего отца.

— Понимаешь? Она мне сказала: «Если его взяли, значит, он — сволочь». Я тогда упала в обморок.

Мне стало стыдно за мать, а тетя Надя, увидев мою растерянность, добавила:

— Нет. Ты не понимаешь. Я упала в обморок потому, что когда в тридцать шестом арестовали моего главного редактора (я в издательстве работала), Ха-

ниф сказал: «Если его взяли, значит, он — сволочь». Те же самые слова. От этого я сознание потеряла.

Тетя Надя не была ответственным работником. Она жалела своего редактора, любила мужа, до сих пор жалеет мою мать. Недавно я узнал, что тогда же, когда мать говорила это, в мае и июне тридцать седьмого, на допросах в НКВД Узбекистана арестованных сотрудников Наркомзема под пытками заставляли давать показания о ее вредительской деятельности.

Это было, когда Сталин обнимал моего отца на заключительном концерте декады узбекского искусства в Большом театре и указывал аплодирующему залу: «Не мне аплодируйте, а ему. Это он такой молодец».

1917 год перевернул весь жизненный уклад Российской империи. Социалистическая революция предполагала продолжение — революцию сексуальную. Сразу после 1917 года стала меняться жизнь, изменилась и мораль.

Начало нэпа по времени совпало с бурными дискуссиями по половому вопросу, в них не принимал участия разве что ленивый. Большевистские теоретики во главе с Александрой Коллонтай горой стояли за теорию «Эроса крылатого» — мужчины и женщины освобождались от формальных уз. И без того никогда не отличавшиеся строгостью нравов низы получили теоретическую основу для блуда. На каждом шагу заявлялось об отмирании семьи и в подтверждение этому пропагандировалась жизнь в коммунах.

В 1927 году была введена непрерывная рабочая неделя со скользющим графиком. У разных членов семьи смены не совпадали, к чему это приводило — не трудно догадаться. Теоретик Ю. Ларин и вовсе заявил

о 100-процентном обобществлении быта. По его проекту рабочие должны жить в семейных коммунах, спать там по 6 человек в комнате, а ежели кто-то пожелает уединиться с женщиной, то для этих целей предполагалось иметь один двухместный номер. Подобная бесконтрольность в половых связях привела к огромному количеству внебрачных детей и невероятно широко распространившимся венерическим заболеваниям. В 1922 году в Московском университете имени Я. М. Свердлова 40 процентов студентов были больны триппером, а 21 процент имели более чем два венерических заболевания. Вольность взглядов породила еще одно нелицеприятное явление: участились случаи изнасилований и убийств женщин — видимо, жертвами становились чаще те, кто отказывался участвовать в «свободной любви». Все чаще и чаще специальным комиссиям приходилось расследовать случаи «нетоварищеского отношения к девушкам».

На рубеже 20—30-х годов сексуальная революция постепенно пошла на убыль. Заметно ужесточились нормы социальной жизни. Теоретиком нового движения выступила заведующая женотделом ЦК ВКП(б) П. Виноградова. Она говорила: «Излишнее внимание к вопросам пола может ослабить боеспособность пролетарских масс». Еще один теоретик А. Залкинд утверждал, что «класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих членов». Новая ситуация рождала новые курьезы. На московском заводе «Серп и молот» парня исключили из комсомола за то, что тот пытался склонить девушку к сожителству. Но в процессе разбирательства все же не это оказало решающее влияние на вердикт. Хуже, чем приставание к девушке, было то, что парнишка оказался сыном кулака, а отсюда и вердикт: «блокировался с кулаками и противодействовал поли-

тике Советской власти». В 30-х годах подобные разбирательства стали уже не редкостью. Интимная жизнь оказалась предельно политизированной. Журналисты перестали устраивать дискуссии по половым проблемам, с городских улиц исчезли легкомысленно одетые девушки, а ВЛКСМ занимался тем, что разбирал на собраниях молодых людей, исключая их из комсомола за то, что «он гулял одновременно с двумя». Власти активно поощряли новый социалистический аскетизм. Примерно с 1937 года любая бытовая неурядица могла принять размах громкого дела. Газеты на своих страницах сетовали на то, что враги «привили молодежи буржуазные взгляды на вопросы любви и брака и тем самым разложили молодежь политически». Жестоко клеймились добрачные половые связи и разводы. Последний мог поставить крест на всей карьере коммуниста или комсомольца. Таким образом, вторая половина 30-х годов прославилась не только нетерпимостью и фанатизмом, но жестоким подавлением естественных человеческих стремлений.

Теория свободной любви оказалась нежизнеспособной в условиях тоталитарного государства. Ведь практика — критерий истины, а на практике все оказалось не так просто. Одно дело рассуждать о свободной любви, но совсем другое дело, когда такие принципы свободы претворяет в жизнь твоя жена...

И все же были в Кремле женщины (жены, дочери, возлюбленные вождей и партийные дамы), а значит не обошлось и без жизненных историй, без женских историй. И теперь я обращаюсь к воспоминаниям этих женщин и свидетельствам очевидцев, чтобы приоткрыть завесу тайны.

ЧАСТЬ I

ЖЕНЫ И СОРАТНИЦЫ

«КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЬ»

Есть женщины, которым суждено остаться вечными детьми. Чаще всего это те, кто не имеет своих собственных детей. Такая женщина никогда не услышит слово «мама», обращенное к ней самой. Она будет только дочкой. Большевичка Полина Виноградова вспоминала: «Однажды я пришла по делу к Надежде Константиновне домой вечером. Мы сидели у нее в кабинете, когда ее зачем-то позвали на кухню. Оставшись одна, я приподнялась на носки, чтобы лучше рассмотреть детский портрет Владимира Ильича, висевший на стене. Это был написанный маслом портрет с семейной фотографии. На меня смотрел мальчик с огромными, проникновенными и в то же время удивленными глазами. Я так засмотрелась на него, что не услышала легких шагов вошедшей Надежды Константиновны. Постояв немного за моей спиной, она положила мне руку на плечо и сказала:

— А! Вы залюбовались маленьким Ильичом! — И задумчиво, еле слышно добавила: — Я очень жалею, что у меня не было детей. Как хорошо было бы, если бы тут бегал такой вот Ильичек! — Но тут же спохватилась и добавила: — Впрочем, у меня ведь много ребят. Все дети Советской России — мои дети. Они мне часто пишут, и я им отвечаю».

Сама Крупская стала свидетельницей такой сцены. Как-то в день 8 Марта она была на одной фабрике. В президиуме рядом сидела пионерка с каким-то свертком. Крупская спрашивает:

— Что это у тебя?

— Это — вышитый плакат, мы подносим его сегодня коллективной матери.

— Кому?!

— Коллективной матери.

— Кто это?

— А это мать; для которой все дети как свои.

Какое-то подобие этой самой «коллективной матери» пытались сделать советские идеологи из самой Крупской. Но разве бывает мать «коллективной»?

На старости лет в своих многочисленных беседах с молодежью Надежда Константиновна Крупская не уставала повторять, что Владимир Ильич никогда не смог бы полюбить женщину, с которой расходился бы во взглядах, которая не была бы товарищем по работе.

Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях уделил внимание отношениям Ленина с женщинами и мнению Сталина по поводу этих отношений: «Сталин совсем не уважал Надежду Константиновну. Не уважал он и Марию Ильиничну. Вообще он очень плохо отзывался о них, считал, что они не представляли никакой ценности в партии. Мне было не по себе, когда я видел, с каким пренебрежением относился Сталин к Надежде Константиновне еще при ее жизни.

Я был воспитан как молодой коммунист с послеоктябрьским стажем. Я привык смотреть на Ленина с уважением, как на вождя, а Надежда Константиновна — это неотделимая часть самого Ленина. Поэто-

му мне было очень горько смотреть на нее на активках. Бывало, придет старушка, дряхлая, ее все сторонятся, ведь она считается человеком, который не отражает партийной линии, к которой надо присматриваться, потому что она неправильно понимает политику партии и выступает против целого ряда положений.

Теперь, когда я анализирую то, что делалось в то время, думаю, что она была в этих вопросах права, но тогда все смешивалось в одну кучу и все забрасывали грязью Надежду Константиновну и Марию Ильиничну.

В узком кругу Сталин объяснял, что Крупская и не была женой Ленина. Он другой раз выражался весьма вольно. Уже после смерти Крупской, когда он вспоминал об этом периоде, он говорил, что если бы дальше так продолжалось, то мы могли бы поставить под сомнение, что она являлась женой Ленина. Он говорил, что могли бы объявить, что другая была женой Ленина, и назвал довольно солидного и уважаемого человека в партии».

Существует версия, что Сталин угрожал Крупской в случае ее малейшего неповиновения объявить официальной женой Ленина Инессу Арманд.

Тем не менее Крупская оставила теплые, если не восторженные воспоминания об Инессе Арманд. В 1926 году она работала редактором сборника «Памяти Инессы Арманд». Самозабвенно посвятив всю себя мужу, она после его смерти стремилась уберечь его личную жизнь от всяких кривотолков. Детей же Инессы Арманд Крупская в своей одинокой старости любила горячо и искренне.

После смерти Ленина, выступая перед советской

общественностью, Крупская говорила о том, как она скрашивала суровые дни Ленина в далекой сибирской ссылке (куда она, как невеста, отправилась сама, добровольно, вместо назначенной ей более близкой и легкой ссылки в Уфимскую губернию).

Маленькая Надя была единственной дочерью Елизаветы Васильевны и Константина Игнатьевича Крупских, росла в атмосфере любви, ласки и внимания, царивших в семье.

Отец Надежды служил офицером. Его часть была расквартирована в Польше, входившей тогда в Российскую империю. Константин Игнатьевич, как человек прогрессивных взглядов, порицал жестокую расправу царского правительства с освободительным движением поляков и белорусов. Он был против русификаторской политики, которую проводили русские власти. Этого было достаточно, чтобы уволить Крупского как неблагонадежного и предать суду. Семья познала нужду, гонения, скитания.

Отец умер, когда Наде было 14 лет.

После смерти отца Надя с матерью жили в Петербурге, на старом Невском. Надя подрабатывала, давая уроки. Об этом периоде их жизни вспоминала Мария Куприна-Иорданская, которая была в ту пору маленькой девочкой, а Крупская готовила ее к поступлению в гимназию:

«Вход в квартиру был под воротами. Подниматься надо было по темной, крутой и узкой лестнице. На площадке первого этажа — обитая старой клеенкой дверь. С правой стороны на проволоке висела деревянная груша. Когда за нее дергали, в передней дребезжал колокольчик.

Дверь открывала Надежда Константиновна, и я повисала у нее на шее.

— Ну, будет, будет, раздевайся, Мышка, — говорила она смеясь, когда я долго не отрывалась от нее.

Дома Надежда Константиновна не закалывала волосы в прическу, и ее длинная пышная коса спускалась ниже пояса. Иногда она позволяла мне расплетать и снова заплетать ее косу. Это занятие доставляло мне огромное удовольствие. Если гребенка запутывалась в ее густых волосах, она только морщилась и смеялась. Но от банта, которым я непременно хотела украсить ее голову, она решительно отказывалась и не сдавалась ни на какие мои просьбы.

Елизавета Васильевна очень любила свою дочь — ведь больше у нее никого не было. Она просто восхищалась своей Надей.

После занятий предлагала дочери и ее ученице по стакану какао, при этом, обращаясь к девочке говорила: «Ты такая худенькая, настоящая мышка. Если ты будешь мало есть, у тебя никогда не будет такой косы, как у Наденьки, и навсегда останется такой маленький мышинный хвостик».

Крупская вспоминала: «Я росла под двумя влияниями — отца и матери. Отец был типичным шестидесятником: глубоко верил в науку, читал «Колокол» Герцена, принимал некоторое участие в революционном движении, насмешливо относился ко всякой религии.

...Мать также воспитывалась в закрытом учебном заведении — в институте. Священник у них был прекрасным педагогом. Для матери церковные службы связаны были с целым рядом радостных переживаний, она была одной из лучших певчих. Мать не соблюдала обрядов не говела, не постилась, в церковь

ходила лишь изредка, когда бывало «настроение», дома никогда не молилась, но в квартире у нас висели образа, у моей кровати красовался семейный образок, и иногда мать брала меня с собой ко всеобщей...

...Я часто думала, где, в чем лежали корни моей религиозности. Ко всякой мистике я чувствовала всегда глубокую, инстинктивную ненависть.

...Зачем мне нужна была религия? Я думаю, что одной из причин было одиночество. Я росла одиноко. Я очень много читала, много видела. Я не умела оформить своих переживаний и мыслей так, чтобы они стали понятны другим. Особенно мучительно это было в переходный период. У меня всегда было много подруг. Но мы общались как-то на другой почве. И вот тут мне очень нужен был Бог. Он, по тогдашним моим понятиям, по должности должен понимать, что происходит в душе у каждого человека. Я любила сидеть часами, смотреть на лампадку и думать о том, чего словами не скажешь, и знать, что кто-то тут близко и тебя понимает.

На ребенка, впервые попавшего в церковь, обстановка производила незабываемое впечатление, и семена религиозности бывали брошенными в очень благодатную почву.

Католическая церковь прекрасно знала силу впечатлений раннего детства и потому всячески как можно сильнее старалась влиять на ребят. Мне запомнилась одна сцена. Жили мы в Париже. Как-то встала я на рассвете и подошла к окну. Что же я увидела? По улице в глубоком молчании шествовала похоронная процессия. Хоронили воспитанницу католического приюта. Все девочки, в том числе и дошкольницы, были одеты в длинные балахоны, держали в руках зажженные свечи. Эта сцена была жуткая. Мож-

но представить, какое впечатление оставила эта процессия у малышей.

Позже марксизм радикально излечил меня от всякой религиозности».

Познакомившись в 1894 году с В. И. Лениным у Классона (как известно, под предлогом вечеринки у него было устроено нелегальное совещание), Надежда почувствовала способности Ленина воздействовать на людей.

Крупская сразу же настроилась «на волну» Ленина и готова была идти за ним хоть на край света. И это вопреки мнению некоторых товарищей, знавших Ленина раньше и уверявших, что он, дескать, «сухарь» и ничем, кроме экономической науки, не интересуется и ни на что другое не способен.

Здесь сказала, если так можно выразиться, особая, свойственная ей женская интуиция.

Владимир Ульянов тоже проникся к ней доверием и вскоре раскрыл одну из своих семейных тайн. Крупская вспоминала: «Потом, когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось «общество» к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы. Тогда еще не было железной дороги из Симбирска. Матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчика — никто не захотел ехать с матерью арестованного».

Встретив Ленина, Крупская связала с ним свою судьбу. У некоторых вызывает недоумение, что, ког-

да Ленин сделал ей предложение стать его женой, она ответила так прозаично «Женой, так женой». Но в том-то и дело, что у них, помимо молодой влюбленности, было такое взаимопонимание, такая общность интересов, что высокие слова были не нужны.

С той питерской поры, когда Владимир Ильич стал провожать Крупскую домой после занятий в кружках, со времени тех воскресных дней, когда он заезжал к ней, а она с энтузиазмом рассказывала о своей работе в воскресной школе (в которую была влюблена, и ее можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе), — им обоим стало ясно, что чувства и мысли у них едины и они должны быть вместе.

Возможно, Крупская никогда бы не вышла замуж за Ленина, не окажись он в тюрьме. Должен же был кто-то носить ему передачи, ходить на свидания. Всем известно, что этим занимались так называемые «невесты». Очень часто за неимением настоящих «невесты» были «подсадные».

Вот и Крупская стала такой «невестой», но выполняла свои обязанности настолько старательно, что Ильичу это запало в душу. Он понял, что это оптимальный вариант, и лучшей невесты ему не найти. Крупская вспоминала: — «В те времена заключенным в «предварилке» можно было передавать книг сколько угодно. Они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки быстро совершенствовалась. Характерна была забота Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд пору-

чений, относительно сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги.

Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, оптимизмом. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 г. меня тоже посадили). Письма молоком приходили в день передачи книг — в субботу. Посмотришь на условные знаки и удостоверись, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заварить чай, а как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай — письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей.

Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы — я и Аполлинария Александровна Якубова — в определенный час пришли и стали на

этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполли-
нария почему-то не могла пойти, а я несколько
дней ходила и подолгу простаивала на этом кусоч-
ке. Только из этого плана ничего не вышло, не по-
мню уж почему.

Меня выпустили вскоре после «ветровской исто-
рии» (заклученная Ветрова сожгла себя в Петро-
павловской крепости).

Жандармы выпустили целый ряд сидевших
женщин, и меня оставили до окончания дела в Пи-
тере, приставив пару шпионов, ходивших всюду по
пятам.

Мне дали три года ссылки в Уфимскую губер-
нию, но я попросилась в село Шушенское, где жил
Владимир Ильич, для чего объявилась его «невес-
той».

В Минусинск доехала за свой счет. Поехала со мной
и моя мать. Приехали в Красноярск 1 мая 1898 года.
Оттуда надо было ехать на пароходе вверх по Енисею,
но пароходы еще не ходили.

В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы
прибыли в сумерки; Владимир Ильич был на охоте.
Мы выгрузились, нас провели в избу. В Сибири —
в Минусинском округе — крестьяне очень чисто
живут, полы устланы пестрыми самоткаными до-
рожками, стены чисто выбелены и украшены пих-
той. Комната Владимира Ильича была хоть невели-
ка, но уютна и чиста. Нам с мамой хозяева уступили
остальную часть избы. В избу набились хозяева
и соседи. Они усердно нас разглядывали и расспра-
шивали. Наконец, вернулся с охоты Владимир Иль-
ич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал,
что это Оскар Александрович (ссылный питер-
ский рабочий) пришел пьяный и все книги у него
разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я

ему навстречу из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь.

Правда, обед и ужин были простоваты. Одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока не съест. Как съест — покупали на неделю мяса — работница во дворе в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона Женьки, которого он выучил и стойку делать и всякой другой собачьей науке. Так как у Зыряновых мужики часто напивались, да и семейным образом жить там было во многих отношениях неудобно, мы перебрались вскоре на другую квартиру — наняли полдома с огородом за четыре рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству. И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по полу. Потом привыкла. В огороде выросла всякая всячина — огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад — съездили мы с Ильичем в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство.

Через пару лет вся семья в полном составе — муж, жена и теща — переехали в Европу.

В 1901 году Владимир Ульянов занимался изданием и распространением газеты «Искра». Он жил на окраине Мюнхена с Надеждой Константинов-

ной и матерью ее Елизаветой Васильевной Крупской, никогда не расстававшейся с дочерью и неизменно следовавшей за ней и в ссылку и в эмиграцию.

В Мюнхене они присмотрели удобную с точки зрения конспирации квартиру в большом, только что отстроенном доме. Плата квартирная была умеренная. Удобств и комфорта хозяева не обещали, но зато жильцов было много, никто друг друга не знал, чужой жизнью не интересовался, не то что в маленьком домишке, когда вся жизнь на виду. Это обстоятельство Ульяновых очень устраивало. Правда, пришлось обзаводиться хозяйством. Купили мебель на распродаже по дешевке. Крупская так описала их комнату: «...комната была небольшая, продолговатая, посередине стоял длинный деревянный стол, деревянные стулья, никаких портретов по стенам не висело (мы жили под фамилией Иордановых). Насколько скромна была обстановка, видно из того, что при отъезде мы всю обстановку продали за 12 марок».

На столе у Надежды Константиновны — ее «орудия производства»: пузырек с симпатическими чернилами, которыми она между строками какого-нибудь «поздравления с днем ангела» заносила свои шифровки. Днями и ночами просиживала здесь Надежда Константиновна, расшифровывая получаемую из России информацию о состоянии дел на местах и зашифровывая послания В. И. Ленина комитетам и отдельным работникам о положении, создавшемся в партийных центрах за границей, и о том, что надо делать дальше.

Почерк Крупской знали уже во всех концах России. При обысках полицейские все чаще находили письма, подписанные коротко «Катя». В ее досье ло-

жится новое донесение: «Проживая во второй половине 1901 года за границей, она под именем «Кати» вела оживленную конспиративную переписку со всеми действующими в России комитетами Российской социал-демократической рабочей партии и занимала центральное положение в заграничной организации «Искры».

В досье не было указано, что во всех этих делах ей помогала мать — Елизавета Васильевна.

Надежда Константиновна и Елизавета Васильевна наладили «производство» так называемых «корсетов». Они шили широкие пояса с большими карманами, куда закладывали иногда до сотни номеров «Искры», напечатанной на папиросной бумаге. «Корсет» надевался прямо на тело, под одежду, и служил довольно надежно. Ведь переезжающих границу не обыскивали, для этого нужно было особое указание полиции, а чемоданы просматривали все.

«Искра» вышла на международную арену. Типографии нужен постоянный приток денег. Все средства партии идут на газету. А Ленина с Крупской кормит Елизавета Васильевна. Ее пенсии с горем по полам хватает на троих.

С приездом Елизаветы Васильевны у Крупской стало больше времени для партийной и своей собственной работы: мать взяла на себя ведение хозяйства.

Целых 15 лет жили «Ильичи» в эмиграции, они переезжали из страны в страну, и повсюду их сопровождала мать Крупской. Со своей матерью Ленин переписывался.

Осень 1902 года в Лондоне была на редкость солнечная и сухая, что нечасто случалось в стране туманов. «Погода здесь стоит для осени удивительно хо-

рошая — должно быть в возмездие за плохое лето. Мы с Надей уже не раз отправлялись искать — и находили — хорошие пригороды с «настоящей природой», — пишет Владимир Ильич матери.

Иногда собирались друзья и все вместе отправлялись на велосипедах за город. Надежда Константиновна очень любила такие поездки. Они давали возможность хотя бы на некоторое время выключиться из напряженного ритма работы, передохнуть и отвлечься. Иногда забирали с собой Елизавету Васильевну и уезжали на целый день, но такой отдых позволяли себе только в воскресные дни. Изредка удавалось выбраться в театр или на хороший концерт.

Перед самым переездом из Лондона в Женеву Владимир Ильич заболел — сказалось постоянное нервное и физическое перенапряжение. В то время Ульяновы были так ограничены в средствах, что Крупской и в голову не пришло обратиться к английскому врачу — слишком это было дорого. Будучи полностью уверенной в своих «многочисленных талантах», Надежда Константиновна, поставив по медицинским справочникам диагноз (совершенно неверный), стала лечить Владимира Ильича домашними средствами.

Во время этих медицинских экспериментов Ленин метался от боли, а Крупская проклинала европейские поезда, где не было спальных вагонов.

В Женеве Владимира Ильича осмотрел настоящий доктор из эмигрантов и пришел в ужас от их методов самолечения. Владимир Ильич пролежал две недели — у него был тяжелейший приступ нервной болезни — воспаление грудных и спинных нервных окончаний.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна по-

селились в рабочем предместье Сешерон, где прожили до 17 июня 1904 года.

В июне 1904 года «Ильичи» выехали в Лозанну, откуда Крупская писала своей свекрови, Марии Александровне:

«Сейчас мы в Лозанне. Уже с неделю, как выбрались из Женевы и отдыхаем в полном смысле этого слова. Дела и заботы оставили в Женеве, а тут спим по 10 часов в сутки, купаемся, гуляем — Володя даже газет толком не читает, вообще книг было взято минимум, да и те отправляем нечитанными завтра в Женеву, а сами в 4 часа утра отправляемся недели на две в горы».

Чтобы полностью отключиться от партийных дел, Ульяновы забираются в горы, в самую глушь. Еще в Женеве они договариваются: о политике ни слова. Крупская вспоминала: «Мы с Владимиром Ильичем взяли мешки и ушли на месяц в горы. Мы выбирали самые дикие тропинки, забирались в самую глушь, подальше от людей. Пробродяжничали мы месяц: сегодня не знали, где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали.

Деньжат у нас было в обрез, и питались больше всухомятку — сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. В одном трактирчике рабочий посоветовал: «Вы обедайте не с туристами, а с кучерами, шоферами, чернорабочими: там вдвое дешевле и сытнее». Мы так и стали делать. Мелкий чиновник, лавочник и т. п. готов был скорее отказаться от прогулки, чем сесть за один стол с прислугой. Это мешчанство процветает в Европе всюю. Там много говорят о демократии, но сесть за один стол с прислугой не у себя дома, а в шикарном отеле — это выше сил всякого выби-

вающегося в люди мещанина. И Владимир Ильич с особенным удовольствием шел обедать в застольную, ел там с особым аппетитом и всегда нахваливал дешевый и сытный обед».

Из этого путешествия вернулись загорелыми и отдохнувшими.

Но через два года у Ленина — очередной нервный срыв...

Усталость проявилась в бессоннице, страшных головных болях, полном отсутствии аппетита. Посоветовавшись с товарищами, Надежда Константиновна настояла на отъезде мужа в Стирсуден (Финляндия), где на одинокой даче жила семья Лидии Михайловны Книпович. Сама же Крупская тоже едет в Стирсуден.

Море, сосны и тишина. Ульяновы купаются, ездят на велосипедах, слушают музыку — одна из родственниц Книповичей была певицей. В их жизни мало выпадало подобных минут.

К этому времени относится маленькая любительская фотография — Надежда Константиновна и Елизавета Васильевна сидят в двуколке. Крупская улыбается, лицо счастливое...

Семья Ульяновых дружно готовила государственный переворот. И вот переворот состоялся. Большевики, как и предсказывал Ленин, «взяли власть».

Известно, что во время взятия власти Ленин был на грани потери рассудка.

«В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе, — рассказывал Н. И. Бухарин. — У меня в кармане пальто была бутылка хорошего вина, и мы долго сидели за столом.

Под утро Ильич попросил повторить что-то о разгоне Учредилки и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.

Мы даже не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем».

19 марта 1918 года Ленин и Крупская переехали в Кремль, где был сосредоточен центр управления всей страной.

Но Елизавете Васильевне не было дано увидеть триумф своего зятя — она не дожила до этого времени. Рядом нет мамы, которая вела «все нехитрое хозяйство», но уже есть возможность нанять домработницу. Об этом нюансе вспоминал Эдуард Эдуардович Смилга: «Для семьи Владимира Ильича подыскали три небольшие комнаты с кухней, маленькой передней, ванной и комнатой для домработницы.

Бонч-Бруевич отдал распоряжение оборудовать эти комнаты. Когда с ремонтом было покончено, нам дали задание обставить квартиру мебелью. Так как в нашем распоряжении был весь Кремль, мы натаскали в новую квартиру самую лучшую мебель, какую только можно было найти, обставили квартиру Ильича позолоченными стульями и креслами, обитыми шелком и бархатом, зеркальными шкафами, массивными столами и т. д. Уж очень нам хотелось доставить любимому вождю удовольствие».

Все люди смертны. В страшных муках отошел в мир иной и Ленин. У него не было детей, он не оставил потомства, но в мире до сих пор полным-пол-

но его духовных наследников. Они ходят и смотрят на тело своего вождя и учителя, которое забальзамировано в Мавзолее. Если Крупской не удалось стать «коллективной матерью», то ее супругу удалось превратиться в «коллективного отца».

Посетивший в 1928 году Советский Союз Стефан Цвейг писал о «старых и новых святынях»: «В сорока шагах друг от друга находятся старая и новая святыни Москвы — икона Иверской Божьей матери и Мавзолей Ленина. Старая закоптелая икона стоит, нетревожимая, и сейчас, как несчетные годы до этого, в маленькой часовенке между двумя воротами, ведущими из Кремля на Красную площадь. Бесчисленные толпы людей приходили сюда, чтобы на несколько минут благоговейно пасть ниц перед иконой, поставить свечку, произнести молитву перед Чудотворной. Теперь же поблизости висит плакат новых властей, на нем написано: «Религия — опиум для народа». Но старая народная святыня осталась невредимой, подойти к ней может всякий; и постоянно можно увидеть несколько старушек, стоящих на каменных плитах возле нее на коленях, погруженных в молитву. Таких старушек... теперь немного, ибо огромное количество людей поклоняется новой святыне, могиле Ленина. В громадной, образующей шесть или семь петель очереди стоят люди: крестьяне, солдаты, городские женщины, крестьянки с детьми на руках, торговцы, матросы — весь народ с беспредельных просторов России пришел сюда, желая еще раз посмотреть на своего вождя, уже умершего, но как бы живого. Терпеливо стоят эти сотни, тысячи людей перед очень простым и симметричным строением из кавказского красного дерева, ничем не украшенным, лишь пять букв на фасаде — ЛЕНИН. И чувствуешь, как здесь проявляется

другая набожность того же верующего народа. Умелая рука энергичным движением повернула толпу из сферы религиозной в сферу социальную — не церковную святыню следует почитать народу, а вождя. Но в сущности это одно и то же: вера русского народа переключилась с одного символа на другой, от Христа к Ленину, от народного бога — к мифу о единственно правом и правящем божьем народе. Какое-то время колеблешься, стоит ли спускаться в Мавзолей, так как знаешь, что там в гробу под стеклом покоится тело Ленина, забальзамированное с применением современных технических средств, содержится в условиях, создающих иллюзию живого человека. Все же я наконец решился и молча, вместе с другими, спустился в ярко освещенную крипту, украшенную советскими символами, чтобы, медленно двигаясь (никто не должен останавливаться), обойти с трех сторон стеклянный гроб. И как бы сильно мои чувства ни противились этому зрелищу, как чему-то совершенно противоестественному, зрительное впечатление осталось незабываемым. Укрытый по грудь, как будто спящий, Ленин покоится на красной подушке. Руки его лежат на покрывале. Глаза закрыты, эти небольшие серые, известные всем по бесчисленным фотографиям и картинам, страстные глаза. Губы некогда прекрасного оратора плотно сжаты, но и в этом сне облик таит в себе силу. Она — в гранитном выпуклом лбе, в собранности и спокойствии полных энергии нерусских черт. Давит тревожная тишина в зале, ведь крестьяне, солдаты с шапками в руках, в тяжелых сапогах, сдерживая дыхание, проходят без малейшего шума; еще больше потрясает взгляд женщин, робко, с благоговением смотрящих на этот фантастический гроб, — величественно и единственно в своем роде это торже-

ственное шествие Молчания тысяч и тысяч людей, часами стоящих в очереди, чтобы в течение минуты посмотреть на человеческий образ уже ставшего мифом вождя и освободителя. Обладая непогрешимым пониманием силы массового воздействия, новое правительство опиралось на древнейшее и поэтому самое действенное свойство русского духа. Оно очень правильно почувствовало: именно потому, что марксистское учение само по себе материально и совершенно лишено понимания искусства, его, это учение, следует преобразовать в мифическое, наполнить религиозным содержанием. Поэтому советская власть теперь, через десять лет, создала из своих вождей легенды, из людей, павших за дело революции, — мучеников, из своей идеологии — религию; и, вероятно, эта их психологическая стратегия особенно убедительной представляется здесь, на этой площади, где в какой-то полусотне шагов друг от друга находятся две святыни русского народа, два места его паломничества — часовенка с иконой Иверской Божьей матери и Мавзолей Ленина».

Прошли годы, но что изменилось?

ВСТРЕЧА С АБСОЛЮТОМ

У каждого — свои радости... То, что радует и наполняет жизнь одного человека, оставляет равнодушным другого. Так, большинство бедных стремятся разбогатеть, а часть богатых ведут аскетический образ жизни. А в начале XX века многие состоятельные, а кроме того, умнейшие, образованные и благородные люди отказывались от всего, что было дано по праву рождения, во имя великих идей — добра и справедливости. Вдохновленные революционными идеями, девушки уходили из аристократических семей. Среди них была и Абсолют. Это — партийная кличка Елены Стасовой. Отец ее, Дмитрий Васильевич, известный юрист, прекрасный музыкант, друг Глинки и Антона Рубинштейна, — один из основателей Петербургской консерватории и Русского музыкального общества. Дядя, Владимир Васильевич, к которому была особенно привязана юная Леля, — замечательный художественный и музыкальный критик. Владимир Стасов стоял у истоков двух бурных течений в русской культуре: Товарищества передвижников в живописи и «Могучей кучки» в музыке. Леля Стасова с детских лет погрузилась в бескрайний океан высокого искусства. Роясь в огромной библиотеке отца, она рано открыла для себя «Божественную комедию» Данте и «Дон Кихота» Сервантеса. Она часами простаивала перед замечательными полотнами,

висевшими на стенах отцовской квартиры, подарками великих художников. «Осужденный» Маковского, эскизы к «Бурлакам» Репина, «Тройка» Перова, портреты родных, написанные Репиным и Крамским... Скульптуры Антокольского... Она слушала, притаясь где-нибудь в углу гостиной, новые музыкальные пьесы в исполнении самих композиторов, крупнейших мастеров. Она была покорена могучим басом Федора Ивановича Шаляпина. Надо заметить, что отец и дядя были людьми прогрессивными. Молодая девушка — сдержанная, молчаливая, всегда строго одетая, конденсировала в себе энергию, которая страстно искала выхода. Начала преподавать в женской воскресной вечерней школе Технического общества, на Лиговке. Крупская привлекла Стасову к работе в политическом Красном Кресте — организации, связанной с революционным движением. Вскоре Елена стала помогать в хранении подпольной литературы. Среди нелегально изданных листовок одна, с надписью синим карандашом «Петухи», особенно взволновала Стасову. Это было воззвание к рабочим фабрики Торнтонна. Забастовка 500 ткачей вспыхнула 5 ноября 1895 года под руководством «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Листовка страстно призывала всех рабочих и работниц фабрики к поддержке бастующих ткачей. В ней были собраны убедительные материалы из жизни торнтонских рабочих. Эту листовку написал Ленин.

Елена Стасова рассказывает о себе: «Родилась я в Петербурге в дворянской семье.

Обе мои старшие сестры вышли замуж за гвардейских офицеров; старшие братья воспитывались

в училище правоведения, аристократическом учебном заведении. Сама я закончила частную, привилегированную, женскую гимназию.

В семье, несомненно, преобладали демократические тенденции. Вот, например, в письменном столе отца, в левой колонке, которая была открыта, и нам, детям, разрешалось смотреть то, что там было, в одном из ящичков хранилась большая коллекция фотографий декабристов, Софьи Перовской, Веры Засулич, отдельных членов процесса 193-х, парижских коммунаров, Гарибальди. Эти фотографии у меня всегда стоят перед глазами. Относительно процесса Веры Засулич хорошо помню рассказы бывавшего у нас в доме А. Ф. Кони, который председательствовал на том процессе.

С детства я слышала о политических процессах. Отец мой Дмитрий Васильевич Стасов, как адвокат, был защитником на многих знаменитых процессах: Каракозова, 193-х и т. д. Подзащитного по процессу Пономарева помню лично. Вспоминаю, как он входил в калитку нашего сада на загородной даче в Заманиловке в тот момент, когда я в уголке сада тут же у калитки возилась с землей. Он, как и некоторые другие сопроцессники, был у отца на поручках и зимой жил на квартире по Малой Морской (ныне ул. Гоголя), а летом на даче.

Отец был знаком с А. И. Герценом, в его библиотеке были «Полярная звезда» и собрание сочинений Герцена, которые он все время приобретал за границей. У него в библиотеке имелись книги по истории революционного движения, почти все сочинения Н. Г. Чернышевского, которого он очень высоко ценил. Совсем недавно было установлено, что Д. В. Стасов оказывал материальную поддержку Чернышевскому.

Читая газеты и журналы, отец всегда отмечал интересные статьи и заметки и обращал наше внимание на них. В молодые годы он очень много занимался политической экономией и в своей библиотеке собрал труды всех классиков буржуазной политической экономии, которые и были моими первыми «учителями».

Хочется, несколько забегаая вперед, сказать об отношении отца к моей революционной работе. В декабре 1904 года, после того как мы устроили в Таганской тюрьме в Москве голодовку, он забрал меня оттуда под залог. Вернувшись в Питер, я, конечно, опять принялась за прежнюю работу. Как-то вечером отец мне сказал: «Ты нас с мамой совсем не любишь, опять принялась за свои дела». На это я ему ответила примерно так:

— Я люблю вас, но не могу отказаться от своих убеждений! Этому ты сам меня научил. Когда ты собирал подписи против матрикуляции студентов, твои братья, конечно, говорили: «Что ты делаешь, Дмитрий? У тебя на руках молодая жена!» Но ты же не отказался от своих убеждений, и был уволен со службы! А потом ты вел бесконечные процессы по политическим делам и принимал участие в самых разнообразных общественных организациях, за что и был выслан из Петербурга. И опять ведь твои братья говорили тебе: «Что ты делаешь, Дмитрий, ведь у тебя шесть детей на руках». Но ты продолжал делать то, что считал нужным по своим убеждениям.

Отец ничего мне не ответил. На следующий день я вернулась домой только вечером, никого не застала и ушла в свою комнату. Вдруг слышу быстрые, мелкие шаги отца. Он подошел к моей двери, постучал и, когда я открыла, вынул из жилетного кармана какую-то записочку и передал мне со словами: «Вот

кто-то из твоих знакомых просил передать тебе». Ясно было, что он из осторожности не хотел оставить записку у меня на столе и взял с собой, а вернувшись домой, принес мне.

Никогда больше отец не говорил со мной о моей работе. В 1906 году меня опять арестовали. Приходя ко мне на свидание, отец умело передавал присланные мне записки.

Умер он весной 1918 года 90 лет от роду, сохранив полную ясность ума до конца жизни. В последние недели своей жизни он говорил мне по поводу жалоб членов нашей семьи, сестры и брата, а также матери, на разные неустройства первых времен Советской власти: «Странные люди все наши. Как они не понимают, что после того переворота, который произошел, должно пройти какое-то время, чтобы все пришло в порядок.

Отец мой оказывал на меня огромное влияние, и я ему обязана очень и очень многим.

Мать моя, Поликсена Степановна, в молодые годы занималась в воскресных школах.

В ее библиотеке были собрания сочинений Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева, которыми я зачитывалась. Наряду с этим я читала и перечитывала произведения Тургенева, Гончарова, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, а также Золя, Мопассана, Додэ (в оригинале), Гете, Шиллера, Лессинга, а по окончании гимназии — Байрона (тоже в оригиналах), так как к тому времени я изучила английский язык. Шекспира читала по-русски.

Большое влияние на меня оказал мой дядя, известный критик и искусствовед Владимир Васильевич Стасов. Он выпестовал молодое движение художников, получившее название «передвижников». Трудно в нескольких строках дать обзор огромного

материала, вышедшего из-под пера Стасова в защиту нового течения в противовес старому, исходившему из царской Академии художеств, проповедовавшему «искусство для искусства».

Столь же велико влияние В. В. Стасова в области музыки. Стасов был душой музыкального кружка, известного под названием «Могучей кучки».

Оглядываясь на прошлое русского изобразительного искусства и музыки, надо прямо сказать, что В. В. Стасов был для искусства тем же, чем был В. Г. Белинский в области литературной критики. Кстати сказать, Белинский оказал на В. Стасова огромное влияние.

В. В. Стасов был тесно связан с Герценом, бывал у него в Лондоне, за что однажды был задержан на границе и обыскан. Большое влияние на него оказывал Чернышевский.

После смерти директора Публичной библиотеки (ныне Библиотека имени Салтыкова-Щедрина) дяде, как одному из самых давнишних сотрудников библиотеки, предложили пост директора. Но он категорически отказался. В письме к своему брату Дмитрию Васильевичу — моему отцу — он писал, что пост директора может принудить его сделать тестю «пакость», какая недавно была сделана, а именно: в читальный зал ввели переодетых городских и шпионов, для того чтобы арестовать студентов, которых разыскивала полиция. Этого он не мог допустить ни в коем случае и решил лучше отказаться от высокого поста.

После смерти Александра III всем служащим государственных учреждений были вручены «сослуживческие» медали, как их официально называли, с изображением царя. Получив наряду с другими служащими библиотеки такую медаль, В. В. Стасов

принес ее домой и повесил... в уборной. Домашние пришли в ужас. Они говорили ему, что если придут с обыском и увидят медаль в таком неподходящем месте, то это может доставить неприятности. «Ну и пусть!» — ответил он.

Однажды семья Владимира Васильевича была потрясена арестом жившего вместе с ними Александра Васильевича Стасова. Владимир Васильевич отправился в жандармское управление узнать о причинах ареста брата и оказался свидетелем разговора двух жандармов, из которых один утверждал, что арестована «Публичная библиотека», т. е. Владимир Васильевич, а другой не менее горячо доказывал, что арестован «Кавказ и Меркурий», т. е. Александр Васильевич — директор пароходного общества «Кавказ и Меркурий». Эта трагикомедия окончилась освобождением Александра Васильевича. Ясно, что после совершенной ошибки, арест Владимира Васильевича терял всякий смысл, так как за это время он мог, конечно, кое-что из запрещенного и припрятать.

Держать у себя что-либо «нелегальное» для Владимира Васильевича не имело никакого смысла, так как он по своему служебному положению имел право получать всякую литературу, даже нелегально печатавшуюся за границей. Я использовала это право дяди.

На мне лежало получение «Искры» из-за границы. Для скорости мы получали ее в письмах, посылаемых по надежным адресам. И одним из таких адресатов был мой дядюшка В. В. Стасов; корреспонденция на его имя не вскрывалась. На его имя посылалось два конверта с «Искрой»: один попадал в секретный архив Публичной библиотеки, а в другом находился второй конверт с адресом курсистки

женского медицинского института, знакомой мне и моему дяде. Вот этот экземпляр «Искры» Петербургский комитет партии и получил.

Дядя гордился мною. Максим Горький в своих воспоминаниях о В. В. Стасове так сказал об этом: «Политику он полюбил, морщился, вспоминая о ней, как о безобразии, которое мешает людям жить, портит их мозг, отталкивает от настоящего дела. Но одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах, — он говорил о ней с гордостью, уважением и любовью, и каждый арест, о котором он слышал, искренне огорчал его.

— Губят людей! Ах, скоты!»

Некоторые привычки, которые дядя привил мне в детстве, сохранились у меня до сих пор. Так, он приучил меня всегда ставить дату на письме, говоря, что письмо без даты похоже на письмо от «мар-тобря» (как в гоголевских «Записках сумасшедшего»). Также приучил он меня подписываться полным именем «Елена», а не только одним «Е», говоря, что «Е» — это может быть и Елизавета, и Екатерина, и Евдокия, и Ефросинья.

Одна черта, которую он воспитал во мне, весьма пригодилась во время подпольной работы — это точность в выполнении данного поручения. Он всегда говорил: «Лена, передай это с фотографической точностью» — и заставлял меня дословно повторить сказанное им. И наконец, он приучил меня никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Опыт жизни показал мне, что стоит отложить что-нибудь, как новые дела, наслаиваясь, обязательно помешают выполнить дело.

В молодые годы моя тетка Надежда Васильевна была одной из основательниц первых воскресных школ для женщин. Она же была одной из тех, кто,

желая дать возможность неимущим женщинам устроить свою жизнь, основали Общество дешевых квартир, артель переводчиц и артель наборщиц. Она же стояла во главе общества, организовавшего впервые в России высшие женские курсы (известные под именем Бестужевских), и стала первой директрисой курсов.

Когда царское правительство отстранило ее от этой работы, Надежда Васильевна не пала духом. Она выступила инициатором организации нового общества, которое называлось «Детская помощь» и ставило своей задачей создание яслей и детских домов для детей неимущих женщин.

Совместно с Н. В. Стасовой в организации воскресных школ и в других начинаниях активное участие принимала моя мать Поликсена Степановна Стасова. После смерти Надежды Васильевны и до конца своей жизни она была председательницей общества «Детская помощь».

Моя старшая сестра Варвара Дмитриевна, по мужу Комарова, известна как писательница под псевдонимом Владимир Каренин. Кроме нескольких художественных произведений, Варвара Дмитриевна написала исследование о французской писательнице Жорж Санд, вышедшее не только на русском, но и на французском языке, а также явилась автором двухтомника о В. В. Стасове.

Религия труда, стремление отдать всю жизнь на благо Родины — вот те идеалы, которые объединяют все поколения Стасовых.

До 13 лет я училась дома. Мать занималась со мной вначале русским языком, арифметикой и законом божьим. Правописанием, вернее, чистописанием занималась тетя, Софья Захаровна Петрова, жившая с нами. Никаких тетрадок с линейками, как

прямыми, так и вкось, в те времена не существовало, тетя из белой бумаги сшивала тетрадку, карандашом разграфляла ее и на первой странице писала чернилами крупными буквами — «Чистомарание». Моей учительницей арифметики была Мария Ивановна Страхова, а геометрию последний год учебы дома мне преподавал ее муж Михаил Александрович Страхов, который впоследствии был моим учителем в гимназии Любви Степановны Таганцевой.

Моей учительницей немецкого языка была жившая у нас Адольфина Карловна Вестерлунд. В те годы мы получали и французские, и немецкие детские журналы.

Первым иностранным языком, который я узнала, был французский. Ко мне приходила старушка Фракман Полина Богдановна. Она играла со мною в куклы, и через полгода я свободно говорила по-французски. Позднее она была моей учительницей по французскому языку в смысле грамматики и литературы. Вспоминаю, как она, продиктовав мне так называемый высший диктант, заставляла, после того как она его поправила, переписывать его без ошибок и учить наизусть. Это, конечно, давало мне огромный запас слов и выражений. (Впоследствии такое знание французского языка помогло мне в Париже председательствовать на Международной женской конференции, созванной по инициативе женщин, участниц Международного совета против войны, инициатором которого был Анри Барбюс.)

Дома приходилось хитрить перед родителями, скрывая, куда и зачем я иду. Я взяла за правило не говорить этого, даже если шла к своим приятельницам или знакомым. Делала это для того, чтобы вообще не говорить каждый раз, куда иду, чтобы у родителей не могли возникнуть подозрения, если бы я

говорила о своем визите к знакомым, но умалчивала об уходе с нелегальной целью. Поэтому я обычно отшучивалась, говоря: «Отсюда не видно, куда пойду», «пойду далеко» и т. д.

Моя конспирация привела к тому, что до 1904 года все обыски, которые происходили у меня, не давали никаких результатов, и я оставалась на свободе».

В определенных традициях была воспитана Елена Стасова, но она выбрала свой, особый путь... Елену Стасову в революционной среде быстро заметили. Она выделялась необычайной красотой, благородными манерами и элегантными нарядами. Ее уважали. С каждым днем все больше ценили ее знания, энергию, деловитость, организационные способности. Петербургские социал-демократы оказали молодой учительнице особое доверие. В студеный февральский день ей поручили ведать всей техникой комитета, всем партийным «хозяйством». С этого дня Елена Дмитриевна Стасова уже официально вступила в ряды русских революционных социал-демократов.

...24 декабря 1900 года — одна из самых памятных дат для Елены Стасовой. В этот день вышел первый номер ленинской «Искры». А она в Петербурге действовала как агент, представитель газеты. К каким только хитростям не прибегали распространители «Искры». Склеенные экземпляры газет, напечатанные на тонкой бумаге, доставлялись из-за границы заделанные в переплеты невинных книг или альбомов. Сняв переплет, можно было размочить в теплой воде газеты, отделить лист от листа, просушить и читать свободно. Специальная мастерская на Бассейной улице получила «для продажи» гипсовые фигуры с тайной начинкой. Нелегальная литература. Газеты. Письма... Одной из баз

для хранения нелегальщины была квартира врача К. А. Крестникова. Приходившие к нему «пациенты» выходили от доктора заметно округлившимися и пополневшими. «Медикаменты» этого замечательного доктора излечивали даже самых худых и изможденных. Елена Стасова уносила из этой квартиры не менее пуда литературы. Девушка всегда ходила с портфелем. Даже в театр или на концерт. В донесениях шпиков она так и значилась: «Девушка с портфелем...»

Кроме распространения литературы, Стасова принимала непосредственное участие в печатании листовок. Много времени занимала работа на гектографе.

Для варки гектографической массы использовали желатин и глицерин...

В майские дни 1901 года полиция произвела много арестов. Среди арестованных — члены Петербургского комитета. И все-таки первая первомайская листовка выходит! Она распространяется по всему городу. Даже обе-прокурор святейшего синода и министр внутренних дел находят ее в своих почтовых ящиках. А высокая девушка в пенсне, целую ночь печатавшая, а потом сама же распространявшая листовки, рано утром трясется на извозчике, обмотанная под платьем красным знаменем, чтоб доставить его демонстрантам на Путиловский завод. Она считала необходимым выработать в себе такие качества как точность, наблюдательность, сила воли, умение владеть собой при любых обстоятельствах. Умение не сказать ни одного лишнего слова. Умение мгновенно принять решение. Суметь «переиграть» полицию. Ответственность. За каждый свой шаг. За каждое движение.

В Москве в 1904 году состоялась первая встреча

с Николаем Бауманом. Провокатор выдает руководителей организации. Бауман арестован. Стасова изменяет внешность, одежду, прическу. Она принимает всяческие меры предосторожности, уезжает в Нижний Новгород. Но ее настигают и здесь. И вот... Первый арест. Нижегородская тюрьма. Потом знаменитая московская Таганка. Стасова не дает никаких показаний на допросах. Она принимает участие в одиннадцатидневной голодовке заключенных. Она помнит абсолютно все и абсолютно точно. Недаром ее партийная кличка Абсолют. После голодовки отец Елены вносит денежный залог, и ее освобождают до суда. Перед выходом из тюрьмы товарищи поручили Елене просить Ленина написать брошюру о том, как держать себя на допросах и на суде. Ильич немедленно откликнулся. Он прислал Стасовой письмо, известное в истории партии как Письмо к Абсолюту. Центральный Комитет партии дал Елене Дмитриевне новое задание — руководить всей техникой ЦК за границей. Приехав в Женеву, Стасова прежде всего пошла на квартиру, где жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и мать ее Елизавета Васильевна. Однажды рано утром Владимир Ильич пришел в пансион, где она жила. Он был очень сосредоточен, молчалив и как-то необычайно грустен. Он стал расспрашивать Елену Дмитриевну о близких друзьях, с которыми она работала и вместе сидела в Таганской тюрьме, о Николае Эрнестовиче Баумане. Елена Дмитриевна вспоминала всякие детали. Николай Бауман был самый близкий ей человек. Они ухитрились переписываться даже в условиях строгой тюремной изоляции. У них был своеобразный «телефон». Веревочка, на конце которой висел мешочек с песком. В мешочек вкладывалась записка. Стасова высовывала руку из своего

окошка, через решетку. Заключенный, сидевший сверху или сбоку, бросал ей мешочек с запиской. А она, в свою очередь, другому заключенному. Бауман сидел за углом в изоляторе. Но все же «телефон» доходил и до него. Так передавались материалы для нелегально выходившей в тюрьме рукописной газеты, в которой была помещена и статья о работе Ленина «Шаг вперед, два шага назад»...

Родители понимали свою дочь. Суд назначили на 1 мая 1913 года, но затем перенесли, так как, по словам защитников, судебная палата боялась, что заключенные устроят демонстрацию в зале судебного заседания. И действительно 2 мая, в первый день заседания Тифлисской судебной палаты, заключенные пришли в зал суда с красными гвоздиками. Мужчины — в петлицах одежды, а Стасова — в черном платье с красным воротником и красным поясом.

Палата вынесла приговор: Стасову, Спандаряна, Швейцер, Оввян, Вохмину, Хачатуряна, Пересеяна сослать на поселение с лишением всех прав состояния.

Положение Елены перед судом было очень тяжелое. С одной стороны, согласно общей линии партии, она должна была заявить о том, что она социал-демократка, и заключительное слово использовать для принципиальной речи. Но, с другой стороны, этим, она несомненно, ухудшала положение всех остальных товарищей. Так как дело называлось «Процесс Стасовой и других», Елена первая подвергалась допросам и, таким образом, как бы диктовала поведение остальным. Против нее было немало вполне конкретных обвинений: переписка с ЦК и письмо Вере Швейцер, найденное у нее в корзине для бумаг. Письмо было за подписью Зельма. Это был псевдоним.

Против Сурена Спандаряна выдвигалось обвинение в авторстве одного листка, рукопись которого была найдена в вещах Вохминой и который был написан И. В. Сталиным.

Экспертами было признано, что рукопись написана Спандаряном.

По обычаям тифлисской судебной палаты женщине нельзя было присудить больше, чем мужчинам, и, следовательно, ухудшая свое положение, Стасова ухудшала положение всех мужчин.

Голоса судей разделились: коренные судьи были за каторгу, сословные представители — за поселение; решил голос председателя, который пожалел отца Стасовой. «У такого благородного отца, — сказал он, — такая мерзавка дочь! Дадим ей поселение».

Один из судей написал протест и настаивал на каторге. Адвокаты смеялись, говоря, что, должно быть, в свое время Елена отказала ему в кадрили или мазурке.

Вспоминается очень интересный момент, связанный с работой Свердлова с Лениным. Владимир Ильич, когда зашел разговор о предполагаемом составе ЦК, настаивал на том, чтобы секретарями ЦК были введены Надежда Константиновна Крупская и Елена Стасова. При этом он ссылаясь на то, что еще мало хороших организаторов, а поскольку эти две женщины, по его мнению, обладали большими организаторскими способностями, то он и настаивал на своем предложении. Яков Михайлович находил, что специально вводить будущих секретарей в список членов ЦК не резон и вполне достаточно, если они будут работать на ЦК, не состоя членами Центрального Комитета. Н. К. Крупская (под фамилией Ульянова) и Стасова были включены в список для голосования, и против этого никто не возражал.

Но поскольку список велик (26 человек), а надо было избрать всего девять, то Н. К. Крупская и Стасова не получили нужного количества голосов.

Организовать свидания с заключенными, доставить им сведения о партийной работе, о политических событиях было делом Политического Красного креста. Через него на меня, как заведующую техникой, возлагалось обеспечение связи с заключенными, организация передач для них, забота о том, чтобы они знали, в чем обвиняют круг лиц, связанных с ними. Для этого имелось много способов. Одним из них была посылка «женихов» и «невест» на свидания с заключенными. Не у всех арестованных были родные, значит, нужно было находить «женихов» и «невест». В. И. Ленин, будучи заключенным, передал через сестер, чтобы к нему тоже пришла «невеста». Незадолго до своей смерти Надежда Константиновна рассказывала: «Мария Ильинична пришла ко мне и сказала, что надо пойти к Владимиру Ильичу невесте. Я подумала — я ли должна пойти или кто другой. Я пошла, и оказалось — правильно».

В самом конце марта 1917 года военная организация большевиков занимает дворец царской фаворитки балерины Кшесинской. А Ленин уже в пути... И вот оно, это 3 апреля 1917 года. Финляндский вокзал в Петрограде. 7 июля было опубликовано постановление Временного правительства об аресте и привлечении к суду В. И. Ленина и других большевиков. Ленин прячется в Разливе. Отсюда он руководит VI съездом партии. Съезд партии начал свою работу в конце июля, в необычайно тревожной обстановке преследования и травли большевиков. Оставив свои бесконечные дела, Стасова пришла на заседание съезда. Как и в былые времена, она шла ту-

да осторожно, петляя, используя проходные дворы, следя, чтобы за ней не было никаких «хвостов»... Она уже предвкушала радость встречи с близкими друзьями и соратниками. Председательствовал Михаил Степанович Ольминский. Заметив Стасову, он как-то (или ей это показалось) нахмурил брови, снял очки, протер их, и недружелюбно посмотрел на нее. В перерыве Ольминский подошел к Елене Дмитриевне.

— Зачем это ты пришла? — спросил он.

— Станный вопрос. Я пришла на заседание съезда.

— А ты не знаешь, — сказал он, что мы заседаем нелегально и что нас могут арестовать? Ты являешься «хранителем традиций партии»... Немедленно уходи!..

«Хранитель традиций»... Это предъявляло требования, накладывало на нее обязательства.

Немного позже Елена Стасова уже занималась изготовлением фальшивых денег для партии. Об этом она вспоминала в своих мемуарах: «1919 год был очень тяжелым годом. Наступление 14 иностранных держав на Советскую республику создавало опасное положение. Не исключено было, что партии придется вновь уйти в подполье, если силы внутренней контрреволюции и иностранной интервенции временно возьмут верх. На всякий случай нужно было позаботиться о паспортах для всех членов ЦК, и для В. И. Ленина в первую очередь, обеспечить партию и материальными средствами. С этой целью было отпечатано большое количество бумажных денег царских времен (так называемых «екатеринок», т. е. сторублевок с портретом Екатерины). Их упаковали в специально изготовленные оцинкованные ящики и передали на хранение в Пе-

троград Николаю Евгеньевичу Буренину. Он закопал их, насколько я знаю, под Питером, где-то в Лесном, а впоследствии, когда Советская власть окончательно утвердилась, даже сфотографировал их раскопку. Тогда же на имя Н. Е. Буренина (как купца по происхождению) был оформлен документ о том, что он является владельцем гостиницы «Метрополь». Сделано это было с целью материального обеспечения партии».

На протяжении многих лет в ее руках были сосредоточены партийные связи. Долгие годы подполья она хранила в памяти огромное количество адресов, имен, явок... После провалов, после арестов большевистские организации быстро восстанавливались, потому что на свободе оставался кто-нибудь из таких «хранителей традиций», верных, беззаветно преданных партии солдат. Ее не было на заседании съезда, когда в предлагаемом списке членов и кандидатов Центрального Комитета было написано ее имя: Стасова Елена Дмитриевна. Она была избрана заочно.

22 апреля 1920 года Ленину исполнилось 50 лет. В этот день Абсолют была больна и не могла быть на собрании и поздравить Ленина. Но ей хотелось сделать ему что-либо приятное, и она разыскала в своих бумагах карикатуру известного сатирика Каррика, на которой был изображен юбилей народника Михайловского. За столом, покрытым сукном, стоял расстроженный Михайловский. В одной руке он держал пёсену, а в другой — платок, которым только что утирал слезы. Михайловского окружали Южаков, Мякотин, Струве, Калмыкова, а перед столом стояли двое детей: мальчик в матроске и девочка в том возрасте, когда заплетенная косичка напоминает крысиный хвостик. Это «марксята» пришли приветствовать на-

родников. Абсолют вложила карикатуру в конверт, но приложила к ней серьезное письмо: «Вот, когда был юбилей Михайловского, мы были еще в детском возрасте, а теперь мы — большая партия, и все это благодаря вашей работе, вашему таланту...» Ленину карикатура очень понравилась.

Весной 1921 года Елену Дмитриевну Стасову в качестве представителя Коминтерна направили на подрывную работу в Германию. Большевики готовили путч в самом центре Европы. Уезжая в Германию, она пришла к «главному коммунисту» за указаниями. Ленин пристально посмотрел на верную соратницу.

— Никаких инструкций я вам не дам, — сказал он. — Это сделали ЦК и Коминтерн. Я же дам вам только два совета: во-первых, когда вы будете на заседаниях Центрального Комитета КПГ и у вас будут несогласия не диктуйте свои возражения, а советуйте то, что предлагаете. А во-вторых, обязательно работайте в низовой ячейке, потому что таким путем вы будете проверять, как постановления Центрального Комитета воспринимаются и понимаются народными массами. И одновременно вы сможете помочь ЦК исправить то, что неудачно сформулировано...

Так она и поступала в своей работе. Пять лет работала Стасова как член германской партии. Она — председатель ЦК «Красной помощи» («Rote Hilfe») Германии, член уличной ячейки в округе Моабит в Берлине. В течение пяти лет Елены Стасовой не существовало. В Берлине жила, работала Лидия Вильгельм — по паспорту, Герта — по партийной кличке. С этим паспортом она дважды принимала участие в выборах в рейхстаг. Ближайшим ее другом был Вильгельм Пик.

Зачем же понадобилось засылать Стасову под чужим именем в Берлин? Бежавший на Запад секретарь Сталина Борис Бажанов приоткрыл завесу над этой тайной. В области международной политики Кремлем был разработан обширный план подрыва западных демократий путем организации волнений, заговоров и террористических актов. Наиболее амбициозной из всех намеченных акций была попытка коммунистического переворота в Германии в 1923 году. Как секретарь Политбюро, Бажанов присутствовал на всех заседаниях, где в глубокой тайне вынашивался этот грандиозный замысел. Первое заседание по этому вопросу состоялось в Кремле 23 августа 1923 года. В Москву был вызван представитель Коминтерна Карл Радек, чтобы доложить о положении в Германии и о перспективах, от планируемой акции. Радек нарисовал радужную картину растущего в рядах немецкого народа революционного движения, которое в ближайшие недели должно достигнуть апогея. Он ждал дальнейших инструкций. Как и следовало ожидать, Лев Троцкий, был всецело за то, чтобы немедленно нанести удар по немецкой буржуазии — ковать немецкое железо, пока горячо. Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, утверждал он, то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка, первая брешь в котором была пробита на русском фронте. Он призывал не упустить случай и во что бы то ни стало использовать ситуацию в Германии. Игра стоила свеч. Но Сталин и другие члены Политбюро понимали, что риск очень велик, и предлагали повременить. В результате было достигнуто компромиссное решение, типичное для Политбюро того времени. Не разделяя оптимизма

товарища Троцкого, Политбюро решило предпринять активные действия, чтобы вызвать в Германии кризисную ситуацию. Была выделена руководящая четверка, которой было поручено спровоцировать и возглавить германскую революцию. Руководителям германской компартии, в частности Брандлеру, была отведена только совещательная роль, местные коммунистические организации остались за бортом. Вместо них в качестве командных рычагов планировались советские дипломатические, консульские и торговые службы. «Революционные» агитаторы — немцы и другие лица, говорящие по-немецки, — были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие и листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначенных для оплаты обычных торговых операций. В конце сентября в Москве было получено сообщение Пятакова, что все будет готово в самое ближайшее время. Секретное заседание Политбюро, куда не были приглашены даже члены ЦИК, назначило окончательную дату начала операции. Бажанов, как секретарь Политбюро, заверил это решение своей подписью и запер его в сейф. Решающее выступление было намечено на 7 ноября 1923 года. Появление на улицах толпы народа в день празднования шестой годовщины Октября будет выглядеть вполне естественно. «Красные сотни» должны будут спровоцировать столкновение с полицией, после чего произойдет «стихийное» выступление масс с оружием в руках, которое завершится захватом государственных учреждений и провозглашением Советской власти. Что произошло дальше, остается по сей день загадкой истории. «Великая революция» провалилась, похоже, главным обра-

зом из-за того, что в последний момент не все центры восстания успели получить депеши из Москвы об отсрочке выступления. Так, например, курьер, направленный с такой депешей в Гамбург, заведомо опоздал: «красные сотни» уже завязали на улицах кровавые бои, которые продолжались три дня. Это вызвало замешательство в других центрах намеченного восстания, не знавших, что предпринять: то ли воздержаться от участия в путче, то ли поддержать гамбургских товарищей. Несколько беспорядочных и недостаточно подготовленных выступлений в разных частях Германии без труда были подавлены немецкими воинскими частями и полицией. Стасова под именем Герты ездила в Германию готовить коммунистический путч.

Через пять лет она вернулась на родину. Нет больше Герты... Путч не удался. Тем не менее Стасову избирают в ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Кроме того, она была членом Интернациональной контрольной комиссии ВКП(б).

Когда началась Вторая мировая война, Стасова потребовала, чтобы ее призвали в армию, чтобы использовали ее знание языков. Но ей уже было под 70 лет, и ей предложили временно уехать в тыл. В феврале 1942 года Стасова уже в Москве. Она редактирует и французское и английское издания журнала «Интернациональная литература». У каждого журнала свое лицо. Стасова прекрасно знает, что интересует читателей Франции и каковы запросы англичан. Она выступает по радио, проводит десятки бесед на предприятиях, ведет обширную переписку. И опять идут годы. Ей 80 лет. Она уже не редактирует журналов. Но по-прежнему выступает на заводах, выезжает

в Ленинград и Киев. Пишет свои воспоминания о Ленине, редактирует сочинения своего отца, Дмитрия Васильевича Стасова. В январе 1956 года 82-летняя Стасова в составе советской делегации выезжает в Берлин на юбилейные торжества в связи с 80-летием своего друга Вильгельма Пика. Седая Герта вспоминает первые встречи с молодым Вильгельмом в подполье. Она с ним не раз встречалась потом, в Москве, когда он, вынужденный покинуть родину, жил в Советском Союзе, работал в Исполкоме Коминтерна и в МОПРе. Теперь Вильгельм Пик — президент... Какие головокружительные скачки совершаются в истории!.. Елене Дмитриевне 88 лет. Знаменательные дни. XXII съезд партии. Стасова избрана делегатом.

Елена Стасова прожила долгую, наполненную событиями жизнь. И, судя по ее собственным словам, осталась этой жизнью довольна: «Вот уж давно я ограничена стенами квартиры. Правда, посетителей у меня всегда много; о чем сообщают газеты, радио, я в курсе. Но сидишь или лежишь, перебираешь в памяти жизнь свою и думаешь: как быстро летит время! Подумать только! Советской стране 50 лет! Полвека! А ведь холодная октябрьская ночь семнадцатого года помнится до сих пор. Не всякое событие держится в голове столько лет! А эти дни и ночи Смольного так и стоят перед глазами. Именно тогда не только для народов России, но и для всей земли занялась заря Свободы.

История показала, что путь, который избрал наш народ под руководством коммунистов, оказался правильным, хотя у нас, как, помнится, образно писал Владимир Ильич, не было «ни экипажа, ни дороги, вообще ничего, ровно ничего испытанного ранее!».

И ничего, справились. Да еще как! На Луну первыми советский герб доставили. Из космоса «Интернационал» в наш родной Кремль передали. Я когда об этом узнала, то у меня даже слезы полились. Меня разжалобить нелегко. Надежда Константиновна Крупская в свое время надо мной подтрунивала: «Ты, говорит, Елена, каменная какая-то. И вот этот «камень», как дитя, заплакал, услышав «Интернационал» из космоса...»

Что это?

Сбывшиеся мечты или иллюзия? А может, слезы лились не только от радости?

ИСПОВЕДЬ ЖЕНЫ ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА

И Феликс Дзержинский и его жена Софья Мушкат в детстве были очень впечатлительны и религиозны. Феликс даже собирался стать ксендзом. Сохрани они свою религиозность, и жизнь сложилась бы совсем иначе. Но пришло время, и они разочаровались в религии, отошли от семьи, стали на собственный путь.

Они отошли от тех норм, которые прививались им в детстве родителями, но что они получили взамен? Обрели ли желанную свободу? Их свобода обернулась рабством. И самое страшное, что не только для них одних.

Бежавший на Запад секретарь Сталина, уже живя в Париже, писал о Дзержинском следующее: «Старый польский революционер, ставший во главе ЧК с самого ее возникновения, он продолжал формально ее возглавлять до самой своей смерти, хотя практически мало принимал участия в ее работе, став после смерти Ленина председателем Высшего Совета Народного Хозяйства. На первом же заседании Политбюро, где я его увидел, он меня шокировал и своим видом, и манерами. У него была внешность Дон-Кихота, а манера говорить выдавала в нем человека убежденного и идейного. Поразила меня старая гимнастерка с золотанными локтями. Было совершенно

ясно, что этот человек не пользовалась своим высоким положением, чтобы искать житейские блага для себя лично. Удивила меня и его горячность в выступлениях — впечатление было такое, что он принимает очень близко к сердцу и остро переживает вопросы партийной и государственной жизни. Эта горячность контрастировала с некоторым цинизмом остальных членов Политбюро».

Софье Мушкат было 28 лет, когда в 1910 году она совершила поход в горы с Феликсом Дзержинским. В 1911 году в женской тюрьме «Сербия» родился сын Ян. В феврале 1919 года Софья с сыном прибыли в столицу и заселились в в кремлевскую квартиру на первом этаже кавалерского корпуса. Софья Мушкат рассказывает о себе и своей жизни:

«Родилась я в декабре 1882 года в Варшаве. Мой отец Сигизмунд Мушкат, сын эконома небольшого поместья под Варшавой, начал работать с десятилетнего возраста в одном из варшавских книжных магазинов. Тринадцатилетним подростком он принимал участие в восстании 1863 года, доставляя боеприпасы и еду скрывавшимся в лесах повстанцам.

У отца не было систематического образования (в детстве он в школу не ходил, только юношей стал посещать воскресную школу), но он был начитан, сам научился читать, писать и неплохо говорить по-немецки, изучил также бухгалтерское дело, что дало ему возможность работать счетоводом, бухгалтером и корреспондентом в торговых заведениях и на промышленных предприятиях.

Мы с братом Станиславом воспитывались в атмосфере глубокого польского патриотизма.

От детства у меня осталось воспоминание нео-

бычайной гармонии, настоящей любви и дружбы в семье, не нарушаемой ни одним резким словом, ни одной ссорой. В родительском доме не было лицемерия и лжи. Я никогда не слышала сплетен о ком-нибудь.

Моя мать Саломея Станиславовна, была воплощением доброты. Она заботилась не только о муже и детях, но и о своих сестрах и братьях, которые были старше ее, а также и об их семьях. Мать была чутка и отзывчива ко всем людям. Старушка няня Юзефа Винтер, которая вынянчила брата и меня, продолжала жить у нас, хотя ослепла и ничего уже не могла делать.

Мать научила меня читать и писать. Она часто пела нам, детям. От нее я впервые услышала запрещенные царскими властями песни польского народа «Боже, ты, что Польшу...», «С дымом пожаров...», теперешний государственный гимн Народной Польши «Еще Польша не погибла...» и другие песни, которые я запомнила на всю жизнь. Любила она также петь народные песни «Эй, ты Висла», «Стась мне с ярмарки привез колечко» и другие. Она никогда не училась пению, но голос у нее был приятный. Возможно, именно ее пение еще в детстве зародило у меня горячее желание учиться музыке. Когда мне исполнилось 7 лет, я начала брать уроки игры на рояле.

Семи лет меня отдали в только что открытый, второй по счету в Варшаве, частный детский сад, организованный моей двоюродной сестрой Юлией Уншлихт.

Но мое счастливое детство неожиданно кончилось. На 37-м году жизни в расцвете сил умерла моя мать во время родов. Это был страшный удар, внезапно обрушившийся на семью. Через несколько

дней после смерти матери мы покинули нашу квартиру около Дворцовой площади с чудесным видом на Вислу и поселились в маленькой комнате на Маршалковской улице в квартире моей тетки Дороты, которая за год до этого овдовела. Оставшись одна с семью детьми, она открыла в своей квартире небольшую белошвейную мастерскую.

По воскресеньям к тете часто приходили гости, ее старший сын Бенедикт Герц (позднее известный баснописец), прекрасно игравший на скрипке, под аккомпанемент фортепиано исполнял классические произведения. Чаще всего он играл траурный марш Шопена.

Каждый раз, когда я слышала эту изумительную музыку Шопена, мне казалось, что я иду за гробом матери, и, притаившись за тяжелой оконной портьерой, я заливалась горячими слезами. Через год после смерти матери отец женился вторично, и мы уехали от тетки. Женился отец на художнице Каролине Шмурло, дочери известного специалиста по древнегреческому и латинскому языкам, переводчика «Илиады» и «Одиссеи» Гомера на польский язык.

Мачеха моя была очень красивая. Мы с братом встретили ее с открытым сердцем, ожидая ласки и любви, которой нам так не хватало. Была она женщина неплохая, но клерикалка, полная шляхетских предрассудков. Она заставляла нас с братом молиться по утрам и вечерам, ходить в костел по воскресеньям. По-своему она любила нас, но нашей родной матери заменить нам так и не смогла.

Семейная обстановка резко изменилась. Не стало в доме прежнего благополучия. Между отцом и мачехой часто вспыхивали ссоры, возникали недоразумения на почве расхождения во взглядах.

Отец был демократом, а мачеха считала себя аристократкой и презирала всех, в ком не текла «голубая кровь». Все это чрезвычайно угнетало меня.

Через несколько лет родился брат Чеслав. Мачеха души в нем не чаяла и невероятно его баловала, потакая всем прихотям и капризам. В детстве я его очень любила. Долгие годы я с ним не виделась и только после второй мировой войны узнала, что он погиб в лагере смерти в Освенциме во время гитлеровской оккупации Польши.

В сентябре 1891 года меня приняли в подготовительный класс частной женской школы Ядвиги Сикорской (на углу Маршалковской и Крулевской улиц), где я и проучилась шесть лет.

В Варшаве, насчитывавшей тогда около полу-миллиона жителей, были только три частные женские школы и четыре казенные гимназии.

Царские власти проводили русификацию в Польше и даже в частных школах требовали вести преподавание всех предметов на русском языке. Но это не выполнялось. В частной школе Сикорской, где я училась, преподавание велось на польском языке нелегально. Когда приходил инспектор, поднималась невероятная паника. Начальница, учителя, а также ученики боялись, что, заметив что-нибудь недозволенное, он закроет школу. Мы торопливо собирали все польские учебники и тетради и бежали их прятать в спальни. Несколько десятков учениц, главным образом дочерей помещиков из так называемых кресов (окраин), т. е. Литвы, Западной Украины и Западной Белоруссии, жили в школьном пансионе на том же этаже, где размещались классы. Вот у них мы поспешно прятали все «недозволенное», все польское.

Учебников по таким предметам, как зоология, бо-

таника, всеобщая история, география, на польском языке не было. Преподавание тайком велось по-польски, а учебники были русские. Ими мы почти не пользовались. Помню, что уже во 2-м классе на уроке зоологии мы записывали объяснение педагога, а потом по этим записям учились. Географию и историю Польши вообще не изучали. С историей Польши, вернее, с историей польских королей нас нелегально знакомила сама Ядвига Сикорская на уроках рукоделия. В 5-м классе нелегально, за час до начала уроков, мы приходили в школу для прослушивания цикла лекций профессора Смоленского о разделах Польши, о положении Польши после разделов. Иногда эти лекции читались нам по вечерам после уроков, когда внезапное появление инспектора не предполагалось. На всякий случай мы брали с собой рукоделие.

В том же 5-м классе мы приходили к 8 часам утра на нелегальные уроки грамматики польского языка (и древнепольского). Этот предмет очень интересно преподавал профессор Мечинский. К тому времени он вернулся из Сибири, куда был сослан за участие в восстании 1863 года. Его уроки я тщательно и подробно записывала и долго хранила записи у себя.

Недюжинной фигурой был преподаватель закона божьего ксендз Ян Гралеvский, иезуит, человек очень образованный, прекрасный оратор. Его уроки по истории церкви в 5-м классе были интересны тем, что он иллюстрировал их репродукциями выдающихся произведений искусства на религиозные темы. Благодаря своему красноречию, умению увлечь своих слушателей этот человек оказывал огромное влияние на девичьи умы. Он доводил учениц, особенно в дни говения, прямо-таки до религиозного экстаза.

Этому способствовали специально создаваемая в эти дни театральная обстановка и особая атмосфера в школе. В одном из самых просторных классов устанавливался алтарь, утопающий в цветах. Одурачивающий запах цветов и ладана, полумрак, тишина, и в этой тишине проникновенный голос проповедника, грозящего ужасами ада за грехи, страстный шепот молитв, а затем церковное песнопение — все это вызывало необычное настроение. Нелишне будет упомянуть, что ксендз Гралеvский сыграл немалую контрреволюционную роль во время революции 1905—1907 годов.

В гимназии строго запрещалось говорить по-польски не только в классе, но и вне его — в коридорах, на лестнице, в небольшом дворике. За этим неотступно следила немолодая классная наставница Вишнякова. Поэтому во время перемен мы или молчали, или говорили между собой шепотом. Насильственная русификация вела к тому, что гимназия давала знания не живого русского языка, а только книжного, и то лишь в ограниченных размерах.

Слово «социализм» я впервые услышала в 1898 году, будучи в 6-м классе гимназии в Варшаве, от своей школьной подруги Зоси Смоларской. Та не смогла мне толком объяснить, что такое «социализм», но из ее рассказа я все же поняла, что социалисты — это люди, борющиеся за свободу и лучшее будущее, за справедливый социальный строй, а царское правительство за это их преследует.

К нам домой иногда приходил, навещая мою маму, ксендз Матушевский. Мне вдруг пришло в голову в разговоре с каноником спросить, что значит «социализм». Помню, какое возмущение вызвал у него этот вопрос. Он осенил себя и меня крестным знаменем.

— Откуда у тебя, дитя мое, такие мысли? — в ужасе спросил он почти шепотом. — Социалисты, — сказал он, — это вырождающиеся общества, это дети сатаны.

Но я не поверила ему. Однако с социалистами я столкнулась лишь осенью 1904 года. Весной 1900 года я окончила гимназию и провела так называемый пробный урок, что давало право преподавать в частных домах и частных учебных заведениях. Но продолжить образование мне не удалось, так как женщинам был закрыт доступ в университет. А средств на то, чтобы поехать учиться за границу или на Бестужевские курсы в Петербург, у меня не было. Я занялась музыкой. У нас был очень хороший преподаватель — студент последнего курса Варшавской консерватории литовец Игнас Прелгаускас. Он подготовил меня в консерваторию. В конце лета того же 1900 года я сдала экзамен в консерваторию и была принята на средний курс. Проучившись в консерватории всего лишь два года, из-за отсутствия средств мне пришлось уйти, не закончив даже второго курса. Плата за учебу в консерватории составляла 100 рублей в год.

В течение последующих двух лет я работала учительницей в частной начальной школе, а потом зарабатывала на жизнь частными уроками музыки для начинающих.

По воскресеньям или по вечерам я посещала так называемый летучий университет. Это был цикл лекций по отдельным предметам. Занятия проходили нелегально один или два раза в неделю, каждый раз в новом месте, на квартире у одной из немногочисленных слушательниц (6—10 человек). Лекции оплачивались слушательницами в складчину.

Зося Смодарская в свою очередь вовлекла меня

в нелегальное учительское общество. Деятельность его носила сугубо просветительный характер, впрочем в весьма ограниченных размерах. Собрания общества проводились тайно один раз в несколько недель где-то на улице Новы-Свят, постоянно в одной и той же квартире какой-то зажиточной семьи, если не ошибаюсь, в квартире адвоката Гляса. На собраниях бывало человек 30 преподавательниц частных школ и домашних учительниц.

В тот период (1902—1904 годы) меня очень волновал вопрос о положении женщин. Поэтому из тем, предложенных для разработки в учительском обществе, я выбрала тему «Мужчина и женщина». Жадно набросилась я на рекомендованную литературу, надеясь найти в книгах ответ на вопрос, как преодолеть такое зло, как бесправие женщин и проституция.

В один из морозных дней конца января или начала февраля 1905 года, принеся Ванде полученную мной корреспонденцию, я застала у нее в залитой солнцем столовой высокого, худощавого незнакомца. Передо мной стоял светлый шатен с коротко стриженными волосами, круглым бледным лицом без бороды, огненным взглядом пронизательных серо-зеленоватых глаз.

Это был Юзеф, которого в тот день я увидела впервые. Но еще до этой встречи я слышала о нем от Ванды и других товарищей. Я слышала легенды о его революционной страстности, неиссякаемой энергии, мужестве и героических побегах из ссылки. Юзеф поздоровался со мной крепким рукопожатием. Меня удивило, что он знает обо мне, о той скромной партийной работе, которую я тогда выполняла. Он пристально посмотрел на меня, и мне показалось, что он видит меня насквозь. Он знал

мою фамилию и, как оказалось, до своего приезда в Варшаву несколько раз присылал из Кракова письма на мой адрес.

Я отдала Юзефу принесенную почту и согласно требованиям конспирации сразу ушла, взволнованная и обрадованная неожиданной встречей.

В другой раз, придя к Ванде, я снова застала у нее Юзефа, но с ним тогда не виделась: он задремал в маленькой комнатке рядом со столовой после бессонной ночи, проведенной за работой. Позднее я узнала, что в тот период своей бурной партийной деятельности в первой половине 1905 года Юзеф не раз работал и ночевал в этой комнатке.

Как сейчас вижу эту квартиру, залитую солнцем, как в тот памятный день, когда я там впервые увидела Юзефа.

Настоящего его имени и фамилии я, конечно, не знала. Только несколько лет спустя, в 1909 году, когда Судебная палата приговорила Феликса Дзержинского на вечное поселение в Сибирь, я узнала настоящее имя и фамилию Юзефа из газет, сообщавших об этом процессе.

Вернувшись в Краков, я продолжала помогать Юзефу приводить в порядок архив, писать письма, между строк которых он вписывал лимонной кислотой конспиративные партийные тексты товарищам в Варшаву, Лодзь, Ченстохову, Домбровский угольный бассейн. Я надписывала адреса на конвертах, так как почерк Юзефа был хорошо известен полиции и жандармам и письма с адресами, написанными его рукой, могли быть перехвачены и подвергнуты рассмотрению.

В это же время я начала помогать Юзефу переписывать материалы для «Червоного Штандара». Мы сидели в проходной комнатке-кухоньке Юзефа за

его маленьким письменным столиком. Я диктовала с рукописей, присланных из Берлина, а Юзеф писал мелким бисерным почерком, очень четко и разборчиво на маленьких листочках бумаги специального формата для удобства пересылки.

Через несколько дней после общепольской конференции СДКПил Юзеф, измученный непомерной работой, обратился с просьбой предоставить ему недельный отпуск. Он предложил мне совместный поход в Татры.

Мы выехали из Кракова утром 28 августа. Юзеф, который постоянно недосыпал, заснул, у окна вагона третьего класса. Приехав в Закопане, Юзеф зашел на минутку к сестре Юлиана Мархлевского, которая там жила, и одолжил у нее трость-топорик. Мы спустились к озерам. Там кружилось много птиц. В Юзефе проснулся охотник. Он жалел, что у него не было двустволки. Мы продолжали восхождение. Погода испортилась. На второй и на третий день лил проливной дождь. О подъеме на высокие и круглые горы не могло быть и речи. В первый день, несмотря на дождь, мы все же поднялись к озеру Чарны Став. Но Чарны Став был весь окутан туманом. На следующий день мы совершили прогулку в противоположную сторону долины, которую пересекал горный поток. Он так стремительно и бурно катил по каменистому дну горного ущелья, что воды совсем не было видно — одна сплошная белая пена.

Мы стояли, очарованные этой волшебной картиной, жалея, что спугнули стадо косуль. Вечером мы вместе написали открытку сестре Феликса Альдоне, которой тот давно не писал. Утром на следующий день шел мелкий дождик, все кругом заволкло туманом. О восхождении на Рысы и дальнейшем пути

в горы нечего было и думать, тем более, что близился к концу и недельный отпуск Юзефа. Не было другого выхода, как вернуться по шоссе от Морского Ока в Закопане. Мы так и сделали. Денег, чтобы нанять лошадей, у нас не было. Поэтому мы пошли пешком. Тридцать километров по шоссе до Закопане мы прошагали за 6 часов.

Переночевав в каком-то домике на окраине Закопане, мы поездом вернулись в Краков.

Дождь и туман несколько испортили нашу вылазку в горы, но, несмотря на это, она доставила нам много радости. Ее можно назвать нашим свадебным путешествием.

Через несколько дней после возвращения в Краков я переехала к Юзефу. Мартин уехал из Кракова на отдых и освободил комнатку, которую он занимал в квартире, где жил Юзеф. Мы с Юзефом перебрались в эту комнатку. Вся наша обстановка состояла из двух железных кроватей и маленького столика у окна».

Сын Феликса и Софьи появился на свет в женской тюрьме «Сербия», куда его мать попала после провала организации.

«Мачеха прислала мне материал для приданого, в том числе и шерсть кремового цвета, из которой я крючком связала две теплые кофточки. Они оказались спасительными в условиях холодной сырой камеры.

Питание в «Сербии» было очень плохое и недостаточное. Отец в связи с моим положением добился разрешения приносить мне обеды. Вблизи «Сербии» жил старый партиец Ян Росол. Старичок доставлял некоторым заключенным в «Павиак» и в «Сербию» обеды из находившегося поблизости дешевого ресторана. Он и меня снабжал обедами, которые, разу-

меется, мы съедали вместе с Франкой, физически слабой, нервной и малокровной.

Примерно в середине мая привезли в «Сербию» социал-демократку Розу Каган и поместили ее в камеру рядом с нашей. Вскоре оказалось, что Каган психически больна. Целыми часами, днем и ночью колотила она табуреткой в дверь или пела трагическим голосом душераздирающие песни. Это создавало невыносимую обстановку.

Мы вызвали начальника тюрьмы и потребовали перевода Каган в психиатрическую лечебницу. Но тюремные власти не торопились, и Каган оставалась в «Сербии» почти до конца июня.

Однажды, когда мы выходили на прогулку, она стала выкрикивать клеветнические обвинения, назвав и мою фамилию, и чуть не столкнула меня с лестницы. Это было 21 июня, а на следующий день меня перевели в тюремный лазарет, помещавшийся одним или двумя этажами выше, где у меня 23 июня рано утром родился сын Ян.

Лазарет состоял из двух или трех палат и ванной комнаты. Меня положили в одну из этих палат, довольно просторную и солнечную комнату с двумя обычными окнами с матовым стеклом, хотя и за решетками, но без железных заслонов, как в камерах.

Окна выходили на Дизельную улицу. Когда для проветривания палаты их открывали, я видела противоположную сторону улицы и идущих людей. Видела я также небо, акацию, маленький садик, ребятшек, играющих во дворе дома напротив.

Ребенок родился преждевременно. Был он таким худеньким и слабеньким, что все открыто говорили о том, что жить он не будет. На третий день после рождения у него начались судороги, и я думала, что он умирает.

Только через несколько дней пришел тюремный врач, и даже, не входя в палату и не взглянув на ребенка, бросил: «В тюрьме не место для детей».

Судороги повторились на девятый день. Ребенок был слаб, а помощи — ниоткуда и совета ни от кого. Официальным путем послала я письмо своему отцу, сообщая о болезни Ясика. Не помню точно, через сколько дней после родов неожиданно мачехе разрешили прийти ко мне в лазарет. Мачеха ужаснулась, увидев худобу младенца. Но ребенок так ей понравился, что она нарисовала его нежный профиль. Я уже писала, что мачеха моя была художницей. Рисунок этот послали Феликсу в Краков. К сожалению, он не сохранился.

Мачеха принесла с собой небольшую записку от Феликса, которую она незаметно для караулившей нас надзирательницы передала мне.

Эта записочка Феликса, уже знавшего о состоянии нашего малыша, ободрила меня. Он выражал уверенность, что Ясик, несмотря ни на что, будет жить и вырастет здоровым.

Через несколько дней после моих родов в палату привели роженицу — уголовную, убившую семилетнюю дочь и приговоренную за это к 12 годам каторги. В течение двух дней она непрерывно шагала взад и вперед по палате и каждый свой шаг сопровождала словами «изменят, не изменят» (приговор), и, когда получалось «не изменят», в отчаянии ломала руки.

Я следила за каждым ее шагом и дрожала от страха, когда она подходила к колыбели моего сокровища, боясь, чтобы она не сделала чего-нибудь плохого.

А она все ходила и ходила до последней минуты, и только успела лечь, как раздался крик ее ребенка.

Родилась девочка, на удивление крупный и упитанный ребенок, несмотря на долгие месяцы, проведенные матерью в тюрьме.

Меня удивило отношение этой преступницы к родившемуся ребенку — глубина ее любви и нежности. Я не могла понять, как женщина, которая убила своего первого ребенка, систематически истязая его, пока не замучила до смерти, может любить второго ребенка.

Оказалось, что первый ребенок был внебрачным, и семья ее или муж так донимали ее упреками по поводу этого несчастного ребенка, что она решила его убить.

После трех недель пребывания в лазарете меня перевели в маленькую камеру, в отделение, где сидели уголовные, так как наше отделение ремонтировалось. Я оказалась совершенно оторванной от товарищей. А через несколько дней я вернулась со своим малышом в ту камеру, где сидела раньше. Она показалась мне еще более мрачной, темной и сырой, чем прежде. Мы опять были в камере вместе с Франкой. Она с величайшей нежностью относилась к моему сынишке.

Я была рада, что снова не одна, что вижу с товарищами, могу с ними общаться. В лазарете за все время только один раз Франке разрешили меня навестить.

Снова я начала ходить на свидания с отцом, получать через него письма от Феликса.

Но для Ясика пребывание в тюрьме было вредным. Через несколько дней он простудился и начал кашлять и чихать.

У меня не было никакого опыта по уходу за грудными детьми, поэтому я попросила отца достать мне какое-нибудь книжное пособие и

в точности придерживалась советов этой книги.

В тюрьме не с кем было посоветоваться. Тюремный врач, как я уже сказала, не смотрел даже на ребенка, и каждый раз, когда я его вызывала, он, стоя на пороге, только поучал меня, что тюрьма не место для детей.

Между тем, несмотря на то, что я тщательно выполняла все книжные указания по уходу, у ребенка все время болел животик. Нас постигла новая беда: у меня не хватало молока.

Встал вопрос о прикармливании. А в тюремных условиях это было нелегко. Варить Ясику и греть молоко было не на чем. Держать в камере спиртовку даже с сухим спиртом не разрешалось. Не помню уже, кто посоветовал мне варить на маленькой (кухонной) керосиновой лампочке, которая освещала камеру.

Для этого отец принес мне жестяной кружок, который надевался на ламповое стекло. На кружок этот ставился горшочек с водой и геркулесом или молоком. Такая керосинка была не из удобных. Во-первых, лампочка из-за недостаточного притока воздуха часто чадила, наполняя помещение вонью и копотью. Во-вторых, если я на минуту отрывалась от горшочка, чтобы заняться Ясиком, закипевшая овсянка заливала пламя, и лампочка гасла. Вечером в темноте трудно было и ребенка перепеленать, и лампочку очистить и снова зажечь.

Все же кое-как я со всем этим справлялась и три раза в день прикармливала сынишку. Но такое питание для трехмесячного ребенка было не очень подходящим, и изо дня в день сильно мучили боли в желудке и кишечнике. Бедняжка вечером плакал и кричал по нескольку часов, я же была совершенно беспомощна, носила его на руках и заливалась

горькими слезами. Я искала совета в пособии для молодых матерей, но не нашла там ничего. Книжка не была рассчитана на ребенка, растущего в тюрьме. Снова вызвала я тюремного врача, надеясь, что, может быть, плач младенца тронет его, но он, как обычно, с порога камеры бросил мне свое: «В тюрьме не место для детей» и, не дав никакого совета, ушел.

Мой сын страдал из-за тюремных условий и моей неопытности, и меня в такие вечера охватывало отчаяние.

Зато, когда Ясик был сыт и здоров, он своей улыбкой и лепетом доставлял мне столько радости, что она вознаграждала за прочие муки и отчаяния вечера. В тяжелой тюремной обстановке, в мертвой вечерней тишине смех ребенка был ясным солнечным лучиком, напоминанием о радостях жизни»...

До 1918 года Мушкат с сыном жила в Швейцарии. А потом, в разгар красного террора, состоялась встреча после долгой разлуки.

«Только в начале октября 1918 года получила я от Феликса письмо. От него веяло такой усталостью. «Тихо сегодня как-то у нас в здании, — писал он в этом письме, — на душе какой-то осадок, печаль, воспоминания о прошлом, тоска. Сегодня — усталость может быть — не хочется думать о делах, хотелось бы быть далеко отсюда и ни о чем не думать, только чувствовать жизнь и близких около себя... Так солдат видит сон наяву в далекой и чужой стране... Так тихо и пусто здесь в моей комнате — и чувствую тут близость с вами. Как когда-то там, в тюрьме... Хотелось бы стать поэтом, чтобы пропеть вам гимн жизни и любви... Может, мне удастся приехать

к вам на несколько дней, мне необходимо немного передохнуть, дать телу и мыслям отдых и увидеть вас и обнять. Итак, может быть, мы встретимся скоро, вдали от водоворота жизни после стольких лет, после стольких переживаний. Найдет ли наша тоска то, к чему стремилась?

Здесь каждый день танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...»

«Однажды в начале октября меня вызвал к себе в кабинет советский посол Берзин и под большим секретом сообщил, что Феликс уже находится в пути к нам.

А на следующий день или через день после 10 часов вечера, когда двери подъезда были уже заперты, а мы с Братманами сидели за ужином, вдруг под нашими окнами мы услышали насвистывание нескольких тактов мелодии из оперы Гуно «Фауст». Это был наш условный эмигрантский сигнал, которым мы давали знать о себе друг другу, когда приходили вечером после закрытия ворот. Феликс знал этот сигнал еще со времен пребывания в Швейцарии — в Цюрихе и Берне в 1910 году. Пользовались мы им и в Кракове. Мы сразу догадались, что это Феликс, и помчались, чтобы впустить его в дом. Мы бросились друг другу в объятия, я не могла удержаться от радостных слез. Феликс изменился неузнаваемо. Он приехал инкогнито, под другой фамилией (Феликс Доманский) и, чтобы не быть узнаваемым, перед отъездом из Москвы, сбрил волосы, усы и бороду. Но я его, разумеется, узнала сразу, хотя был он страшно худой и выглядел очень плохо.

Мальчишки уже спали, поэтому я показала Фелик-

су Ясика, спящего в кровати. Феликс долго всматривался в него, не в силах оторвать глаз. Он тихонько поцеловал его, чтобы не разбудить. На лице его отражалось сильное волнение и растроганность.

Мы вместе поужинали и провели несколько часов, потом Феликс вернулся в гостиницу. На следующий день утром он пришел к нам, чтобы увидеть Ясика. Сын, разумеется, знал уже от меня о приезде отца и с нетерпением ждал его прихода. Но когда я открыла входные двери Феликсу и Ясик увидел его лицо, не похожее на то, которое он хорошо знал по фотографии, постоянно стоявшей у нас на столе, с густой шевелюрой, с усами и бородкой, мальчик с плачем убежал и спрятался за дверями, ведущими в столовую, и в течение нескольких минут не хотел выходить оттуда.

Мы оба, я и Феликс, убеждали ребенка, что это и есть его собственный отец, но Ясик хоть и успокоился, долго не хотел верить, что это его отец.

Феликс великолепно умел говорить и играть с детьми, поэтому вскоре завоевал доверие и симпатию Ясика. Он привез сыну купленный в Берлине замечательный подарок: большую коробку «мекано» (конструктор) с металлическими частями разной величины и формы. Из них можно было собирать самые различные предметы по приложенным образцам: здания, ветряные мельницы, мосты и т. д.

Ясик очень обрадовался подарку и многие годы часами строил разные конструкции. А когда вырос, подарил эту коробку «мекано» воспитанникам польского детского дома имени Розы Люксембург в Москве.

Мы распрощались с Феликсом, как оказалось, на несколько месяцев.

Представитель Советского Красного Креста Сер-

гей Багоцкий, вероятно, при помощи швейцарских социал-демократов получил разрешение отправить из Швейцарии через Германию в Россию большое число русских военнопленных, бежавших из германского плена в Швейцарию, где они довольно долго были интернированы. Был организован специальный эшелон, которым отправлялись на Восток 500 русских военнопленных.

С этим эшелоном выехала также небольшая группа политэмигрантов из России, коммунистов и членов других партий.

Первого февраля 1919 года, в субботу, мы прибыли в Москву, в столицу первого в истории социалистического государства.

На Александровском вокзале (ныне Белорусский) нас встречал Феликс вместе со своим помощником чекистом Абрамом Яковлевичем Беленьким.

Феликс занялся прежде всего устройством прибывших из Швейцарии политэмигрантов и военнопленных. Политэмигранты временно были помещены в третьем Доме Советов. Покончив с делами, Феликс вернулся к нам, и мы поехали на машине по Тверской улице в Кремль на квартиру Феликса, которую он получил незадолго до нашего приезда. Это была просторная, высокая комната с двумя большими окнами на втором этаже.

На следующий день после нашего приезда, несмотря на то что было воскресенье, Феликс, как обычно, пошел на работу в ВЧК на Большую Лубянку, 11.

Когда мы уезжали из Швейцарии, Ясик ни слова не знал по-русски. По пути в Москву, находясь в русском окружении, он научился кое-что понимать и усвоил какое-то количество русских слов, но говорить по-русски не умел. Чтобы иметь воз-

возможность работать, я отдала Ясика в детский сад. Там он в течение нескольких недель настолько овладел русским языком, что свободно понимал и мог говорить.

В течение всего 1919 года Феликс Эдмундович работал целыми днями и ночами в своем кабинете на Большой Лубянке, 11, заходя лишь наскоро пообедать, и то не всегда, в кремлевскую столовую и на минутку заглядывая к нам. Мы с ним мало виделись. Раза два я была у Феликса в кабинете на Лубянке. Это была небольшая комната с одним окном, выходящим во двор. Большой письменный стол стоял прямо против входа. На небольшой этажерке стояла в деревянной рамке фотография 5-летнего Ясика с грустным, задумчивым личиком. Эту фотографию я послала Феликсу в тюрьму. Она всегда была с ним и стояла у него в кабинете до последней минуты его жизни. Старая большевичка М. Л. Сулимова говорила мне, что, зайдя однажды по делу к Феликсу Эдмундовичу, она увидела эту фотографию и стала ее рассматривать. Феликс, заметив это, объяснил: «Я так мало бываю дома, так редко вижу сына».

По решению VIII Всероссийской конференции РКП(б), состоявшейся 2—4 декабря 1919 года, были организованы части особого назначения (ЧОН). Все коммунисты и комсомольцы были обязаны входить в ЧОН для того, чтобы обучиться владеть оружием.

Члены партийной организации, в которую входила и я, мужчины и женщины, собирались 2—3 раза в неделю на военные занятия на Страстном бульваре. Там нас знакомили с устройством винтовки и проводили строевые занятия.

После определения Ясика в детский сад я начала

работать в Народном комиссариате просвещения сначала инструктором в школьном отделе, а потом в отделе национальных меньшинств в качестве заведующей польским подотделом.

Лето 1919 года наша семья провела в Москве. Только два или три мы вдвоем с Феликсом выезжали на воскресенье в Сокольники, где несколько руководящих работников жили на небольшой даче. Ясика мне удалось на короткий срок поместить в летний лагерь для детей сотрудников ВЧК в Пушкино под Москвой.

Феликс был скромен в пище и не позволял, чтобы ему давали лучшую еду. Чтобы заставить его съесть что-нибудь попитательнее или повкуснее, приходилось прибегать к хитрости, но и это не так легко удавалось.

В Кремле Феликс не раз сам ходил в кубовую за кипятком, не позволяя мне это делать. До конца своих дней он сам чистил обувь и стелил постель, запрещая это делать другим. «Так приучила меня мать», — говорил он, когда я пыталась это сделать».

Сын Ян рос болезненным мальчиком, но был силен духом. Его мать описала один характерный случай. Один раз, когда мигрень у Ясика не проходила несколько дней, врач посоветовал давать ему чай с коньяком. Ясик с возмущением отказался, напомнив всем о пионерском законе, запрещающим юным ленинцам пить вино и прочие спиртные напитки. Феликс сказал: «Пусть он честно выполняет свой пионерский долг. Нельзя приучать мальчика к сделкам со своей совестью». Таким образом он поддержал своего сына.

Всего восемь лет прожили Дзержинские вместе.

Их разлучила смерть. Жена Феликса Дзержинского вспоминала: «20 июля 1926 года, он встал в обычное время и к 9 часам уехал в ОГПУ, чтобы взять недостающие ему материалы. Он ушел из дома без завтрака, не выпив даже стакана чая. Обеспокоенная этим, я позвонила в ОГПУ секретарю Феликса В. Герсону и попросила организовать для Феликса завтрак, но его самочувствие было, по-видимому, настолько плохое, что он отказался от любой пищи. Совсем natoшак он отправился в Большой Кремлевский дворец на очередное заседание Пленума.

В 12 часов он выступил на Пленуме с большой пламенной речью, посвященной хозяйственным вопросам.

В этой речи он произнес знаменательные слова, так правдиво характеризующие его: «Я не щажу себя... никогда. И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них».

Последнюю фразу... он произнес твердо и торжественно. На стороннего наблюдателя он мог произвести впечатление крепкого, здорового человека. Но от тех, кто хорошо его знал, не ускользнуло, что он судорожно прижимал левую руку к сердцу. Позже он обе руки стал прижимать к груди... Мы знаем, что свою последнюю большую речь он произнес, несмотря на огромные физические страдания.

Во время речи на Пленуме ЦК и ЦКК у Феликса повторился тяжелый приступ грудной жабы. Он с трудом закончил свою речь, вышел в соседнюю комнату и прилег на диван.

Здесь он оставался несколько часов, отсылая врачей и вызывая к себе из зала заседания товарищей, расспрашивая о дальнейшем ходе прений

и выдвигая новые факты и аргументы против оппозиции, которые сам не успел привести.

Через три часа, когда закончилось заседание и сердечный приступ у Феликса прошел, он с разрешения врачей поднялся и медленно по кремлевским коридорам пошел в свою квартиру, находившуюся в корпусе против Большого Кремлевского дворца рядом с Оружейной палатой.

Я в это время работала в агитпропе ЦК ВКП(б), где руководила Польским бюро. Надеюсь встретиться с Феликсом в кремлевской столовой во время перерыва в заседаниях Пленума ЦК ЦКК, я раньше обычного пошла в столовую, находившуюся тогда в Кремле в несуществующем уже сейчас так называемом Кавалерском корпусе. (Сын наш был тогда на даче.) Феликса там не было, и мне сказали, что обедать он еще не приходил. Вскоре в столовую пришел Я. Долецкий (руководитель ТАСС) и сказал мне, что Феликс во время речи почувствовал себя плохо. Где он находится в данный момент, Долецкий не знал. Обеспокоенная, я побежала домой, думая, что Феликс вернулся на нашу квартиру.

Но и здесь его не было. Я прозвонила в ОГПУ секретарю Феликса В. Герсону и узнала от него, что у Феликса тяжелый приступ грудной жабы и что он лежит в одной из комнат Большого Кремлевского дворца. Не успела я закончить разговор с Герсоном, как открылась дверь в нашу квартиру и в столовую, в которой я говорила по телефону, вошел Феликс, а в нескольких шагах за ним сопровождавшие его А. Я. Беленький и секретарь С. Реденс. Я быстро положила трубку телефона и пошла навстречу Феликсу. Он крепко пожал мне руку, и, не произнося ни слова, через столовую направился в прилегающую к ней спальню. Я побежала за ним, чтобы опередить

его и приготовить ему постель, но он остановил меня обычными для него словами: «Я сам». Не желая его раздражать, я остановилась и стала здороваться с сопровождающими его товарищами. В этот момент Феликс нагнулся над своей кроватью, и тут же послышался необычный звук: Феликс упал без сознания на пол между двумя кроватями.

Беленький и Реденс подбежали к нему, подняли и положили на кровать. Я бросилась к телефону, чтобы вызвать врача из находившейся в Кремле амбулатории, но от волнения не могла произнести ни слова. В этот момент вошел в комнату живший в нашем коридоре Адольф Варский и, увидев лежащего без сознания Феликса, вызвал по другому телефону врача. Л. А. Вульман сделал Феликсу инъекцию камфоры, но было уже слишком поздно. Феликс был уже мертв. Это произошло 20 июля 1926 года в 16 часов 40 минут. Ему не исполнилось еще 49 лет».

Софья Мушкат-Держинская умерла в 1968 году, она пережила своих мужа и сына.

«ОЧЕНЬ СКВЕРНО, ЮЛЯ!..»

Жизнь еврейского юноши Иосифа Таршиса напоминала балансирование канатоходца. Он был ловок, предприимчив и отважен, а на жизнь зарабатывал переправляя из-за границы газету «Искру». И, конечно, впереди его ждала тюрьма, а вслед за ней — эмиграция.

Транспортный агент Иосиф Таршис поменял массу партийных псевдонимов пока не остановился на одном — товарищ Пятницкий. Под этим псевдонимом и сделал он свою партийную карьеру, став секретарем Коминтерна. Под этим именем и кончилась его земная жизнь.

Жизнь Пятницкого была полна всякого рода приключений и злоключений, его даже называли иногда «Монте-Кристо». Женился он поздно.

Жена Пятницкого — Юлия Соколова-Пятницкая родилась в семье священника. Под именем княгини Юлии Урусовой (близкой подруги, умершей от сыпного тифа) работала в колчаковской контрразведке по заданию разведотдела 5-й армии, которой командовал Тухачевский. Была раскрыта, чудом избежала смерти — полумертвую Юлю нашли в гробу на ледяном полу. В Московской больнице произошла ее встреча с Иосифом Ароновичем Пятницким, вскоре Юля стала его женой. Семья Пятницкого (жена Пятницкого с двумя сыновьями, отец Юлии со своей второй женой и дочерью) жила

и в пятикомнатной квартире в «доме на набережной».

Партийный фанатизм — это лишь самое первое впечатление, неглубокое, внешнее восприятие облика Пятницкого.

Пятницкий познакомился со своей будущей женой при странных обстоятельствах. Не было на первый взгляд ничего романтического в этом знакомстве, которое состоялось в больнице, когда он пошел навестить находившуюся там подругу — Машу Черняк. Принес ей пакетик леденцов, полученных в пайке, да скупой справился о здоровье.

В больничном коридоре, возле большого окна с мутными разводами, застал Машу вместе с ее сестрой и еще какой-то женщиной в больничном, из коричневой бумагеи, халате и шлепанцах на босу ногу.

Маша предложила товарищу Пятницкому познакомиться с новой подругой Юлей.

Очень красивая незнакомая женщина стояла в стороне. Она протянула Пятницкому легкую тонкую руку и назвала себя: Соколова.

Ее лицо показалось ему очень изможденным и неправдоподобно прекрасным.

«Она в разведотделе работала. И вот доработалась до больницы», — печально сказала Черняк. Она смутно предчувствовала, чем может закончиться новое знакомство Пятницкого.

«Машинистка, должно быть, — решил Пятницкий, еще раз мельком оглядывая барышню. Но Маша объяснила: «Соколова — разведчица. Несколько месяцев назад ее удалось вырвать из лап контрразведки Колчака. Точнее, выловить из бочки с рассолом. Как селедку — она там пряталась!»

В больнице Пятницкий обрел свою спящую красавицу Юлию. Его стало неудержимо тянуть в боль-

ничные коридоры, чтобы увидеть ее. Он пришел навестить Машу и на завтра, и еще через день. Но уже как-то само собой получалось, что Маша уходила в палату, а он оставался с Соколовой, ну еще минут на десять. Гулял с ней по коридору или сидел на скамье возле того самого окна, а вдруг, спохватившись, вытаскивал часы и изумлялся — оказывается, пролетело не десять минут, а больше часа.

Юля рассказывала ему о себе. Поначалу совсем скупо и как будто неохотно, но чем чаще они встречались, тем откровеннее становились ее рассказы.

Она говорила, искоса поглядывая на него синими глазами: «Я дворянка и, не будь революции, сейчас, может быть, жила бы в своем имении и вышла бы замуж за Мишу Тухачевского — мы соседи и еще детьми придумывали с ним всякие игры. Во время войны с немцами я твердо решила, что мое место на фронте, чтобы защищать Россию от немцев. Поступила на курсы сестер милосердия с одобрения самой императрицы Александры Федоровны — я ей письмо написала в духе героинь Лидии Чарской. Кто-то из ее фрейлин мне ответил и тем самым поставил родителей как бы перед свершившимся фактом. С плачем и увещеваниями отправили они меня на войну.

Генерал Борисов влюбился в меня мгновенно и, будучи человеком умным, интересным и волевым, без труда покорило сердце сестры милосердия. Вышла я за него замуж, став в двадцать лет госпожой генеральшей. Борисов поднял оружие не против революции, а за нее. Безоговорочно. Как Каменев и Егоров. И хотя в партию не вступал, но как военспец пользовался абсолютным доверием. Влияние Борисова сыграло свою роль, но я пошла в революцию не как мужняя жена, а как Юлия Соколова. Так

вот, когда мужа убили, я почувствовала, что могу сделать нечто большее, чем делала до сих пор. Обратилась к своему другу детства Мише Тухачевскому и превратилась в княжну Юлию Борисовну Урусову».

У Юли была подруга по гимназии. Тоже Юля. Только не Иосифовна, а Борисовна, и не Соколова, а Урусова. Довольно известная в России княжеская фамилия. Юля Соколова была частым и желанным гостем Урусовых. Знала все об этой семье. Во время октябрьского переворота погибли старики Урусовы. А их дочь княжна — подруга Юли — вскорости умерла от сыпного тифа. И когда Соколову направили для работы в разведотдел 5-й армии, она сама предложила «превратиться» на время в свою умершую подругу. Вариант был тщательно разработан, и через некоторое время в штабе верховного правителя России адмирала Колчака появилась молоденькая и очаровательная княжна Урусова. Нищая, в одном чудом сохранившемся платьишке, недавно перенесшая сыпной тиф, горящая желанием мстить красным за отца, за разгромленное имение, за сломленную, изгаженную жизнь.

Княжна превосходно говорила по-французски и по всем статьям была настоящая аристократка. Но доказательств, что она действительно княжна Урусова, кроме медальончика с бриллиантиками, заключавшего в себе маленькие фотографии матери и отца, да затертой, от руки написанной справки из больницы, у нее никаких не было. Но Соколовой неожиданно повезло. Из командировки вернулся полковник, начальник контрразведки, и сразу же признал княжну. Что-то случилось с его памятью —

он все перепутал. Возможно, видел когда-то в семье Урусовых Юлю и запомнил. А потом решил, что она и есть княжна! Полковник хорошо знал князя Урусова, был ему чем-то обязан, и медальон, раскрытый дрожащими пальчиками, сказал ему все... Полковник сразу же принял лжекняжну под свое покровительство и прямо заявил господам офицерам, что считает Юлию своей приемной дочерью. Так что насчет всякого рода вольностей, обычно допускаемых в военное время, ни-ни!

Соколова стала работать в контрразведке, и время от времени у ее дверей появлялся жалкий старый нищий, получавший из рук Юлии щедрое подавание. Проходили дни, недели, месяцы 1919 года. К лету армия Колчака начала отступать под все усиливающимся напором южной группы войск Восточного фронта под командованием Михаила Фрунзе. А на хвосте Колчака висела 5-я армия, и ею командовал начдив Тухачевский.

Колчаковские контрразведчики обнаружили постоянную утечку очень важной информации, которой умело пользовались красные. Благодаря покровительству полковника Юлия считала себя в полнейшей безопасности и иной раз забывала об осторожности. Связной появлялся у Юли слишком часто, за ним стали следить.

Офицер Вельчинский о чем-то догадывался. Несколько раз, оставаясь один на один с Юлией, он намекал ей на риск, которому она подвергается, работая в контрразведке.

1 июля 1919 года красные заняли Пермь и Кунгур, 11 июля освободили от осады Уральск, 13 июля овладели Златоустом, 14 — Екатеринбургом.

Тухачевский начал решительное наступление на Челябинск. Полагая, что Соколова надежно «при-

крыта», разведотдел армии предложил ей остаться в отступающей армии Колчака. Зная, что Челябинск со дня на день будет взят красными, она последний раз вручила «подаяние» нищему, болтавшемуся возле здания, занятого контрразведкой.

А через десять минут к ней зашел офицер Вельчинский, бледный как смерть. Он давно и безнадежно был влюблен в Юлию.

Эта влюбленность спасла Юлии жизнь.

«Княжна, пойдемте к вам домой», — сказал ей Вельчинский. Соколова поняла, что произошло что-то страшное. Вместе с Вельчинским вышла на улицу. «Нищий взят, — сказал он. — Мы давно за ним следили. Сейчас его допрашивают. А через полчаса и ты тоже будешь взята. Есть только один шанс — постарайся получше спрятаться».

Время для спасения жизни оставалось совсем мало. Юлия пошла в дом купца Кривошеева, где бывала не раз, поддерживая дружбу с молодой и довольно образованной купчихой. Знала расположение всех комнат кирпичного одноэтажного дома, знала и все постройки во дворе. Сразу же проскользнула во двор, прошла в самую его глубь к зеленоющему грибу земляной крыши погреба. Там и осталась, стоя возле чуть приоткрытых, из тяжелых дубовых досок, дверей.

Подозревала, что и сюда придут искать ее. Но не было у нее в Челябинске другого места, где бы можно было спрятаться. Стояла, держа в руках свой бельгийский браунинг с отодвинутым предохранителем. Полная обойма в пистолете. И еще одна — запасная — в сумочке. Всего, значит, четырнадцать выстрелов! Но только вряд ли она успеет их сделать.

В погребе — мрак, холод и сырость. Остро пахнет квашеной капустой, яблоками, грибами. По сте-

не выстроились бочки. Одна ведер на двадцать. Соленые огурцы. Конечно, контрразведчики в поисках лжекняжны нанесли визит Кривошееву. Она видела сквозь щель в двери, как из дома во двор вышел растерянный Кривошеев в сопровождении двух офицеров. Подумала: «Если они пойдут к погребу, застрелю их. А потом? Потом убью себя, потому что удрать все равно не удастся».

Но жить так хотелось! Поэтому когда офицеры направились к погребу, Юлия сунула пистолет в сумку, подбежала к громадной бочке с огурцами и очень осторожно, чтобы не выплеснулся рассол, залезла внутрь бочки.

Услышав, как заскрипели ржавые петли и по земляному, утопанному до твердости бетона полу загрохотали сапоги, она набрала полные легкие воздуха, зажмурилась и бесшумно погрузилась в рассол.

Воздуха хватило ненадолго. Она приподняла голову, чтобы рот и нос оказались на поверхности. Тихо подышала. Чуть больше высунулась. В погребе никого уже не было, но двери оставались широко распахнутыми, и вблизи маячила фигура с винтовкой наперевес. Не только уйти, но даже вылезти из бочки было невозможно.

Вечером загрохотали выстрелы — авангардные части 2-й армии ворвались в Челябинск и вели бой на улицах, и двор Кривошеевых опустел.

Какое-то стонущее существо выкинулось из бочки на ледяной пол погреба, где и нашла ее кухарка Кривошеевых.

Тело женщины, в котором еще теплилась жизнь, перенесли в дом купца.

Врачи сделали все, чтобы спасти ей жизнь. Но прошло много дней, прежде чем она стала видеть, слышать и понимать.

Сердце выдержало, но сознание все еще блуждало в темных и страшных лабиринтах. Соколову перевезли в Москву и положили в больницу.

И вот теперь, еще не успев поправиться, она встретила своего будущего мужа, которому попыталась рассказать все, что с ней случилось.

Пятницкий чувствовал, что еще немного, и он разрыдается от бесконечной жалости к этой молодой и нежной женщине, чью руку он незаметно для себя при встречах стал бережно брать в свои и не выпускать до минуты расставания.

Он восхищался мужеством Юлии — совершить такое в двадцать лет! Какая сила духа, какое бесстрашие!

Он понял, что полюбил Юлию, а Юлия полюбила его.

Они поженились через две недели после первой встречи.

В одно мартовское утро 1921 года Пятницкому позвонили из секретариата председателя СНК и передали просьбу Ленина приехать, как только он освободится.

Осведомившись, как идут дела в Цекпрофсоже, Ленин сообщил, что товарищи из Исполкома Коминтерна просят направить Пятницкого на работу в аппарат Исполкома и что именно по этому вопросу он и пригласил его к себе.

Прощаясь, Ленин пообещал тотчас же позвонить председателю ИККИ Зиновьеву, с тем чтобы уже завтра Пятницкий мог взяться за налаживание «большого хозяйства».

Вечером Пятницкий сказал Юле, что переходит на другую работу, в аппарат Исполкома Коминтерна.

— Ты доволен, Пятница? — спросила Юля.

— Доволен я или недоволен, не суть важно. ЦК

решил + значит так надо, — довольно сухо ответил Пятницкий, но тут же обругал себя за такую манеру общаться с женой, матерью своего сына.

— Видишь ли, Юлик, — начал Пятницкий, смягчая свой резкий пронзительный голос, — на твой вопрос не так-то легко ответить. Ты только представь себе, сколь грандиозное дело осуществляет Ленин. Создано новое международное братство коммунистов всего мира. И мне говорят: ты должен наладить это хозяйство. Речь, как ты понимаешь, идет не о политическом фундаменте этого великого сооружения. Он уже заложен. Но нужен хороший раствор, чтобы скрепить эти огромные глыбы. Вот мне и предстоит приготовить такой раствор. А какой я, к черту, мастер, если знаю так мало... Даже языки! Кое-как объясняюсь по-немецки...

— Немецкий ты отлично знаешь. Просто превосходно! — быстро перебила Юля.

— А по-французски едва склеиваю самые простые фразы... Как же объясняться с людьми? Через переводчика? Но это же далеко не лучшая дорога к сердцам!

— С французским я тебе помогу, — пообещала она и, ободряюще улыбнувшись, выскользнула из комнаты — кормить сына.

Нежное чувство разлилось в груди и подступило к самому горлу. Как случилось, что эта совсем молодая и такая красивая женщина стала его женой и родила ему сына? Что она нашла в нем? Почему предпочла многим, уж куда более интересным, общительным? Она — дворянской крови. Он — из беднейшей семьи еврея-ремесленника. Черт знает какое несоответствие! И все же, так получилось.

А не сон ли это? Любовь жены не была сном, она была реальной всего, что окружало Пятницкого.

Кошмарным сном можно было назвать все то, что ожидало Пятницкого и его семью в самом ближайшем будущем. Его ждали предательство товарищей по партии, ненависть младшего сына, мучения жены, пытки, несправедливый суд и смерть. Сталин постепенно плел заговор вокруг умирающего Ленина, устраняя от власти одного за другим ближайших друзей и соратников Ленина, вместе с которыми тот совершил революцию — Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова — с тем, чтобы во второй половине 30-х годов уничтожить их всех физически, а заодно с ними — множество других.

После ареста мужа Юлия Иосифовна стала вести дневник. В скобках выделены комментарии Игоря Пятницкого — сына Юлии и Иосифа Пятницких.

Дневник Юлии Пятницкой — свидетельство ее любви к мужу и непонимания процессов, происходящих в обществе. Она видит во всем происходящем только проблемы своей семьи. Вот строки из дневника этой женщины, матери двоих сыновей, кремлевской жены, бывшей разведчицы.

«Очень хотелось умереть. Я ему это предложила сделать (вместе). Он категорически отказался, заявив, что он перед партией так же чист, как только что выпавший в поле снег, что он попытается снять с себя вину, а после снятия обвинения он уедет. Обедал всегда со мной эти дни (обед ему привозила уборщица его кабинета). Каждый день он звонил Ежову по поводу очной ставки с оклеветавшими его людьми... Ежов обещал, несколько раз назначал день и час и откладывал. Наконец 3.07 он ушел в 9 часов (вечера) в НКВД.

Я страшно волновалась, легла у него в кабинете

и ждала... Наконец он вошел в 3 часа утра... Это был совершенно измученный и несчастный человек. Он сказал мне только: «Очень скверно, Юля».

Попросил воды, и я его оставила.

Я в отчаянии решила переехать, чтобы ему немного подышать воздухом. Невыносимо здесь... Переехали, но он все время до моего возвращения из Москвы не выходил из кабинета.

7-го июля заказывала машину, и она увозила меня и дедушку на работу и привозила к Серебряному Бору. Нестерпимо тяжкие дни для Пятницкого...

Он ждал ареста, я тоже была к нему подготовлена. То есть относительно подготовлена. Пятница дал мне все свои облигации на сумму 6 тысяч руб. Дал сберегательную книжку на сумму 11 750 руб. и партвзносы с литературного заработка за все время, как оправдательный документ. Дал мне 10 тысяч, которые у него были, чтобы я их внесла в сберкнижку — на мое имя...

Все это он передал мне 5.07 (кажется) в своем новом маленьком портфеле, который он подарил мне с тем, чтобы я свой отдала Игорю. В портфеле, кроме этого, были мои личные письма, за какой период, я не знаю, только он предупредил: самые «больные», очевидно, в период моей нервной болезни. Я не смотрела, что там было. В портфеле были и мои облигации на сумму 1,5 тыс. рублей и 11-я лотерея Осоавиахима — и 5 Вовиных, а 10 Пятницкого остались в ЦК у Наташи.

Кроме того, Пятница дал мне перевод на мое имя денег из кассы ЦК на 11 500 руб., я вынула этот перевод из портфеля, чтобы Наташа осуществила перевод денег в мою кассу № 10, но забыла, куда его дела.

7.07.37 г. в 11 часов я легла спать, Игоря не было. Лег ли уже Пятница — я не знала, только вдруг захо-

дит Люба ко мне и говорит: «Два человека пришли к Пятницкому». Не успела я встать, как в комнату вбежал высокий, бледный, злой человек, и когда я встала с постели, чтобы набросить на себя халат, висевший в шкафу, он больно взял меня за плечо и толкнул от шкафа к постели. Он дал мне халат и вытолкнул в столовую. Я сказала: «Приехали, «черные вороны», сволочи», повторила «сволочи» несколько раз. Я вся дрожала. Человек, толкавший меня, сказал: «Мы еще с вами поговорим в другом месте за оскорбления». Я сказала громко: «Пятницкий, мне угрожают». Тогда вышел военный человек, похожий на Ежова, наверное, это был он, и выяснил у толкавшего меня, что (случилось), и сказал, обращаясь ко мне: «С представителями власти так не обращаются советские граждане». Потом он ушел к Пятницкому, и я слышала, как Пятницкий в чем-то уверял его относительно меня, но в чем именно — я не знаю. Что делали там с Пятницким, я не знаю. Я слышала только, что он говорил спокойным голосом, он просил зафиксировать, «какая именно переписка была у него». Они записали: «Разная переписка». Пятница не соглашался с таким определением — «разная». Там были Вовины письма, Игоря выписки, а что еще у самого Пятницкого, я не знаю. Мне дали адрес: «Кузнецкий, 24», чтобы справляться о нем. Дали Пятницкому полкоробки зубного порошка, два полотенца, щетку, и больше ничего.

Были минуты или секунды, я не знаю, когда я ничего не видела, но потом реальность возвращалась... Одно сознание, что больше его никогда не увижу, и страшное сознание бессилия и эти люди — молодые, грубые, толкавшие меня... Преступный, извращенный человек, он на всех произвел тяжкое впечатление, когда пришел в столовую, толкнул меня. Он

взял с особым выражением столовый нож со стола. В чемодане была коробка конфет шоколада для Игоря, он рассыпал их на дне чемодана, у меня перевернули все вверх дном, хотя я сказала, что ничего нет.

Другой человек — военный, немолодой, бело-брысый, широкий, весь надутый, под шинелью всяким оружием. Он стоял все время около несгораемого шкафа Ярославского, а когда толкавший меня спросил, что это такое, я сказала, что у бедных людей не бывает (таких шкафов), это... Ярославского. Военный усмехнулся и покачал головой. Военный, очевидно, охранник, исполняющий обязанности палача, когда надо.

Еще был штатский мальчик, хорошо одет, и вполне благообразен, и доволен обстановкой, он бегал за Людмилой. Были другие военные: кто стоял, кто ходил за Ежовым. Может быть, то не был Ежов, хотя все (дедушка, бабушка, Людмила) сказали, что его рост и лицо. Он положил на стол часы Пятницкого, ручки, и карандаш, и записную книжку. Он был полон иронии и серьезен, в нем врага я не чувствовала. Единственный страшный враг — это тот грубиян, которого я так оскорбила.

Потом в последнюю минуту в мою комнату вошел Пятница (я была в своей комнате потому, что позвала Ежова посмотреть на работу «врага». Ежов сказал — это арест, ничего в этом особенного нет).

Пятницкий подошел и сказал: «Юля, мне пришлось извиниться перед ними за твое поведение, я прошу тебя быть разумней». Я сразу решила не огорчать его и попросила прощения у этого «человека», он протянул мне руку, но я на него не смотрела. Я взяла две руки Пятницкого и ничего не сказала ему. Так мы простились. Мне хотелось целовать след его ног...

Я решила дожидаться... крепиться. Игоря все не было. Пришел Игорь, он сразу догадался. Я сказала, что папа увезен, просила его лечь в папиной комнате, но он ушел к себе наверх. Ночь я не спала. Лучше бы умереть.

Утром мы пошли на работу. Я все сказала директору. Мне поручили приводить в порядок библиотеку под предлогом, мне в таком состоянии трудно проектировать. Копалась с книгами в архиве.

Пришла на квартиру. Все взломано. Комната Пятницкого опечатана: что там, я не знаю. Портфель со всем содержимым (то есть с деньгами и облигациями), патефон с 43 пластинками, детские ружья, готовальня Игоря, три новых тетради по 5 рублей из моего стола, часы Игоря со сломанным стеклом, мои и детские книги, мои документы об образовании — то есть все, что могло дать нам возможность первые 2—2,5 года прожить, — все было похищено! Даже у отца похищена его сберегательная книжка на 200 рублей и его трудовые облигации (не знаю, на какую сумму). У Людмилы похитили золотые часы. Итак, мы остались без всего. Бельишко у всех взбаламучено и выпачкано, в моей коробке с пуговицами нашла две папиросы. Чемоданы с выломанными замками — не могут закрыться. Два чемодана со статьями и докладами Пятницкого увезены. Я поехала в Серебряный Бор. Там плачет бабушка. Утром приходил комендант и предложил срочно выбираться. Потом вечером пришел Григорий-сторож и тоже заявил о выезде с дачи.

Утром 9.07, до работы, часов в 6 пришел помощник коменданта и попросил меня расписаться о сроке выбытия. Я расписалась на 10.07, о вещах сказала бабушке, чтобы она забрала сколько сможет, а за помощь Григорию (чтобы он сложил данные вещи) уплатила деньгами...

Игорь все время лежит и читает. Он ничего не говорит ни о папе, ни о действиях его бывших «товарищей». Иногда я ему говорю злые слова, ядовитые, но он, как настоящий комсомолец, запрещает мне это говорить.

Он говорит иногда: «Мама, ты мне противна в такие минуты, я могу убить тебя». Он мне сказал на днях: «Мама, у меня большие замыслы, поэтому я все должен перенести». Он хочет работать и учиться. Работать ему было бы нужно, чтобы лучше питаться, но его не принимают, на нем клеймо «Пятницкого».

13.07.37 г. Я ходила на Кузнецкий, 24 узнать о Пятницком и посоветоваться насчет денег; ждала 2,5 часа, с 7.40 до 10 часов (вечера). Принял равнодушный и враждебный ко мне человек — «представитель наркома». Насчет Пятницкого сказал: «Какой это Пятницкий? Их много». Когда я сказала какой, он мне сказал: о нем можно будет поинтересоваться в окне № 9, и не ранее 25—26 июля. Насчет денег он сказал: «У нашего брата не бывает таких денег»; то есть ясно выразил мысль, что Пятницкий жулик и вор. Он сказал: такие суммы обычно не возвращают и что после процесса или суда можно будет узнать, как ими распорядятся. Заявления насчет облигаций и денег он пропустил мимо ушей.

Два раза я ходила в партком Замоскворечья, но милиционер оба раза не пропустил: оба раза секретарь отсутствовал, хотела с ним поговорить насчет Игоря.

Была у коменданта (дома) Лаврентьева два раза: первый раз узнавала, был ли кто от дома при обыске, он сказал, был дежурный комендант, что все вещи занесены в акт, за исключением наличных денег. Я спросила его, можно ли продать радио. Он

сказал, что нет, но он проверит. Второй раз заходила к нему насчет радио, он дал телефон первого отдела, чтобы я сама справилась. Носильные вещи продавать можно, но ведь у нас даже необходимого нет. Можем продать меховую шубу Пятницкого, относительно которой я в прошлом году еще говорила, почему он ее не носит, что ее можно продать. Он тогда отвечал, что если будет зимой в командировке на Севере, она ему пригодится. Но теперь я думаю, она ему не пригодится, и ее можно продать. Потом можно продать мое пальто, которое Пятницкий мне сшил в Карлсбаде. Только меня могут надуть. Больше продать нечего. Мы обречены на голод.

Людмила нашла себе работу за 200 рублей. Все дни она была в обществе своих ребят, ее положение все же лучше. Только не знает, куда ее выселят. Дедушка, бабушка и Людмила очень хотят теперь отделиться от нас, лишь бы им дали комнату. Им больше нечего от нас получить. Особенно это ярко показывает бабушка, она просто говорит: «Если все не могут спастись, пусть спасается тот, кто может». Обидно! Но, наверное, это правильно. Обидно только то, что за 7 лет, что их кормил Пятницкий, Людмила училась в хороших условиях, жили в хорошей квартире; обидно то, что, когда нас унижают, они думают, чтобы скорее удрать от нас... Мне все еще кажется, что я во сне, что Пятницкий скоро придет. А гибель все ближе и ближе. Скоро нагрянет выселение, куда и как, и нет денег. Скажут: «Молчите обо всем». Даже умереть нужно как-то тихо, а Вова ничего не знает.

Да, я еще ходила к Муранову (старый большевик), но там замок, он в больнице. Вовка про отца спрашивает в каждом письме.

Вове ничего не пишу, страшно врать и страшно сказать правду (мой брат Вова, 12 лет, был в пионерлагере «Артек»). У Вовы украли 19 рублей денег, и он во вчерашнем письме просил прислать 15 рублей, но у меня нет, лучше я ему куплю учебники на эти деньги.

Вова прислал Игорю сегодня, 18.07, письмо, в котором сообщает, что он дружит с четырьмя испанскими мальчиками и что он дружит с русским, но это русский украл у него 19 рублей. Вова сообщает, что он сильно ранил ногу и она нарывает... Если узнают, что с ним случилось, сделают ему какую-нибудь пакость («проявят бдительность»). Уж хотя бы скорей вернулся в нашу нищету.

Даже если бы все кончилось и Пятница был бы реабилитирован — жить невозможно. Нужно только дожить до конца расследования. Видеть же ни в чем не повинных детей — это мука, которую трудно выразить. Это страшнее террора в Испании, они все вместе борются за правду, за свою лучшую жизнь и умирают в надежде, а здесь... никого нет. Зачумленные дети «врага народа». Можно только тихо умирать. Если выброситься из окна, тихо зароят в землю и даже никто не узнает... Если упасть под поезд в метро, скажут — нервнобольная, а дети останутся совсем без помощи. Нужно все-таки немного побороться. Как продать вещи? Это самое трудное для меня.

Сегодня целый день дождь. От Игоря постепенно отвернулись его товарищи — Самик Филлер, Витя Дельмачинский, никто ему не звонит. Вчера вышел было и сразу же вернулся. Сегодня не встает с постели, все лежит.

Чем может это кончиться?

Я обнаружила, что горе имеет какой-то запах,

от меня и от Игоря одинаково пахнет — от волос и от тела...

20.07.37 г.

Вчера совсем вышла из нормального состояния. Написала директору Артека ужасное письмо с просьбой передать Вовке обо всем, что произошло в нашей семье. Несчастный Вова. Неизвестно, какой человек этот директор, которого я не знаю, что он преднесет Вове... Может быть, обидит его...

Комендант предложил, когда я попросила его принять (Игоря) в ученики по электромонтерскому делу: «Пусть через отдел переменит фамилию, легче будет устроиться». Мне инженер Шварц предложил: «Разведитесь с мужем, легче будет». 10 дней проработала в архиве вместо проектирования. Вчера и сегодня работала над проектом, но голова занята совсем другим. Со мной никто не хочет разговаривать. И начальник совсем игнорирует. Что будет, если узнают все сотрудники?

Вчера вечером подумала о Пятницком со злобой: как он смел допустить нас до такого издевательства?

Кто эти люди? В чьей мы власти? Страшный произвол, и все боятся. Опять схожу с ума.

Пятница сказал: «Только терпение и терпение, — я никогда не признаюсь в том, чего я не делал, поэтому следствие может длиться два года. А ты терпи и борись. Денег вам пока хватит, должно хватить. Трать на самое необходимое». Он не представлял, что нас раздают одним махом. Ну и пусть он не знает, ему легче будет бороться.

25.02.38 г.

День мой: утром Вове завтрак, очередь в молочной за кефиром и сметаной до 12 часов утра. Поездка в тюрьму для передачи Игорю — до 16.30. Потом готовка обеда на завтра. Уборка посуды. Вове ужин.

С Вовой занятия по ботанике. Вове мало внимания и времени. Комнату сегодня не убирала. На завод директору позвонить не успела, там до 16 часов. Об Игоре узнала, что он там, но ему передача не разрешена. А что это значит, я не знаю (он не давал показаний на себя и других, и его лишили передачи). Наверное, вымогают признание, чего Игорь не говорил, не делал. Вымотают у него последние силы. Он уже измучен за 7 месяцев. У матери нет слов, когда она думает о своем заключенном мальчике...

В мыслях о нем даже себе страшно признаться. Буду ждать, пока есть немного разума и много любви. Но предвижу страшные для моего сердца испытания в дальнейшем. Могут его совсем загубить (физически уничтожить), могут убить в нем желание жить, могут зародить в нем страшную ненависть, направленную не туда, куда надо (а без ненависти в наше время при двух системах жить невозможно). Я могу его никогда не встретить. Могу не найти в нем то, что растила, что особенно ценила. Могу встретить его физическим и нравственным калекой.

Потому что арестовывают того, кого хотят уничтожить!

Вова лег сегодня в хорошем настроении, но поздно — в 23.30. Все думает о своих военных делах. Сказал сегодня: «Тридцать раз прокляну тех, кто взял у меня винтовку и патроны. Я не могу теперь стать снайпером». Просил меня написать Ежову о винтовке и военных книгах, которые он с таким интересом всегда собирал. Интересуется, не пошлют ли нас в ссылку поблизости от границы. Всегда огорчается, когда я даю отрицательный ответ. Сегодня купил какую-то военную книгу и читал ее с увлечением. Зато о папе он вечером тоже сказал: «Жаль, что папу не

расстреляли, раз он враг народа». Как он его ненавидит и как ему больно!

7.03.38 г.

Сегодня в 11 часов вечера ровно 8 месяцев назад окончилась жизнь Пятницкого в семье.

Сегодня Вова принес «плохо» по русскому языку, я очень рассердилась на него: он ленив.

8.03.38 г.

«Эх, мать, ну и сволочь же отец. Только испортил все мои мечты. Правда, мать?»

В 1938 году при аресте Юлии Пятницкой ее дневник послужил основой для приговора. В 1956 году прокурор Борисов (по стечению обстоятельств его фамилия была такой же, как у царского генерала, первого мужа Юлии), который вел реабилитационные дела И. А. Пятницкого, Ю. И. Соколовой-Пятницкой и их старшего сына Игоря, отдал часть дневника младшему сыну Владимиру Пятницкому.

В октябре 1939 года Иосифа Пятницкого расстреляли. Жизненным принципом Пятницкого было: «Если так нужно партии, значит так нужно и мне!»

По этому принципу он жил и умер. Его смерть была нужна той партии, которой он так верно служил. В таких же традициях он воспитал и своих сыновей.

МАЛЕНЬКАЯ ГОЛУБОГЛАЗАЯ ДЕВУШКА

У ее матери был большой каменный дом, пароходы, угольные шахты... А дочери хотелось получить высшее образование, но в университеты женщин тогда не принимали. Оставалось единственное — пойти в фельдшерицы или акушерки. И Ольга поступила на Рождественские курсы лекарских помощников. А когда окончила их, поехала в Сибирь, к Пантелеймону Лепешинскому, сосланному на три года в далекое село Казачинское, где они и обвенчались. Она стала работать там фельдшерицей. Вот этого самого фельдшерского образования оказалось достаточно, чтобы в 1950 году получить Сталинскую премию. Абсурдное и антинаучное учение Лепешинской о «происхождении клеток из живого вещества» получило повсеместное распространение. Критика безграмотных идей Лепешинской рассматривалась как антисоветская акция. Следует отметить, что Лепешинская была приверженкой академика-новатора Лысенко. Основной догмой так называемой «новой» биологии было признание передачи по наследству приобретенных свойств. На основании своих теоретических построений приверженцы Лысенко выдвигали практические рекомендации по развитию разных отраслей сельского хозяйства (превращение незимующих сельскохо-

зайственных культур в зимующие, введение в культуру ветвистой пшеницы, выведение жирномолочных пород коров и т. д.). Их методы внедряли принудительно сразу на огромных площадях без предварительной проверки и без учета местных условий. С середины тридцатых годов лысенковцы в борьбе со своими противниками стали использовать меры административно-партийного давления и клеветнические политические доносы, которые завершались арестами и гибелью настоящих истинных ученых. Давайте вернемся в то далекое время, когда звезда Ольги Лепешинской только восходила.

Пантелеймон Лепешинский принимал активное участие в сходке народников. Там он увидел маленькую голубоглазую девушку, стриженую, в пенсне, в темной глухой кофточке с кружевной отделкой. Хозяин дома, как водится, не назвал ее фамилии, а только сказал:

— Наша молодая последовательница...

Девушка, подавая руку, назвала себя:

— Ольга.

Ольга? Так звали недавно появившуюся на свет великую княжну, и он, Пантелеймон Лепешинский, одинокий кустарь в революционном движении, уже набросал текст прокламации «Императорского дома вашего приращение», где отца новорожденной — Николая II — назвал «Августейшим животным». Оставалось только отпечатать эту листовку на самодельном мимеографе да в глухую ночь разбросать по улицам... И вот совпадение — девушка Ольга.

Последовательница народовольцев, что ли? И еще было неясно: подлинное это имя или подпольная кличка? А не все ли ему равно? Нет, почему-то хотелось повторять: «Ольга, Ольга...» Об Ольге Протопо-

повой Лепешинский больше не вспоминал. Вскоре он был арестован... И когда однажды его вызвали из камеры на свидание, удивился: «Кто мог прийти ко мне? «Невеста»? Какую девушку подыскиали на эту роль? Несомненно, курсистку...» Она была в черном пальто с лисьей горжеткой, в маленькой шапочке из горностая... И в этом довольно богатом зимнем наряде, хотя и было что-то знакомое в очертании художавого лица, широких бровях, он в первую минуту ее не узнал. Вот так жених! К счастью, надзиратель не заметил его оплошности...

Время, говорят, лучший судья. В отношении Ольги Лепешинской (урожденной Протопоповой) время стало жесточайшим судьей.

Ее даже не похоронили у Кремлевской стены...

Российские капиталисты приобретали свое состояние путем упорного труда и строгой экономии, при этом у многих из них не оставалось времени на воспитание детей.

Мать Ольги Лепешинской была занята проблемами, связанными с принадлежащими семье каменноугольными копями, и не составляла никаких планов относительно будущей жизни дочери. Она, по-видимому, не имела никакого понятия о том, что могло ждать ее дочь — революционная стезя, фиктивный жених, ссылки, эмиграции.

Мать все время думала о деньгах, поэтому дочь не должна была заботиться о хлебе насущном. У дочери было время, чтобы подумать о вечности и о любви к ближнему.

Представляла ли мать Ольги Лепешинской своего зятя — Пантелеймона Лепешинского — профессионального революционера, с вечно грязными от типографской краски руками? Нет, мать Ольги думала лишь об одном — как не обанкро-

тяться. О чем втайне мечтала в детстве Ольга Лепешинская, мы никогда не узнаем. Может быть, ей не хватало только материнского тепла. И этот недостаток родительского внимания в детстве сформировал у Ольги Лепешинской своенравный и агрессивный характер, который в свою очередь привел к революционному фанатизму. Вольтер, описывая фанатизм, говорил, что это «безумие мрачное и жестокое по своему характеру; это болезнь, заразительная, как оспа». Именно такое определение приходит в голову, когда читаешь воспоминания Ольги Лепешинской.

«Мои родители были крупные капиталисты. Отца я почти не помню. После его смерти мать занялась предпринимательскими делами.

На высоком берегу Камы особняком стоял двухэтажный кирпичный дом. В одной половине жили мы, другая, большая половина, была занята гостиницей, откуда с раннего утра и до позднего вечера слышался несмолкаемый шум от людского говора, стука вилок и ножей, хлопанья пробок, звона стаканов, музыки, пения, смеха и аплодисментов. Не знаю, нравилось ли это моим братьям и сестрам, но мне, семилетней девочке, бывало не по себе от этого утомительного однообразия. Я пряталась в дом, но и в плюшевых гостиных не находила ничего нового. Любимым местом для игр я избрала запущенный сад, куда редко кто заглядывал. Там было хорошо и покойно среди лопухов и крапивы.

Мать, по горло занятая делами, мало уделяла внимания нашему воспитанию. Мы были предоставлены гувернанткам и учителям, приходившим репетировать с нами уроки, заданные в гимназии. Сухая,

желчная, неумолимо строгая, мать лишь изредка делала кому-нибудь из нас замечания.

Лично мне повезло. Отданная под надзор своей бывшей кормилицы, я была довольна судьбой. Я очень любила Аннушку и, мне кажется, она также любила меня. Была у меня еще одна маленькая радость — коза Машка. Из-за нее я впервые вступила в спор со своей матерью.

Это случилось во дворе. Аннушка доставала из большой бутылки вишни для киселя и складывала их в чашку.

Подбежала Машка и разбросала вишни. Куры, утки, индейки с криком набросились на ягоду. Через некоторое время птицы, опьянев, тыкались головами в землю, а захмелевшая Машка влетела за мной в дом, увидела свое отражение в зеркале и, разбежавшись, ударила в него рогами. Звон разбитого стекла переполошил всех.

— Немедленно, сегодня же зарезать козу! — гневно приказала мать.

— Ни за что, — крикнула я и загородила собой Машку. Не знаю, чем мой вид поразил мать, но она не решилась повторить приказание.

Десяти лет меня отдали в гимназию. С первых дней я была одной из лучших учениц, но зато в шалостях никому не уступала.

В гимназии ко мне была прикреплена ученица восьмого класса Катя Пановец. Мы подружились. Катя просто и интересно умела отвечать на мои вопросы, и я старалась как можно дольше задержаться возле нее. Но Катя бывала неумолима. Ласково улыбаясь, она решительно отправляла меня в класс.

Однажды на уроке рисования я старательно срисовывала с природы огурец и не слышала, как подошел учитель.

— Вы что делаете?.. — спросил он.

— Рисую, — ответила я довольно самоуверенно.

— Да разве так рисуют?.. — он перечеркнул мою работу. — Начните снова.

Я вскочила и громко на весь класс крикнула:

— Вы ничего не понимаете!

— За это я вас накажу.

Учитель направился к кафедре. А после уроков меня оставили без обеда. В пустой класс пришла Катя.

— Оленька, что ты наделала? — ласково и с укором спросила она, а потом долго доказывала мне всю несерьезность и ненужную горячность моего поведения. Я и сама почувствовала мелочность своего поступка. Выслушав Катю, я пообещала на следующий день извиниться перед учителем в присутствии всего класса.

Это обстоятельство, очевидно, расположило ко мне моего лучшего друга, и Катя, усевшись рядом со мной, сказала:

— Ну, вот за это я буду с тобой отбывать наказание. И тут же начала мне рассказывать о декабристах. Она так увлекательно рассказывала, что я слушала, затаив дыхание. И когда вдруг раздался голос служителя: «Протопопова, вам пора уходить домой», — я с грустью рассталась с ней.

Убийство царя Александра II у нас в семье восприняли как большое горе. Мать, братья Борис и Александр, сестры Лиза, Наташа и тетя Анюта плакали, а я недоумевала, за что убили царя? В гимназии нам внушали, что царь — отец народа, помазанник божий. Но разве отца убивают?.. С этим вопросом я обратилась к студенту Вармунду, учителю моего младшего брата Мити. Вармунд, сосланный к нам в Пермь из Москвы, ласково потрепал меня по щеке:

— Ты еще маленькая, Олечка, а когда подрастешь, поймешь сама.

На следующий день в гимназии была панихида по убитому царю. Я стояла в паре со своей подругой Сашей Барановой и безразлично слушала похоронную музыку. Я с нетерпением ждала окончания панихиды, чтобы побежать к своей Кате, которая уж наверное скажет мне правду, за что убили царя.

Я вбежала в восьмой класс и, не заметя классной дамы, кликнула:

— Где Катя?

Классная дама со зловещей улыбкой ответила:

— Ваша Катя арестована, и ее повесят вместе с Желябовым.

Уже взрослой я узнала, что Катя была в группе народников и умерла в тюрьме от туберкулеза. Милая Катя, она пыталась мне помочь найти путь к правде, но не успела этого сделать.

Шли годы. Потускнел образ голубоглазой Кати Пановец. Я была уже в восьмом классе. Маскарады, спектакли, балы, концерты, танцы на льду при феерическом освещении цветных фонарей, масленичные катания на тройках, — все это тянулось пестрой лентой на гимназическом фоне моей жизни. При всем внешнем благополучии меня иногда волновали какие-то неясные ощущения, главным из которых было сознание того, что я живу не так. Это чувство особенно усилилось, когда стали доходить смутные слухи о волнениях рабочих, о том, что они разбивают станки и предъявляют какие-то требования хозяевам. К этому времени брат мой Борис был назначен директором каменноугольных копей на Губахе, а брат Александр был директором спичечной фабрики.

Однажды мать вошла в мою комнату и предло-

жила поехать на Губаху для выдачи жалованья рабочим.

— Борис заболел, а там нужен хозяйский глаз, — сказала она.

Такое обращение матери меня покорило и я уже хотела категорически отказаться от этой поездки, но желание увидеть своими глазами, как живут рабочие побороло, и я согласилась, тем более, что мать поручила мне проверить, закончено ли строительство квартир для рабочих. Последнее поручение вызвало у меня доверие к матери, и я спросила, отчего рабочие ломают оборудование, при помощи которого работают.

— Видишь ли, Оля, это действительно случается. Но рабочие это делают, когда напиваются и начинают хулиганить.

Мне ничего иного не оставалось, как поверить матери, но по приезде на Губаху я увидела, как все было на самом деле. Комната, в которую выходило маленькое окошечко кассы, была полутемная, сырая, душная. Рабочие, тесно прижавшись друг к другу, стояли угрюмые, раздражительные. Когда я проходила мимо них, они не отвечали на мое приветствие.

Началась выдача денег. Рабочие один за другим подходили к окошку, расписывались в ведомости, получали деньги и, ругаясь, отходили. К окошку протолкалась женщина с ребенком на руках. Ей уступили очередь. Кассир подал ей ведомость. Женщина расписалась, а когда получила деньги, начала кричать:

— Ироды проклятые, три рубля вычли. Куда я теперь с тремя ребятами? В петлю?.. В петлю?.. — Она истерически выкрикивала это слово, а мне оно резало слух. Я почувствовала, как лицо мое покрылось краской.

— Что вы кричите? Что вам сделали плохого? — спросила я, подойдя к окошку.

— Что сделали! Она еще спрашивает! Люди добрые, скажите хоть вы ей.

Совсем близко увидела я желтое, изможденное лицо и горящие ненавистью глаза.

— А чего говорить, будто сама не знает, — крикнул кто-то.

Потом сразу заговорили все:

— Штрафами замучили...

— Жить невозможно.

— Хозяйка с сыном своим всю кровь выпила...

Пошатываясь, отошла я от окна, села рядом с кассиром. Шум все нарастал. У меня дрожали коленки.

— Будь она проклята...

— Провалиться бы сквозь землю Протопопихе!

Кассир злобно ухмыльнулся:

— Вот вам, барышня, и любовь. И всегда так. При каждой получке они устраивают нам такой балаган. Ну, кто там в очереди? Подходи!

К окошечку приблизился рабочий с отечным лицом, серым от ввевшейся в кожу угольной пыли. Расписавшись в ведомости, он дрожащей рукой пересчитал деньги.

— Четыре рубля тридцать копеек. Пошто так мало?

— Лодырь! Работать не хочешь, а за деньгами идешь в первую очередь, — заорал кассир.

Сжимая кулаки, рабочие рвались к окошку. Казалось, что раскаленная лава сейчас сметет все. Я вскочила со своего места и, не помня себя, закричала на кассира.

— Что вы делаете! Не смейте! Я запрещаю. Мама этого не знает... Но она будет знать!.. — угрожающе добавила я.

Кассир криво усмехнулся и, как мне показалось, язвительно сказал:

— А вы, барышня, не повышайте своего голосочка... А маменьке доложите обязательно, чтобы она знала, что тут происходит.

Так состоялось мое первое знакомство с действительностью. На следующий день я попросила, чтобы меня спустили в шахту. Пронизывающая сырость, непривычное ощущение пребывания под землей вызвали во мне чувство страха. А когда корзинка, в которой я сидела, опустилась на самое дно шахты, меня охватило смятение.

— А как отсюда выбраться в случае обвала, — спросила я приказчика.

— Как выбраться?.. Отсюда не выберешься, — безразлично отозвался он.

Я поняла: в шахте привыкли ко всякого рода несчастьям и горю, и никого уже не волнует забота о тех, кто отдает работе всю свою жизнь.

Цепляясь за выступы, я спускалась все дальше и глубже. Проход становился уже. Я стала озираться по сторонам. Где-то жалобно поскрипывала вагонетка. При тусклом свете фонарика я увидела забойщиков. Они лежали на спине, и голые тела их были в черных подтеках от угольной пыли и пота. Ручными молотками они отбивали уголь. Глухие удары болью отзывались в моем сердце.

Я увидела перед собой невысокого паренька. На черном лице его блестели белки глаз. Руки с тяжелой монотонностью поднимали и опускали молоток, все тело его при этом изгибалось, помогая удару.

— Сколько вам лет? — как можно ласковей спросила я.

— Семнадцать, — коротко отозвался забойщик, даже не посмотрев в мою сторону.

17 лет! Столько, сколько и мне. Я мгновенно представила себе его жизнь. Как не похожа она была на ту, которую вела я и круг знакомых моей матери.

В комнате, приготовленной для меня, я прилегла отдохнуть и уснула. Проснулась я ночью от каких-то криков. Я встала с дивана. Трепещущее зарево освещало окно и стены комнаты. Горел каменный уголь. Я прислонилась лицом к холодному стеклу и смотрела на пожар, вслушиваясь в крики толпившихся перед конторой рабочих.

— Будете давить штрафами, еще не то дождетесь...

— Кровопийцы! Скоро и на вас управу найдем!

На рассвете пожар удалось потушить. А утром я наблюдала еще одну, обычную на шахте, картину. У забора стояла огромная очередь, и всюду слышались те же проклятия в адрес матери.

Я вспомнила про квартиры. В конторе мне ответили, что в них уже давно живут шахтеры. Я выразила желание их осмотреть.

— Не ходите, барышня, рабочие злы...

Но я все же пошла. Вместо «квартир» я увидела пещеры. Только со стороны входа пещеры были обшиты тесом. Рядом с узкой дверью было пробито маленькое оконце — одно на узкую и глубокую дыру, именуемую жилой комнатой. Я остановилась растерянная. В это время из крайней пещеры вышла женщина:

— Зайди, барышня, к нам. Посмотри, как люди живут — это тебе полезно.

Я вошла. Топилась печурка. Низкая каморка была наполнена дымом. На земляном полу сидели трое ребят и играли. В углу на сундучишке в тряпках кто-то лежал и тихо стонал. Женщина робко сказала:

— Вчера на пожаре обгорел...

— Как обгорел? Я ничего о жертвах не слыхала...

— Да видишь, молодой и дурной. Его заставляли тушить пожар, а он не хотел, ну, приказчик, рассердимшись, толкнул, а он, видно, не рассчитал и прямо в пламя.

Я дрожала от негодования.

— Почему же вы его в больницу не отправляете? Ведь он тут у вас умрет? — спросила я, не зная чем помочь.

— Местов нету, — беспомощно отозвалась женщина.

Я взглянула на больного... Это оказался тот самый паренек, с которым я накануне виделась в шахте. Я быстро направилась к выходу...

— Помоги, барышня, в больницу его отправить, — говорила мне женщина, а ребятишки, притихнувшие во время нашего разговора, выжидательно посмотрели на меня.

— А у тебя хлебушко есть? — спросил старший мальчик.

Через час я уезжала домой. Единственным моим утешением была мысль, что мать не знает всей правды о жизни рабочих. Наивная мысль, в чем я очень скоро убедилась.

Домой я приехала поздно ночью. Все уже спали. На столе заботливо был приготовлен ужин. Измученная пережитым, я с отвращением взглянула на стол и решила тут же лечь спать, но ко мне в комнату пришла мать. Она была в ночном чепце и капоте.

— А я и не знала, Оленька, что ты уже приехала, — ласково сказала она. В своем ночном наряде мать казалась доброй и милой.

Я рассказала все, что видела. Мать слушала меня, нахмутив брови.

— Надеюсь, ты не вмешивалась в дела администрации? — строго спросила она. — Ты наивная девочка. Рабочие всегда недовольны. Вместо того, чтобы быть мне благодарными за построенное им жилье, они устроили пожар. Но ничего, за все убытки они мне заплатят из своего кармана. Ложись-ка спать, — глаза матери жестко заблестели.

Посещение копей открыло мне глаза. Я больше не верила матери. Жить так, как жила до этого, я больше не могла. Я решила после окончания гимназии идти учиться на фельдшерские курсы и жить своим трудом, отказавшись от всех благ, которые мне давало наше богатство.

Я сказала о своем решении матери.

— Глупости болтаешь, — ответила мать. — Кончишь гимназию, поедешь в Париж, там с Лизой будете жить и учиться.

Лиза, моя старшая сестра, писала в письмах о прелестях парижской жизни. Но я уже знала, какой ценой покупаются все эти удовольствия, и твердо держалась принятого решения. Окончив гимназию, я тут же послала свои документы в Петербург на курсы лекарских помощников. Но документы вскоре пришли обратно с извещением, что на эти курсы принимаются только девушки, имеющие золотую медаль.

— Ну вот видишь, — сказала мне мать. — А в Париже золотой медали от тебя не потребуют.

Я узнала, что аттестат зрелости за мужскую гимназию может заменить золотую медаль и стала усиленно заниматься. Я трудилась целый год. Это была моя первая настоящая борьба за право жить так, как я считала нужным.

Через год я послала ходатайство в Учебный округ о разрешении мне экзаменоваться на аттестат

зрелости. Я сдала экзамены на «отлично» и, получив аттестат, собралась в дорогу.

Как сейчас помню яркий солнечный день 1891 года. Я чувствовала, что навсегда покидаю родительский дом. На душе было и грустно и радостно. Все прошлое позади. Предстояла битва за новую жизнь, в которой все будет зависеть только от меня самой».

В новой жизни друзья-революционеры помогли Ольге найти жениха. Следует отметить, что Пантелеймон сразу понравился Ольге (как и Ленин Крупской). Но как же могла благовоспитанная девушка признаться в своих чувствах профессиональному революционеру, занятому изготовлением и распространением листовок, призывающих к свержению существующего строя? Для революционно настроенных девиц, мечтающих найти партнера, в ту пору существовали роли «фиктивных невест». В качестве «невесты» девица отсылалась в тюрьму с передачами, а там уже как Бог пошлет... Получалось что-то вроде телевизионной игры в «любовь с первого взгляда».

Да и фиктивный брак — не новомодное изобретение — это революционеры-профессионалы тоже проходили.

Фиктивный брак стал для некоторых средством выживания, единственным шансом выкарабкаться на поверхность и вдохнуть еще немного воздуха. Это — реальность. Ольга Лепешинская подробно рассказала о своем замужестве в мемуарах:

«Через общество Политического Красного креста мне предложили посещать арестованного Лепешинского в качестве фиктивной невесты. Свидание

с заключенными могли получить только близкие родственники, а также жених или невеста. Этим правилом пользовались для связи с арестованными. Поэтому я сразу поняла, для чего Лепешинскому понадобилась «невеста», и с радостью согласилась играть эту роль.

Я проконсультировалась, как вести себя и собрав несколько невинных книжечек и кое-что из лакомств, отправилась к своему «нареченному». Мне сообщили, что Пантелеймон Николаевич сидит в одиночной камере, что условия в тюрьме тяжелые и с волей он не имеет никакой связи. Меня волновало, что я скажу ему? Поймет ли он, что я прикомандирована к нему «невестой»?

Придя в тюрьму, я попросила свидание. Не успев опомниться и собраться с мыслями, я увидела Пантелеймона Николаевича. Все то же обаятельное, но похудевшее лицо, спокойная ясность в глазах. Увидев меня, он приветливо, но как-то неуверенно улыбнулся. Я поняла, что он не узнает меня.

— Где мы с вами встречались? — голос его звучал мягко, глуховато. От этих слов холодный пот выступил у меня на лбу. Я кинула быстрый взгляд на жандарма — тот напряженно смотрел на меня.

— В последний раз мы веселились у Вареньки, — я особенно выделила слово «последний».

Пантелеймон Николаевич тотчас понял свою оплошность и заговорил как близкий и хорошо знакомый мне человек. Жандарм зевнул и отвернулся.

Летели месяцы. Лепешинский уже не чувствовал себя в «предварилке» одиноким, оторванным от жизни и от борьбы. Я по мере сил своих старалась обеспечить ему связь с волей. В часы свиданий мы научились разговаривать обо всем, не обра-

щая внимания на сидевшего между нами жандарма.

Пантелеймон Николаевич всегда встречал меня радостно и приветливо.

— Во мне клокочет торжествующее чувство жизни, — несколько витиевато встретил он меня при очередном свидании. — Вы, Ольга Борисовна, мои глаза, мои уши и руки... Благодаря вам я забываю о тюрьме. А сегодня утром мне дали французскую булку... Между прочим у меня к вам просьба, — продолжал он многозначительно, — я приготовил для вас белье, прошу постирать его на воле.

— Очень хорошо, — в тон ему ответила я. — А у меня для вас вишневое варенье... Вы ведь очень любите вишневое варенье?

Прошли последние шесть месяцев заключения Лепешинского. Просидев в тюрьме полтора года, Пантелеймон Николаевич должен был отправиться в ссылку в Восточную Сибирь на три года. Перед ним открыли ворота тюрьмы и сказали: «Вы свободны на три дня для приведения в порядок своих дел, а потом явитесь в пересыльную тюрьму в Москве, оттуда отправитесь этапом в путь-дорогу».

Я была ошеломлена, когда увидела Пантелеймона Николаевича с узелком в руке на пороге своей комнаты. От неожиданности, я не знала, что делать. То ли посадить его, так как вид у Лепешинского был очень усталый, то ли предложить умыться.

Пантелеймон Николаевич спокойно рассказал, что ожидает его в ссылке. Из его слов я поняла, что он смотрит на ссылку, как на время подготовки для дальнейшей борьбы. В его планы входило изучить многое из того, что он еще не знал. Все для него было ясным и заранее определенным. Я видела — он хотел предложить мне разделить его судьбу, но не решался сказать об этом первым. Я сама ему

сказала, что решила ехать за ним, как только закончу курсы.

С дипломом фельдшерицы направилась я в дорогу, написав письмо матери, в котором сообщила, что еду к жениху в ссылку и очень хотела бы с ней повидаться. Деньги ей на дорогу я выслала из Челябинска.

Мне предоставили место фельдшерицы в Переселенческом пункте. Я обязана была встречать каждый приходящий в Челябинск поезд, обойти все вагоны и отыскать среди переселенцев больных, чтобы оказать им медицинскую помощь. Из боязни карантина больных прятали под кадки, в мешки, женщины прикрывали их своими юбками. Уставала я очень, но работа мне нравилась. Большинство переселенцев были крестьяне. Вконец разоренные, придавленные нуждой, они ехали с одной думой — найти землю. Как не похожи были эти люди со своими чаяниями и надеждами на тех крестьян, о которых так много философствовали народники! Переселенцы давно потеряли всякую надежду на лучшее, но если и держались «миром», соблюдая какое-то подобие «общин», то потому, что сообща, гуртом, легче было добиться от путевого начальства отправки, а также решения других, связанных с дорогой, дел.

Кроме меня, на пункте работали еще две девушки-фельдшерицы и врач-студент пятого курса. Кроме оказания медицинской помощи, мы занимались политической пропагандой. Нам помогали иногда железнодорожные чиновники. Среди них мне запомнился Михайлов Иван Петрович. Он часто подносил носилки для тяжелобольных и, мне кажется, догадывался о нашей нелегальной работе.

Как-то возвращаясь домой после дежурства, я заметила, что в моей комнате находится кто-то посторонний. Я насторожилась и, открыв дверь, увидела мать.

— Оленька, — растроганно сказала она, прижимая меня к груди. — Как ты изменилась, возмужала, похудела. — Мать вынула платок и заплакала. — Я так несчастна. Я глубоко раскаиваюсь, что прекратила тебе посылать деньги. Я виновата перед тобой! Ты получила туберкулез. Меня Бог покарал очень сурово.

Я была ошеломлена. Я стала уверять мать, что совершенно здорова и счастлива, как никогда в жизни, что меня оплакивать не надо, а надо радоваться за меня. Но мать словно и не слышала моих слов. Она стала убеждать меня не выходить замуж за арестанта, не ехать в ссылку.

— Я умоляю тебя, дочь моя, я готова встать перед тобой на колени. Не убивай меня окончательно, я этого не переживу...

Я прервала ее:

— Мама, я уезжаю к своему жениху. И прошу тебя, больше не говори мне об этом ни слова.

Мать поняла мою непреклонность. Она заглянула мне в глаза и тихо сказала:

— Видно, не сломить мне тебя. Не поминай меня лихом. На вот — возьми на память... Сама вышила... Она протянула мне ковер. Я не успела ничего сказать. Мать моя поднялась и вышла из комнаты. Я выбежала за ней. Мать на крыльце мне сказала:

— Прощай, Оленька. Нам с тобой не по пути. Ты сама говорила, что мы люди разных взглядов. Будь счастлива...

Она быстро ушла. А я стояла во дворе и смотрела ей вслед. Я видела, как она переходила улицу и,

не оборачиваясь, скрылась с глаз. Я тихо вошла в комнату.

В комнату неожиданно постучали. Я даже вздрогнула. Вошел Михайлов. Увидев меня, он остановился посередине комнаты.

— Ольга Борисовна, что с вами? — спросил он.

— Я только что попрощалась со своим прошлым...»

Что же было в будущем?

Будущее показало, что Ольга оказалась достойной дочерью своей матери. Внутренне она была такая же, как мать. Она унаследовала у своей матери главное — железную хватку и жестокость.

Ольга Протопопова последовала в ссылку за своим фиктивным женихом — проверенный способ выйти замуж за социал-демократа по-настоящему. До Казачинского Ольга Протопопова добралась весной 1897 года. Здесь она обвенчалась с Пантелеймоном Николаевичем Лепешинским. Было решено: сначала Ольга подыщет себе должность фельдшерицы где-нибудь в южной части губернии, а потом Пантелеймон Николаевич подаст ходатайство о переводе его туда же. К жене разрешат переехать. Ольге Борисовне дали место в селе Курагино, где-то за Минусинском.

...Старенький паром с баржей на буксире медленно тащился вверх по реке. На бесчисленных перекатах вахтенные матросы, прощупывая каменистое дно, отыскивали борозду поглубже. В десятиместной каюте третьего класса половина пассажиров были знакомы. Владимир Ульянов возвращался из Красноярска, куда он ездил лечить зубы. Ольга Лепешинская спешила к новому месту работы. С ней

ехала Лена Урбанович, пятнадцатилетняя девочка из семьи ссыльных, надолго застрявших на севере. Ольга и Лена, поставив чемоданы между коек, нарежали для завтрака хлеб, развернули жареную курицу, соленые огурцы. Владимир Ильич сходил за кипятком.

— Эх, пельменей бы сейчас... — сказала Ольга Борисовна.

— Настоящих. С тройным мясом, с луком, с перцем. — Неплохо бы. Но в буфете нет.

— Вам уже доводилось пробовать?

— Конечно. В Шушенском — наилучшее блюдо. Но нет так нет. А для вас я кое-что захватил... — Владимир Ильич из своей дорожной корзины достал банку консервов.

— Вот! Крабы. И все вспомнили Красноярск. И припомнилось Ольге Борисовне, как однажды в Красноярске у общих знакомых за завтраком она пожаловалась на то, что у нее пропал аппетит. Присутствующий тут же Владимир Ильич мигом скрылся. А минут через пятнадцать вернулся с банкой консервов. Это были крабы, которые тогда ей очень понравились: И сейчас Владимир Ильич открыл для нее такую же банку крабов! Знал, что поедут вместе, припас для нее. Какой заботливый! Об этом она обязательно напишет мужу из Минусинска...

В 1903—1906 гг. Лепешинские живут в Женеве среди большевиков-эмигрантов и имеют свой бизнес. В Женеве Лепешинские открыли эмигрантскую столовую, которая тотчас же стала местом встреч и собраний. В маленькой комнатке разместили партийную библиотеку, поставили шкафы для рукописей, прокламаций и различных революци-

онных документов, и столовка превратилась в своеобразный партийный клуб. Доход от столовой поступал в партийную кассу. Тут же была и «эмигрантская касса», оказывавшая помощь тем, у кого не было никакого заработка. Накормив обедом 70—80 человек, Ольга Борисовна на велосипеде мчалась в университет, где продолжала свое образование, а Пантелеймон Николаевич отправлялся в редакцию большевистской газеты «Вперед», чтобы прочесть корректуру очередного номера. Их дочь Оленька целые дни проводила на улице с французскими детьми.

Это было в 1905 году. Ранним утром Пантелеймон Николаевич с корзиной в руках отправился на рынок, чтобы купить мяса для столовки. На улицах продавались утренние газеты. Взял первую попавшуюся под руку, там сообщалось о событиях 9 января, о стачках. Вбежав в свою комнатку при столовой, взбудораженный новостью, он подал газету жене:

— Читай!.. Революция!..

В каких-нибудь полчаса Ольга Борисовна подняла на ноги трех большевичек, живших неподалеку, вручила им по подписному листу, и они вчетвером помчались по разным улицам; стучались в дома либерально настроенных горожан и принимали жертвования. Женщины успели обойти главные улицы раньше меньшевиков и принесли в партийную кассу 3 тысячи франков! Прошло время, и Ольга Борисовна с пельменей и платных столовок для «товарищей» переключилась на науку. Дорога была открыта: власть завоевали — значит, «кто был ничем, тот станет всем». Можно, например, стать ученым-биологом. Как говорится: что хочу, то ворочу. Видный цитолог Владимир Яковлевич Александров

описывая борьбу в советской биологии тридцатых — пятидесятых годов, указал на связь научной и политической борьбы в те годы. Он подробно проанализировал работу машины монополизации науки, которая становилась машиной лжи и уничтожения: «После Великой Отечественной войны в сферу мичуринской биологии включилась группа О. Б. Лепешинской. Лепешинская, начиная с середины тридцатых годов, выступала с публикациями, в которых сообщала об открытом ею образовании клеток из бесструктурного живого вещества. Этим опровергалось утверждение крупнейшего немецкого патолога Р. Вирхова, сделанное им в 1855 году, о том, что клетка образуется только от клетки. Тезис Вирхова, принятый всеми биологами Лепешинская объявила метафизическим, идеалистическим и почему-то несовместимым с принципом развития. В качестве идейного прикрытия Лепешинская использовала искаженные до неузнаваемости идеи Ф. Энгельса. На основании собственных исследований Лепешинская также предлагала практические мероприятия: принимать содовые ванны для борьбы со старостью и прибавлять к ранам кровь для ускорения заживления. К публикации О. Б. Лепешинской ученые относились как к комическому вздору, ее попытки издать книгу на эту тему несколько раз отклонялись.

Ее муж, который работал в Наркомпросе, умер в 1944 году. Как ни парадоксально, Ольга Лепешинская была среди тех ученых, которые способствовали утверждению культа личности Сталина. Культ Сталина был поддержан и развит учеными. Его «избрали» Почетным членом Академии наук СССР.

В 1949 году к его 70-летию был издан толстый фолиант панегириков, где не только такие «академики», как Т. Лысенко, О. Лепешинская, А. Вышинский, М. Митин, но и физик А. Иоффе, биохимик А. Опарин, геолог В. Обручев и другие бесчисленное число раз величали Сталина «гениальным ученым», «величайшим мыслителем» и «корифеем науки».

Лепешинская взялась за выигрышную тему — поиски «эликсира молодости» (советским партийным деятелям хотелось жить вечно). Лепешинская обещала Сталину, что древняя тайна «эликсира молодости» вот-вот будет разгадана. Быть может, будет найден и новейший рецепт. Она вселяла в диктатора надежду, что в конце концов сможет открыть путь к существенному продлению жизни на десятилетия и даже на века. Но одно не учитывала Ольга Лепешинская: чтобы подольше задержаться на этом свете, надо жить без злобы и досады, без ненависти и зависти, радуясь везению или маломальскому успеху, даже чужому. Именно такая жизнь предполагает отдаление старости.

МЫ ДЛИННОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ ИДЕМ ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ!

Бельгиец Морис Метерлинк создал чудесную пьесу-феерию «Синяя птица». Герои пьесы — маленькие дети и фантастические существа, которые помогают им искать Синюю птицу. А Синяя птица — не что иное как символ счастья, которое люди, как наивные дети, пытаются искать повсюду — в прошлом и будущем, в царстве дня и ночи, не замечая, что счастье находится совсем рядом, возможно, в их собственном доме. У себя в доме нашла свое счастье Анна Михайловна Бухарина-Ларина, жена Николая Бухарина.

Своего будущего мужа она знала с детства. Он был другом ее родителей.

«Момент знакомства с Бухариным мне хорошо запомнился. В тот день мать повела меня в Художественный смотреть «Синюю птицу» Метерлинка. Весь день я находилась под впечатлением увиденного, а когда легла спать, увидела во сне и Хлеб, и Молоко, и загробный мир — спокойный, ясный и совсем не страшный. Слышалась мелодичная музыка Ильи Саца: «Мы длинной вереницей идем за Синей птицей». И как раз в тот момент, когда мне привиделся Кот, кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой, в человеческий

рост, и я крикнула: «Уходи, Кот!» Сквозь сон я услышала слова матери: «Николай Иванович, что вы делаете, зачем вы будите ребенка?» Но я уже проснулась, и передо мной стало вырисовываться лицо Николая Ивановича. В тот момент я и поймала свою Синюю птицу. Из всех многочисленных друзей отца моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неумная жизнерадостность, озорство, страстная любовь к природе и знание ее (он был неплохим ботаником, великолепным орнитологом), а также его увлеченность живописью.

Я не воспринимала его в то время взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее это так. Если всех близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Николай Иванович такой чести не удостоивался. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила и его самого, и своих родителей, тщетно пытавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока к этому не привыкли».

Анна родилась в 1914 году. До марта 1918 года жила в Беларуси, в городке Горки у бабушки.

Она очень любила своих отца и мать, но они были ей не родные, а приемные.

«Мать, давшая мне жизнь, скончалась от скоротечной чахотки, когда мне было около года. Отец покинул ее, когда мне не исполнилось трех месяцев. Этой тайны я могла бы вовсе не знать, но, чтобы избавить меня от страха унаследовать страшную болезнь, родные со временем мне об этом рассказали. Ларин был женат на сестре моей матери, и Ларины заменили мне родителей. Так я их всегда называла.

Михаил Александрович Лурье стал Юрием Михайловичем Лариным в конспиративной переписке из Якутской ссылки. Он образовал отчество от своего имени и позаимствовал фамилию из пушкинского «Онегина».

Он был сыном Александра Лурье — крупного инженера, специалиста по железнодорожному транспорту. Тот жил в Петербурге, вращался в высших сферах и, как ценный специалист, был близок ко двору Николая II.

Матерью Юрия Ларина была сестра создателя знаменитого энциклопедического словаря — Игнатия Наумовича Граната. Семья распалась при трагических обстоятельствах. Перенесенная во время беременности скарлатина привела к страшному осложнению: прогрессирующей атрофии мышц и к внутриутробному заражению ребенка. Александр Лурье покинул заболевшую жену еще до рождения сына и вскоре оформил развод.

Отец родился и вырос в Крыму, в Симферополе, жил в семье своей многодетной тетки — сестры матери Фредерики Наумовны Гранат.

Уже в 9—10 лет у ребенка стала заметно прогрессировать страшная болезнь.

С 1917 по 1937 год он неизменно вспоминается в одном и том же виде. Высокий человек, у которого странная болезнь поразила половину привлекательного лица; не без труда управлял он своими лицевыми мышцами и ртом; а речь его в то же время была жива, остроумна.»

Ларин был популярен в первые послереволюционные годы. Однажды на демонстрации Аня услышала, как пели частушку с упоминанием его имени:

«Нас учили в книгах мудростям Бухарина и с утра до ночи заседать у Ларина».

До революции Ларин вел жизнь профессионального революционера: организация ячеек РСДРП, переезды из города в город, из страны в страну, аресты, ссылки, побеги. Революция застала его членом исполкома Петроградского Совета, и он принимает деятельное участие в революционных событиях. Много пишет как литератор-экономист по проблемам хозяйственной жизни, издает книги, выполняет личные поручения Ленина.

В памяти дочери отец живет как явление необычное. «Трудно вообразить, — рассказывает она, — как мог человек, физически неполноценный от рождения, столь мужественно пройти свой жизненный путь. Легко опознаваемый охранкой, он смог вынести бесконечные преследования. Как мог бежать из тюрем? Бежать, если он и передвигался-то с большим трудом». Он рассказывал дочери, как из якутской ссылки его унесли в большой плетеной корзине, как однажды на Украине его буквально перевалили за забор тюрьмы, по другую сторону поймали товарищи и некоторое время несли на руках. Приходится только удивляться, что Юрий Михайлович столь плодотворно проявил себя как литератор. Ведь руки его были столь слабы, что он не мог поднять телефонную трубку одной правой рукой, не помогая левой. Все в жизни доставалось Ларину величайшим напряжением воли.

Анна Михайловна помнит себя очень рано. На четвертом году жизни она стала настойчиво интересоваться своими родителями. Спрашивала, где же ее мама и папа. Что мог ответить дед? Ане запомнился ответ деда на один из таких вопросов: «Твои родители — социал-демократы, они предпочитают сидеть по тюрьмам, бежать от ареста за

границу, а не сидеть возле тебя и варить тебе кашу».

Аня с нетерпением ждала встречи...

Девочка не поняла, что такое социал-демократы, но тюрьма была недалеко от дома, и дед говорил ей, что там сидят воры и бандиты. Подавленная, Аня больше не решалась спрашивать о родителях. Увидела она их после Февральской революции, когда они вернулись из эмиграции.

— Мама очень понравилась, — вспоминает Анна Михайловна, — она была красивая, стройная, с большими добрыми серыми глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами. И я решила, что социал-демократы вовсе не так уж плохи.

Прямо-таки драматический эпизод произошел во время встречи с Лариным. Аня взглянула на него и испугалась: Юрий Михайлович при ходьбе выбрасывал вперед ноги, неестественно при этом работая руками. От ужаса Аня залезла под диван, зарыдала и закричала: «Я хочу к бабушке!» Мать выгнала ее из-под дивана палкой, представила перед покрасневшим взволнованным мужем. Но уже к вечеру он ее покори́л, и они стали друзьями на всю жизнь.

Не секрет, что часто родители подсознательно влияют и на выбор будущего супруга для своих дочерей. Так получилось и у Анны Михайловны. Сама атмосфера ее детства формировала ее мечты.

Уже нет среди нас Анны Михайловны Бухариной-Лариной. Только в 1961 и 1962 годах ей разрешили вернуться с сыном в Москву после двадцати лет, проведенных в лагерях и ссылке. Она обратилась лично к Хрущеву с просьбой официально снять с Бухарина предъявленные ему на суде обвинения и вернуть ему доброе партийное имя. О своей жизни Анна Михайловна написала прекрасную книгу воспоминаний «Незабываемое»:

«Одна из первых встреч с Николаем Ивановичем связана с воспоминанием о Ленине. Однажды в кабинет отца, где, как обычно, было полно народу, пришел Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных. Помню его смутно.

Один забавный эпизод запал в память на всю жизнь. Когда я вошла в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Речь, по-видимому, шла о нем; я не могла понять всего, что говорилось Лениным о Бухарине, но запомнила одну фразу: «Бухарин — золотое дитя революции». Это высказывание Ленина о Бухарине стало хорошо известно в партийных кругах и воспринималось как образное выражение. Я же пришла от сказанного Лениным в полное замешательство, так как все поняла буквально, и заявила Ленину протест. «Неправда, — сказала я, — Бухарин не из золота сделан, он живой!» — «Конечно, живой, — ответил Ленин, — я так выразился потому, что он рыжий».

...21 января 1924 года поздним вечером из Горок позвонил Николай Иванович и сообщил, что жизнь Ленина оборвалась. Я еще не спала и видела, как слезы, покатались из скорбных глаз отца по его мертвенно-бледным щекам. День похорон — 24 января, совпавший с моим днем рождения, нарушил мой детский праздник. Отец сказал мне: твой день рождения отменяется, теперь это день траура навечно. Твой день рождения мы будем теперь отмечать 27 мая, когда пробуждается природа и все цветет.

Самое удивительное заключалось в том, что отец вместе со мной поехал в загс на Петровку, чтобы внести новую запись в свидетельство о рождении. Изумленный просьбой Ларина, сотрудник загса долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документы не менять. Наконец сдался. И я была зарегистрирована вторично, через десять лет после

моего рождения. По этой метрике мне выдали паспорт, в котором и по сей день значится другая дата моего рождения.

С моим отцом Бухарин был знаком еще со времен эмиграции, впервые они встретились в Италии в 1913 году, а с лета 1915 года по лето 1916 года жили в Швеции. А с 1918 года до середины 1927 года мы жили одновременно в «Метрополе». Отец и Николай Иванович не всегда сходились во взглядах, но это не нарушало их дружбы. Они были предельно откровенны друг с другом... Спустя годы нашего сына, по желанию Николая Ивановича, мы назвали Юрием в память о моем отце.

...Когда Николай Иванович уходил от нас, я очень огорчалась и все чаще сама забегала к нему. Отец радовался, когда я бывала у Бухарина: отцу всегда казалось, что его болезнь омрачает мою жизнь, что я не добираю детской радости. Поэтому, когда я бывала в 205-м номере, где жил Бухарин, он выражался: «Пошла в отхожий промысел». Да отец и сам старался «подбрасывать» меня к своему другу.

...1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Бухарин переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было невозможно. Хотя впоследствии Николай Иванович оформил для меня постоянный пропуск, застать его в ту пору дома было очень трудно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо здания Коминтерна — оно находилось против Манежа, возле Троицких ворот, — в надежде встретить Николая Ивановича. Не раз мне везло, и я, радостная, устремлялась к нему.

По мере того как я подрастала, моя привязанность к Н. И. все усиливалась. Меня уже не удовлетворяло довольно частое пребывание Н. И. у нас. К тому же

мне было ясно, что я есть нечто сопутствующее Ларину, ко мне бы он не приходил (так было до 1930 года), и я тосковала. По приезде из Сочи (в ту пору мне было одиннадцать лет) я написала Н. И. стихи:

*Видеть я тебя хочу.
Без тебя всегда грущу.*

Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно! Раз написала, походи и отнеси их своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал: «От Ю. Ларина». Я приняла решение: позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось все не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его захватить Бухарину письмо от Ларина. Так, через Сталина я передала Бухарину свое детское объяснение в любви. Сразу же раздался телефонный звонок. Н. И. просил прийти. Но я пойти к нему не решилась.

Я оказалась в Крыму одновременно с Николаем Ивановичем случайно; приехала с больным отцом и жила с ним в Мухалатке, доме отдыха для членов Политбюро и других руководителей. Н. И. умышленно избрал другое место и жил уединенно на даче в Гурзуфе. Вскоре после приезда в Мухалатку мы навестили его. Н. И. производил удручающее впечатление: осунувшийся, исхудавший, ослабленный, грустный. Не могло быть и речи, чтобы в таком состоянии присутствовать на съезде. Через несколько дней мы вновь его увидели, он был несколько креп-

че физически, но в таком же, если не в более подавленном состоянии. В обоих случаях мы заставляли его в постели.

Никакой регулярный транспорт, ни морской, ни сухопутный, из Мухалатки в Гурзуф в то время не ходил. С отцом я имела возможность ездить на легкой машине дома отдыха, а без него добиралась на грузовой, ездившей в Гурзуфские ремонтные мастерские.

Впервые я отправилась одна из Мухалатки еще на рассвете и ранним утром была в Гурзуфе.

Н. И. был обрадован моим приездом. «Я предчувствовал, что сегодня ты обязательно приедешь!» — воскликнул он.

Мы наскоро позавтракали и спустились по крутой дорожке к морю. Н. И. захватил с собой книгу, завернутую в газету. Было тихое утро. Небольшая ласковая волна, чуть пенясь, плескалась у берега и, шевеля морские камешки, издавала шуршащий успокаивающий звук, похожий на вздох.

Мы уселись меж скал, одна из них нависала над нашими головами и давала приятную тень. На мне было голубое ситцевое платье с широкой каймой из белых ромашек, черные косы свисали почти до самой каймы.

— Ты как-то незаметно выросла, — сказал Н. И., — стала взрослой.

Я смутилась. Разговор как-то не клеился, Н. И. заметно волновался. А наше чувство друг к другу было загнано внутрь, и никто не решался первым его проявить, хотя к этому времени обоим было уже ясно: оно претерпело метаморфозу, превратившись у меня из детской привязанности к Н. И., а у него — из привязанности к ребенку в чувство влюбленности.

Он раскрыл газету, в которую завернута была

книга. В газете публиковались выступления делегатов съезда.

Отбросив газету с речами, Н. И. взялся за книгу. Это была «Виктория» Кнута Гамсуна.

— Мало кому, — сказал он, — удалось написать такое тонкое произведение о любви. «Виктория» — это гимн любви!

Как я предполагаю, книгу эту Н. И. захватил с собой не случайно. Он стал читать вслух — не подряд, а выборочно:

«Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах. Нет, это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она точно маргаритка распускается с наступлением ночи, и точно анемон от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься.

Вот что такое любовь...»

Прервав чтение, он задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Потом перевел взгляд на меня и снова в море. О чем он думал тогда?..

Затем он продолжил:

«Любовь стала источником всего земного иладычицей всего земного, но на всем ее пути — цветы и кровь, цветы и кровь!»

— Почему же кровь? — спросила я.

— Ты хотела, чтобы были одни цветы? Так в жизни не бывает. Любовь должна преодолевать испытания побеждать их? А если любовь не преодолевает трудностей, не побеждает их, следовательно, ее и не было — той настоящей любви, о которой пишет Кнут Гамсун.

Дальше Н. И. прочел о том, как болезнь приковала мужа к постели и обезобразила его, но его любимая жена, подвергнутая тяжкому испытанию, чтобы

быть похожей на своего мужа, у которого выпали все волосы от болезни, обрезала свои локоны. Затем жену разбил паралич, она не могла ходить, ее приходилось возить в кресле, и это делал муж, который любил свою жену все больше и больше. Чтобы уравнять положение, он плеснул себе в лицо серной кислоты, обезобразив себя ожогами.

— Ну, а как ты относишься к такой любви? — спросил Н. И.

— Сказки рассказывает твой Кнут Гамсун! Зачем себя специально уродовать, делать себя прокаженным, обливать лицо серной кислотой? Неужто нельзя без этого любить? Чужь какая-то!

Мой ответ рассмешил Н. И., и он пояснил мне, что «его» Кнут Гамсун такими средствами выразил силу любви, ее неприменную жертвенность. И вдруг, глядя на меня грустно и взволнованно, спросил:

— А ты смогла бы полюбить прокаженного?

Я растерялась, ответила не сразу, почувствовав в его вопросе тайный смысл.

— Что же ты молчишь, не отвечаешь? — снова спросил Н. И.

Смущенно и по-детски наивно я произнесла:

— Кого — тебя?

— Меня, конечно, меня, — уверенно произнес он, радостный, улыбающийся, тронутый тем, с какой еще детской непосредственностью я выдала свои чувства.

Не раз за долгие годы мучений вспоминала я потом роковой вопрос Н. И.: «А ты смогла бы полюбить прокаженного?»

После возвращения из Крыма Николай Иванович почти ежедневно приезжал к нам на дачу в Серебряный бор. Мать немного посмеивалась над нашими отношениями, не принимая их всерьез; отец молчал

и не вмешивался. Они (Н. И. и отец) часто беседовали, больше на политико-экономические темы, а я все вбирала в себя, как губка, и старалась быть в курсе всех нюансов политической атмосферы тех лет.

Осенью и зимой 1930 и в начале 1931 года свободное время мы старались проводить вместе, ходили в театры, на художественные выставки. Я любила бывать в кремлевском кабинете Н. И. Стены были увешаны его картинами. Над диваном — моя любимая небольшая акварель — «Эльбрус в закате». Были там чучела разных птиц — охотничьи трофеи Н. И. — огромные орлы с расправленными крыльями, голубоватый сизоворон, черно-рыженькая горихвостка, сине-сизый сокол-кобчик и богатейшие коллекции бабочек. А на большом письменном столе приютилась на сучке, точно живая, изящная желтовато-бурая ласочка с маленькой головкой и светлым брюшком.

Как-то вечером мы долго гуляли в Сокольниках — в то время Сокольники были окраиной Москвы, мы поехали туда трамваем. Н. И. довольно часто пользовался городским транспортом. Бывало, пассажиры узнавали его и говорили друг другу: «Смотрите, смотрите, Бухарин едет!» Или слышалось: «Здравствуйте, Николай Иванович!» Некоторые подходили и доброжелательно пожимали ему руку. Н. И. приходилось непрерывно раскланиваться, он смущался от такого проявления внимания.

Не помню теперь, каким образом на обратном пути из Сокольников мы оказались на Тверском бульваре. Сели на скамейку позади памятника Пушкину, стоявшего в то время по другую сторону площади, и Н. И. решился на серьезный разговор со мной. Он сказал, что наши отношения зашли в тупик и ему надо выбирать одно из двух: или соединить со мной жизнь или отойти в сторону и дать

мне право строить жизнь независимо от него.

Ответа от меня не последовало. Он увидел лишь одни слезы. Мне трудно теперь объяснить свое состояние: должно быть, это были слезы радости и глубокого потрясения, а также нерешительности, свойственной в те юные годы моей натуре, и от того, что рядом со мной на скамейке Тверского бульвара сидел не какой-нибудь мальчишка-ровесник, а именно Бухарин, — слезы лились ручьем. Н. И. смотрел на меня в недоумении, такой реакции он не ожидал. Он был убежден, что выбор уже мною сделан, иначе бы и не заговорил. Н. И. безуспешно пытался узнать, чем вызваны мои слезы. Я продрогла, Н. И. согривал мои замерзшие руки своими, горячими. Надо было возвращаться домой.

Увидев, что мое настроение исправилось, Н. И. решил предложить мне пойти с ним вечером следующего дня в Большой театр на «Хованщину» Мусоргского. Я с удовольствием согласилась.

Поздно, уже за полночь, мы явились в «Метрополь». Мать спала. Отец сидел за своим письменным столом, работая над какой-то очередной статьей. Он все-таки заметил мои заплаканные глаза и растерянный вид Н. И. и предложил ему остаться ночевать, что тот и сделал, улегшись на диване в кабинете. Я плохо спала, проснулась поздно, когда Н. И. уже ушел на работу.

Утром отец, который, как я уже упоминала, никогда не вмешивался в наши отношения, неожиданно заговорил со мной:

— Ты должна хорошо подумать, — сказал он, — насколько серьезно твое чувство. Н. И. тебя очень любит, человек он тонкий, эмоциональный, и если твое чувство несерьезно, надо отойти, иначе это может плохо для него кончиться.

Его слова меня насторожили, даже напугали.

— Что это значит — может плохо для него кончиться? Не самоубийством же?!

— Не обязательно самоубийством, но излишние мучения ему тоже ни к чему.

Позже от Н. И. я узнала, что утром он рассказал отцу о разговоре на Тверском бульваре.

Вечером Н. И. должен был зайти за мной, чтобы пойти в театр. Сомневаться не приходится, что после «Хованщины» все решилось бы так, как это решилось тремя годами позже, разговор с отцом сделал меня более решительной и многое дал понять. Суток было достаточно для осознания, что Н. И. необходимо было, чтобы решение исходило именно от меня. Но по моей вине я не встретила с Н. И. Кто-то из моих однокурсников-рабфаковцев (я училась на рабфаке, готовившем в планово-экономический институт) позвонил и неожиданно сообщил мне, что вечером я обязана явиться на бригадные занятия для подготовки к экзамену по политэкономии. В то время практиковался бригадный метод занятий, в особенности подготовки к экзаменам. У нас была комсомольская бригада, взявшая обязательство сдать все экзамены на «хорошо» и «отлично». Теперь можно над этим посмеяться, но тогда я относилась к этому вполне серьезно. В бригаде занимался также учившийся со мной на одном рабфаке, а затем в институте сын Сокольникова Женя, мой ровесник. Он жил тоже в «Метрополе» и довольно часто заходил ко мне. Н. И. видел, что Женя увлечен мною, я же в то время относилась к нему с полным равнодушием. Тем не менее присутствие Жени раздражало Н. И., и он откровенно говорил мне об этом.

И случилось так, что, как мне ни хотелось пойти с Н. И. в театр, а после театра поговорить с ним, я ре-

шила отправиться на занятия, не нарушая комсомольского долга. Предупредить Н. И. по телефону мне не удалось — ни на работе, ни на квартире я его не застала. Родителей моих в тот вечер дома не было. Поэтому я оставила Н. И. записочку, в которой сообщила, что в театр пойти не смогу и объяснила причину. Я просила его зайти через день после экзамена. Записочку засунула в дверную щель и ушла на занятия. Через день Н. И. не пришел, не появился и в последующие дни. Я решила проявить инициативу и позвонила ему сама. Он разговаривал со мной холодно, сухо, не так, как обычно. Поначалу он не поверил в причину, изменившую мое решение пойти в театр, но в этом мне удалось его как будто переубедить. Тогда последовал резкий вопрос: «Разве ты умеешь думать только коллективными мозгами? К чему эта бригада? Наконец, я позволю себе предположить, что по политэкономии я бы тебя смог подготовить не хуже, чем Женя Сокольников с бригадой».

Только я собралась ответить — объяснить Н. И., что у меня самой были обязанности перед бригадой, как он повесил трубку. В то время Н. И. было 42 года, но он был по-юношески вспыльчив и ревнив.

Я была подавлена случившимся и не могла понять, почему казавшийся мне невинным инцидент вызвал такую острую реакцию Николая Ивановича и привел к разрыву наших отношений. Н. И. упорно не появлялся, я звонила ему на работу, в НИС (так тогда называли научно-исследовательский сектор ВСНХ, затем Наркомтяжпрома). Его милая, добрая секретарша А. П. Короткова, «Пеночка», как называл ее Н. И., по названию маленькой птички. Августа Петровна была маленького роста, худенькая, всегда нежным мягким голоском отвечала: «Н. И. занят». «Н. И. нет на работе», или, наконец: «Н. И. болен». Я

позвонила на квартиру — действительно он болел.

Мне захотелось пойти к нему, он просил меня этого не делать и ждать его письма. Вскоре я получила его. И. И. писал, что после моей записочки, оставленной в двери, он понял, что ему надо отойти в сторону. Он рассыпался в бесконечных комплиментах в мой адрес, так что я могла задрать нос кверху, и написал много красивых слов, несмотря на весьма грустное содержание записки. Фраза: «мой дорогой, нежный, розовый мрамор, не разбейся», — заставила меня сквозь слезы рассмеяться. Н. И. писал, как тяжка для него наша разлука — он даже заболел, но он решил уступить дорогу молодости и что ему не хотелось бы оказаться в роли короля Лира, даже при прекрасной Корделии.

Кстати, Н. И. до последнего времени был убежден, что тогда я совершила бестактность по отношению к нему, в особенности потому, что я отменила нашу встречу на следующий же день после того, как он решился на серьезный разговор со мной.

Позже, вспоминая этот эпизод, Н. И. шутил, как человек, знавший себе цену: «Я тебе не Женька Сокольников и не Ванька Петров (неизвестный Ванька Петров заставлял нас обоих смеяться), чтобы мне такие записочки в двери оставлять!»

Тремя годами позже мы, конечно, сходили на «Хованщину» — любимую оперу Н. И.

После нашего разрыва Н. И. изредка появлялся у отца. Он, предварительно договорившись с ним, приходил в мое отсутствие.

В январе 1932 года отец серьезно заболел. Из моей телеграммы, посланной в Нальчик, где тогда отдыхал Н. И., он узнал, что отец при смерти. Прервав отпуск, Бухарин выехал в Москву, но успел приехать лишь на следующий день после похорон.

Вопрос умирающего отца меня поразил и озадачил:

— Николая Ивановича ты все еще любишь? — спросил он, зная, что с марта 1931 г. мы не виделись. Я была смущена тем, что должна была дать ответ в присутствии Поскребышева, и взволнована потому, что мне хотелось, чтобы мой ответ удовлетворил предсмертное желание отца, которого я не знала. Но солгать я не могла и ответила утвердительно, не исключая, что отец огорчится и скажет: «Надо забыть его!» Однако глухим, еле слышным голосом он произнес:

— Интересней прожить с Н. И. десять лет, чем с другим всю жизнь.

Эти слова отца явились своего рода благословением.

Затем жестом он показал мне, чтобы я подошла еще ближе, так как голос его все слабел и слабел, и скорее прохрипел, чем сказал:

— Мало любить Советскую власть, потому что в результате ее победы тебе неплохо живется! Надо суметь за нее жизнь отдать, кровь пролить, если потребуется (как я поняла, отдать жизнь в случае интервенции против Советского Союза)! — С большим трудом он чуть приподнял кисть правой руки, сжатую в кулак, сразу же безжизненно упавшую ему на колено: — Клянись, что ты сможешь это сделать!

И я поклялась.

После смерти отца Н. И. стал появляться у нас снова, прежде всего потому, что чувствовал себя обязанным проявить внимание к нам, к моей матери и ко мне. Не могу сказать, что присутствие Н. И. не стало волновать меня снова, но все же в то время это волнение приглушалось моим горем.

Я безгранично любила отца и тяжело переживала его смерть. Кроме того, были и другие причины, за-

ставлявшие нас обоих сдерживаться: затаив в душе чувство обиды на Н. И. и расценивая наши прошлые отношения как светлый, но никогда неповторимый период своей жизни, я искала забвения от глубокой тоски по нему, и тогда — только тогда — у меня действительно начался роман с Сокольниковым-сыном. Чувство ревности, мучившее раньше Н. И., было вызвано его болезненным воображением: в то время для ревности не было причин. Мой роман с Женей Сокольниковым начался после разлуки с Н. И. и начал рушиться после того, как Н. И. вновь появился на горизонте.

Время показало, что любовь к Н. И. прочно жила в моем сердце. Вероятно, так было и с Н. И., хотя дело обстояло сложнее.

Я узнала, что он не один случайно. В феврале 1932 года, через месяц после смерти отца, Н. И. отправил меня в дом отдыха «Молоденово» под Москвой. Он наезжал и туда; грустные это были встречи.

Как-то раз, проводив Н. И. из Молоденова, я брела в одиночестве по лесной дорожке парка: издали я заметила Яна Эрнестовича Стэна, известного в то время философа, отличавшегося независимым характером. На Сталина он смотрел всегда с высоты своего интеллекта, за что расплатился раньше многих. В гордом и величественном облике этого латыша с выразительным умным лицом, сократовским лбом и копной светлых волос было что-то величественное. Ян Эрнестович шел мне навстречу вместе со своей женой Валерией Львовной. Оба молодые, красивые, счастливые, влюбленные, только так их можно было воспринять. Я позавидовала им, и пронеслась у меня тогда мысль: вот у них-то все так просто, а у меня столько сложностей. Возможно, мне это казалось — у каждого свое... Мы встретимся

лись и остановились. Стэн обратил мое внимание на маленькую дачку в глубине леса.

— Узнаете, кто сидит там, возле дачи? — спросил он.

У крыльца сидела в плетеном кресле, обложенная подушками, одетая в шубу и укутанная в плед, как мне показалось, старуха. Я ее не узнала.

— Это Надежда Михайловна Лукина, бывшая жена Бухарина, — сказал Стэн.

Н. И. был женат еще до революции на своей двоюродной сестре. Надежда Михайловна была немного старше Н. И. Брак их распался в начале 20-х годов. Будучи очень больным человеком — грипп дал серьезное, все прогрессирующее осложнение на позвоночник. — Надежда Михайловна в начале заболевания вынуждена была вести полулежачий образ жизни, а в последнее время все больше была прикована к постели. После нашей женитьбы мы жили вместе с ней, и в тяжкие дни отдавала она нашей семье все тепло своей души, трогательно, с любовью относилась к ребенку.

Она всегда оставалась верным другом Н. И. В период следствия, еще до его ареста, она отослала Сталину свой партийный билет, заявив при этом в письме к нему, что, учитывая характер предъявленных Бухарину обвинений, она предпочитает оставаться вне партии. Надежда Михайловна была арестована в конце апреля 1938 года. Ареста она ждала и говорила мне, что когда за ней придут — отравится. Во время ареста она приняла яд, но сразу же была направлена в тюремную больницу, где ее удалось спасти. Непонятно, для чего это было сделано. Она лежала полутрупом в камере и потом, как я слышала, была расстреляна. В памяти моей живет она светлой.

Мне было известно, что со своей второй женой Эсфирью Исаевной Гурвич Н. И. к тому времени

давно расстался (в 28-м или 29-м году, точно не помню), как он говорил, по ее инициативе.

— Свято место пусто не бывает — заметил Стэншутя и тотчас же назвал мне имя и фамилию женщины, с которой сейчас был близок Н. И. Стэн был не из тех, кто пользовался дешевыми сплетнями, и мне пришлось ему поверить.

Ян Эрнестович не подозревал, в какое состояние привело меня его сообщение. Не чувствуя под собой ног и не видя белого света, я еле добралась до своей комнаты и разрыдалась. Я отказывалась что-либо понимать.

Вот что в дальнейшем рассказал мне Н. И. Каждый раз, когда он отправлялся в Ленинград на заседания Президиума Академии наук (он был член президиума) или по другим делам, в купе спального вагона поезда «Стрела» садилась «незнакомка».

Его не смутило и то, что эта особа отправлялась якобы в командировку в тот же день, в том же вагоне и в том же купе. В дальнейшем уже не требовалось командировок в Ленинград, достаточно времени было в Москве. По прошествии полутора лет Н. И. сам услышал от той, кому доверился, объяснение своим командировкам. «Незнакомка», ставшая к тому времени близко знакомой, оправдывалась тем, что якобы заявила в НКВД, что, любя Н. И., отказывается от возложенной на нее неблагоприятной миссии. Сообщать-то было не о чем.

Очевидно, все фиксировалось в то время. Между тем от поручений такого характера не так уж легко было отказаться. Быть может, все-таки, так оно и было. История ужасающая!

Но так или иначе рассказанное Стэном не привело к крушению возродившейся надежды на восстановление наших отношений.

В декабре 1932 года Н. И. пригласил меня в Колонный зал Дома союзов. Отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Дарвина. Луначарский и Бухарин выступали с докладами. После окончания докладов Н. И. поманил меня пальцем, и я, подойдя к нему, вместе с ним прошла в комнату позади сцены. Там был и Анатолий Васильевич Луначарский.

Мы поздоровались, и Луначарский сказал Н. И.:

— Время бежит, Николай Иванович, мы стареем, а Анна Михайловна цветет и хорошеет. Таков закон природы, никуда не денешься!

Он был первым, кто назвал меня по имени и отчеству, я была польщена и почувствовала себя взрослой. Затем неожиданно он попросил показать ему мою руку — Луначарский увлекался хиромантией. Я протянула руку, он недолго, но сосредоточенно рассматривал линии моей ладони, и я увидела, как он помрачнел и произнес вполголоса, обращаясь к Н. И.:

— Анну Михайловну ждет страшная судьба!

Я все же услышала эти слова, Луначарский заметил это и, чтобы смягчить свой прогноз, сказал:

— Возможно, линии руки меня обманывают, и так бывает!

— Вы ошибаетесь, Анатолий Васильевич, — ответил Луначарскому Н. И., как мне показалось, ничуть не опечаленный его предсказанием, — Анютка обязательно будет счастливой. Мы будем стараться!

— Старайтесь, Николай Иванович, — чуть улыбнувшись, заметил Луначарский.

Не могу сказать, что вполне поверила прогнозу Луначарского, но все же, хотя и ненадолго, опечалилась. (Мать, которой в тот же день я рассказала о предсказании Луначарского, после моего освобождения из лагеря не раз об этом вспоминала.)

В декабре 1933-го, печальное обстоятельство — известие о смерти Луначарского — заставило меня обратиться к Н. И. и попросить пройти в Колонный зал. Мы пошли вместе, стояли у гроба великого прорицателя моей страшной судьбы, и тогда никто из нас еще не подозревал, что предсказания Анатолия Васильевича оправдаются.

На следующий день я видела Н. И. во время траурного митинга на Красной площади и после окончания похорон, пробравшись через толпу у Мавзолея, подошла к нему. Он был грустный, уставший после произнесенной речи и, как мне показалось в тот день, постаревший.

Мы спустились вниз с Красной площади мимо Исторического музея к Александровскому саду Н. И. с грустью сказал мне: «Я никогда не думал о своей смерти, скорее я ощущал свое бессмертие. И только сейчас, во время похорон Луначарского, почувствовал, что меня ждет то же самое. Я так явственно представил себе свои собственные похороны: Колонный зал Дома союзов, Красную площадь, урну с моим прахом, увитую цветами, и тебя, плачущую над моим гробом и возле моей урны, чью-то речь, не могу себе представить, чью... «Он не раз ошибался, — скажет тот оратор, — но, но... Ленин его любил».

— Не хочу слушать эти глупости, — ответила я, разволновавшись.

— Но так обязательно будет, и ты должна это пережить!

Вот как к концу 1933 года представлял Н. И. свою смерть. Следовательно, и свою жизнь. Обвинений в предательстве, в измене Родине Бухарин, естественно, предвидеть не мог.

Мы расстались. Он повернул налево, в Александровский сад, к Троицким воротам Кремля. Я — на-

право, к «Метрополю». Его записочки давали мне право поговорить и на другую тему: о жизни, а не о смерти, но я не сочла удобным сделать это в такой печальный момент.

Мы шли к своей цели, к тому, чтобы соединить наши судьбы, нелегким путем, преодолевая препятствия, которые сами себе создавали. («От съезда к съезду», — как однажды шутя сказала я Н. И., тогда, когда можно было уже нам вместе весело смеяться.) От XVI съезда до XVII — последнего съезда, на котором присутствовал Бухарин, последнего для большинства членов ЦК.

Мы встретились случайно 27 января 1934 года в день моего двадцатилетия, примерно через месяц после того, как виделись на похоронах Луначарского, в начале того года, в конце которого раздался роковой выстрел... За это время я обнаружила в ящике своего письменного стола еще одну записочку: «Я был, твой Н. И.», — что сделало меня наконец решительной.

Н. И. возвращался из Большого театра после заседания XVII съезда к себе домой, в Кремль. Я — после лекции в университете.

Остановились у Дома союзов, у здания, на которое теперь я не могу смотреть спокойно и стараюсь обходить стороной. Но нет-нет да и притягивает мой взор то место, где после столь долгой нерешительности, в одно мгновение мы поняли, что хода назад больше нет и что отступить невозможно.

Мы стояли у той самой двери, через которую десять лет назад, 27 января 1924 года, Бухарин и другие, самые близкие друзья и соратники Ленина, потрясенные горем, выносили его, смолкшего, бездыханного, и медленно, траурной процессией в лютый мороз приближались к Красной площади, неся на

своих плечах алый гроб. Одновременно несли они на своих же плечах (большинство из них) и свою собственную гибель — в недалекой перспективе смерть политическую, затем уничтожение физическое...

Итак, обрадованные нашей неожиданной встречей, предчувствуя, к чему она приведет, мы оказались у Дома союзов, в Октябрьском зале которого четыре года спустя, в марте 1938 года, на ужасающем процессе, не уступающем средневековым судилищам, Н. И. пережил последние, мучительные дни своей жизни.

В январе 1934-го возле этого, кажущегося мне теперь мрачным здания, именно там — таковы хитро-сплетения судьбы! — наше чувство вырвалось наконец на простор.

Мы были немногословны:

— Долго будешь оставлять мне свои записочки? Ты полагаешь, они меня никак не тревожат?

Н. И. стоял возле меня взволнованный, покрасневший, в своей кожаной куртке и сапогах, пощипывая свою, тогда еще ярко-рыжую, солнечную бородку. Тот миг был решающим.

— Ты хочешь, чтобы я зашел к тебе сейчас же? — спросил он.

— Хочу, — уверенно ответила я.

— Но в таком случае я никогда не уйду от тебя!

— Уходить не придется.

От Дома Союзов до «Метрополя» рукой подать...

Больше мы не расставались до дня ареста Н. И. — 27 февраля 1937 года (опять 27 — роковое число), когда, уходя на последнее, решающее заседание февральско-мартовского пленума ЦК, понимая, что его ждет арест, он упал передо мной на колени и просил не забыть ни единого слова его письма

«Будущему поколению руководителей партии», просил прощения за мою загубленную жизнь, просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком!» — дважды повторил он.

...Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через 19 лет двадцатилетним юношей, летом 1956-го года, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области — последнее место моей ссылки.

К этому времени у меня сложилась новая семья. Пожалуй, будет огромным преувеличением сказать, что она у меня сложилась. С моим вторым мужем, Федором Дмитриевичем Фадеевым, я познакомилась в лагере. До своего ареста он возглавлял агропроизводительный отдел Наркомата совхозов Казахской ССР. После освобождения и реабилитации ссылкой он не был и остался в Сибири из-за меня. Но под разными предлогами за связь со мной его трижды арестовывали. И большую часть нашей жизни он то находился в тюрьме, то работал вдали от меня, приезжая лишь в отпуск. А я моталась по различным ссылкам с двумя маленькими детьми.

Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин приблизительно километров на 40—45. Регулярный транспорт из Тяжина в Тисуль не ходил. Мы тронулись в путь на мотоцикле с коляской. Детей — Надю, которой не было еще десяти лет, и шестилетнего Мишу — мы не могли оставить дома, так они стремились поскорее увидеть своего братика. Для них это событие было лишь радостным приключением. Пришлось тесниться в мотоцикле. По дороге отказали тормоза, произошла авария и мы чуть не погибли. Но в конце концов добрались до Тяжина.

Трудно передать мое состояние. Я приехала к сы-

ну и в то же время к незнакомому юноше. Что он собой представляет, воспитанник детского дома? Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Не упрекнет ли за то, что у меня еще есть дети, не расценит ли это как измену? Наконец, он же меня спросит, кто был его отец. И это — главное. Надо ли раскрыть тайну, не будет ли это слишком обременительно для юной души? В моей голове возникали десятки вопросов, на которые я не могла ответить, пока не познакомлюсь с сыном.

Мы шли уже по платформе железнодорожной станции, когда издали я увидела приближающийся поезд. Я была настолько возбуждена, что почувствовала — вот-вот упаду, свернула в привокзальный палисадник и свалилась в обмороке. Поезд оказался не тот, а к следующему, которым приехал Юра, я уже «отошла». Я старалась охватить взглядом весь состав, боясь пропустить сына. Не представляла себе, как он выглядит. Я видела только его детские фотографии. И вдруг я почувствовала объятия и поцелуй. Юра подбежал ко мне сбоку, а я в это время сосредоточенно смотрела на последние вагоны. Узнать его можно было только по глазам — такие же лучистые, как в детстве, а вот как он меня угадал — не знаю. В детстве видел мою фотографию, да и мой взволнованный вид, очевидно, подсказал ему. Худющий, он был такой, что описать трудно. Брюки еле держались на костлявых бедрах, на груди каждое ребрышко можно было пересчитать. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые родные черты. Как только он заговорил, у меня сердце защемило: тембр голоса, жестикуляция, выражение глаз — точно отцовские, а цветом глаза скорее мои, брюнет в меня, а ребенком был совсем светленький.

— Вот как бывает, Юрочка!.. Вот как бывает!.. — в

первое мгновение иных слов я не могла найти, а он...

— Теперь я понимаю, в кого я такой худой...

Я была немногим полней Юры.

На следующий день я не избежала больного вопроса, хотя хотела отложить тяжкий для меня разговор. Мне предстояло сказать сыну не только, кто его отец, но, как я думала, и где он, но Юра настаивал и все спрашивал:

— Мама, скажи, кто мой отец?

— Ну, а как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?

— Должно быть, профессор какой-нибудь, — почему-то так подумал Юра. Его ответ меня рассмешил.

— Не профессор, а академик.

— Даже академик! Отец академик, а я вот дурак, — сказал Юра.

Юра был далеко не дурак. Напротив, учитывая условия, в которых он вырос, он поразил меня своим развитием.

— Но главное, — сказала я, — не то, что он был академик (что Н. И. был академик, я бы и не вспомнила, если бы не высказанное Юрой предположение). Главное то, что он был известный политический деятель.

— Назови его фамилию.

— А фамилию я назову тебе завтра. — Подумала: назову фамилию, а Юра мне скажет: «Так это тот самый Бухарин — враг народа?» — и мне стало страшно.

— Если ты мне не хочешь сказать сейчас, то сделаем так: я попробую сам назвать фамилию, а ты, если я назову ее правильно, подтвердишь.

Я согласилась, предполагая, что угадать фамилию отца он не сможет, рассматривала Юрино предположение как своеобразную игру, а для себя — как оттяжку перед неизбежным. Но неожиданно Юра произнес:

— Предполагаю, что мой отец — Бухарин.

Я в изумлении посмотрела на сына.

— Если ты знал, то зачем ты меня спрашиваешь?

— Нет, я не знал, я честно говорю, не знал.

— Как же ты смог догадаться?

— Я действовал методом исключения. Ты мне сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. И я стал думать, кто из видных политических деятелей «Иванович», и пришел к выводу, что это Бухарин Николай Иванович».

Камил Икрамов — сын Акмаля Икрамова — партийного деятеля, расстрелянного в марте 1938 года вместе с Николаем Бухариным, вспоминал: «Сын Николая Ивановича Бухарина не только не помнил отца, но лишь через много-много лет узнал, чей он сын. И по сей день у него фамилия матери. Художник Юрий Ларин известным себя не считает, выставляется редко»...

При всем том на выставки Юрия Ларина я хожу, ибо в судьбе художника видится мне осуществление некой высшей, божественной справедливости.

— Юра, — говорю я, — хочу написать о тебе в своей книге.

— А чего обо мне писать?

— О торжестве справедливости хотя бы. Трагическое начало и счастливый итог.

— Какое трагическое? — спрашивает он. — Знаешь, я детдом без всякой трагедии воспринимаю. Приезжают ко мне ребята, с которыми вместе были, только веселое и смешное вспоминаем, а на сегодня... Здоровье-то у меня, сама знаешь. Какое тут счастье, рука плохо слушается. Устаю. Читать много не могу.

— Юра, — настаиваю я. — Ты представь себе, что твоя история попадает в руки Диккенса, Гюго или Дюма. Взяли крохотного мальчика, отняли у родителей, отца казнили и опозорили, мать на много лет посадили в тюрьму. Понимаешь, не молодого матроса заключили в замок Иф, а мальчика, и мальчик этот не знал своей подлинной фамилии, отчества и чей он сын. А потом — Москва, известность... Получился бы роман «Человек, который смеется» или «Граф Монте-Кристо».

Юра хохочет.

— Ну, ты даешь! Интересно у тебя мозги устроены, — и опять хохочет».

ХРАНИТЕЛЬНИЦА КРЕМЛЕВСКИХ СОКРОВИЩ

Старый кремлевский служащий, оставшийся в Кремле с дореволюционных времен, Алексей Логинович говорил жене главы советского правительства Клавдии Тимофеевне Свердловой: «Сегодня вы здесь, а завтра вас — нету». Большевики сами сомневались в прочности своих позиций. Не зря у Якова Свердлова в сейфе лежали подготовленные заранее заграничные паспорта для всех членов семьи (ничего не поделаешь: старая конспиративная привычка — искать спасения за пределами Родины).

На случай падения советской власти существовал также тщательно засекреченный фонд драгоценностей, хранительницей которых оказалась не кто иная, как Клавдия Тимофеевна Свердлова.

Рассекретил этот фонд бывший секретарь Сталина Борис Бажанов, когда давал показания английским спецслужбам.

Одно время Бажанов работал в качестве ответственного сотрудника народного комиссариата финансов. Однажды утром он собирался войти в кабинет наркома финансов Брюханова — и вдруг что-то заставило его остановиться на пороге.

Бажанов в своих воспоминаниях пишет об этом так:

«Я уже открывал дверь в кабинет наркома, когда услышал, как он берет трубку телефона-автомата. Надо заметить, что автоматическая телефонная связь в Кремле охватывала ограниченное количество номеров, ею пользовалась только большевистская верхушка, обеспечивая строгую секретность телефонных разговоров. Я задержался в дверях, не желая беспокоить наркома. В приемной никого, кроме меня, не было: секретарь отсутствовал. Дверь оставалась приоткрытой, и я отчетливо слышал разговор Брюханова с собеседником, которым оказался, судя по первым же фразам, Сталин.

Из реплик Брюханова я понял, что существует абсолютно секретный фонд драгоценностей (возможно, тот самый, с которым я заочно имел дело в 1924 году, в бытность мою секретарем Политбюро). Брюханов оценил его стоимость лишь приблизительно, сказав: «несколько миллионов».

Сталин, очевидно, спрашивал, не может ли Брюханов дать более точную оценку. Тот ответил: «Это сделать трудно. Стоимость драгоценных камней определяется обычно целым рядом переменных факторов: и то, как они котируются на внутреннем рынке, не является решающим показателем. К тому же, все эти драгоценности рассчитаны на реализацию за границей и при обстоятельствах, которые сейчас предвидеть невозможно. В любом случае, полагаю, достаточно исходить из того, что они стоят несколько миллионов. Но я все же постараюсь уточнить эту цифру и тогда позвоню вам».

Впоследствии Бажанов узнал, что этот секретный фонд драгоценных камней был предназначен исключительно для членов Политбюро и хранился на случай падения советской власти.

Далее Бажанов пишет:

«Я понимаю, — продолжал Брюханов, — что это необходимо для членов Политбюро, чтобы предотвратить паралич в работе Центра в случае чрезвычайных обстоятельств. Но вы сказали, что хотели бы изменить систему хранения... Что я должен сделать в этом смысле?»

Последовал длинный ответ Сталина, затем Брюханов сказал, что он полностью согласен: лучшего места для хранения драгоценностей, чем квартира Клавдии Тимофеевны, не найти.

Со всеми предосторожностями ценности были перевезены на новое место хранения.

В этом мероприятии участвовало несколько особо доверенных людей, каждый из которых знал не больше того, что ему было необходимо по его положению определенного звена в цепи.

Что касается самих членов Политбюро, им, конечно, было сообщено об этом фонде, созданном «на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств», однако без уточнения, где он находится.

Только Сталин, Брюханов, Клавдия Тимофеевна и — волею случая — Бажанов знали все.

Эта женщина, фамилию которой Брюханов избегал называть даже в доверительном телефонном разговоре со Сталиным, была хорошо известна Бажанову. Он знал, что речь шла о К. Т. Новгородцевой, вдове покойного председателя ВЦИК Якова Свердлова, которая обладала двумя необходимыми для этого дела качествами. Во-первых, она была известна своей неподкупной честностью и принципиальностью. Во-вторых, ее квартира находилась на территории Кремля, что весьма удобно.

Затем Бажанов рассказал, как он получил подтверждение этой необычной информации. Он был знаком с сыном Новгородцевой Андреем, подростком лет пятнадцати, который жил с матерью. В конце лета 1927 года ему удалось завести с мальчиком беседу на интересующую его тему. Андрей рассказал, как его мать открывает ключом буфет в своей комнате. В буфете хранились документы ее покойного мужа, и там же лежала «целая куча» драгоценных камней. Когда Андрей спросил, что это такое, мать ответила, что это «семейные украшения», «стекляшки» и «безделушки», которые ничего не стоят, однако, казалось, была сильно раздражена тем, что он заинтересовался ими. Но Андрей поверил матери. «Конечно, они все фальшивые, — сказал он Бажанову. — Откуда бы у нее могло взяться столько настоящих драгоценностей?» Естественно, Бажанов согласился с ним.

Кем же была хранительница кремлевских сокровищ Клавдия Тимофевна?

С умилением рассказывает жена Свердлова о первой встрече, знакомстве и совместной жизни. Литературную запись ее воспоминаний сделал сын Андрей.

Познакомилась Клавдия со своим мужем — будущим главой советского государства в условиях глубокой конспирации.

Вот как это было.

«Внешний вид юноши ничем на первый взгляд не привлекал внимания. Был он среднего роста, стройный, подтянутый. Густые волнистые черные волосы упрямо выбивались из-под слегка сдвинутой на затылок кепки. Сухощавую фигуру ловко об-

легала простая черная косоворотка. На плечи был накинут пиджак, и от всей складной подвижной фигуры так и веяло юношеским задором. Все на нем было поношено, но выглядело чисто и опрятно.

Общее впечатление было благоприятным. Однако до чего же молод! Неужели это и есть тот самый товарищ Андрей, о котором столько говорили? Я вопросительно взглянула на своего спутника. Он молча, чуть приметно кивнул головой, отпустил мою руку и, замедлив шаг, начал отставать. В свою очередь, товарищ Андрей, заметив нас, свернул в тихий переулок, и вскоре я присоединилась к нему.

Разговор сразу начался живо и непринужденно, будто мы не впервые встретились, будто давно и хорошо знали друг друга. Поистине обаятелен был голос Андрея — глубокий и мягкий бас, поначалу никак не вязавшийся с его некрупной фигурой.

Много лет прошло с тех пор, забылись детали этого свидания, стерлись в памяти отдельные мелочи, отдельные штрихи. Но разве забудешь то неизгладимое впечатление, которое с первой же встречи произвел на меня Яков Михайлович Свердлов!

14 ноября вечером Якова Михайловича арестовали прямо на улице, недалеко от нашего дома, а затем жандармы вломились ко мне и после обыска арестовали и меня.

На этот раз я просидела недолго, всего три месяца, и в феврале 1911 года была выслана из Петербурга на родину, в Екатеринбург, под особый надзор полиции. Такая мягкая мера наказания объяснялась тем, что я была на последних месяцах беременности и держать меня в тюрьме было неловко. Да и конкретных улик против меня было мало.

Яков Михайлович оказался в одиночной камере Петербургского дома предварительного заключения. Наши материальные дела перед арестом, как, впрочем, и во все годы подполья, обстояли неважно. Постоянного заработка у Свердлова не было. Основным источником его существования были средства, выделявшиеся ему, как профессиональному революционеру, партией. Но средств у партии было очень мало, и Яков Михайлович брал деньги только в случае крайней нужды, получал их нерегулярно и мелкими суммами. Я зарабатывала немного, и мы с трудом перебивались.

В момент ареста у Якова Михайловича был всего 1 рубль 57 копеек. А деньги в тюрьме были нужны, так как кормили там плохо, приходилось продукты прикупать, кроме того, надо было приобретать книги, бумагу. Правда, Яков Михайлович уверял меня в письмах, что питается хорошо, чувствует себя превосходно и ни в чем не нуждается. Но я-то знала, каково ему в тюрьме. Да и сам он нет-нет, а проговаривался.

Выйдя на волю, я достала немного денег и перевела Якову Михайловичу. Меня очень волновало состояние его здоровья. Я понимала, как важно для него питание, и настойчиво просила тратить деньги преимущественно на продукты.

4(17) апреля 1911 года у нас родился сын. Мысль о ребенке, о том, как я перенесу первые роды, глубоко волновала Якова Михайловича. Тяжело ему было сидеть в эти дни в тюрьме, чувствовать свое полное бессилие. Но и из тюрьмы он пытался чем-нибудь поддержать меня. Из его писем было видно, что он прочел много специальной медицинской литературы. Он давал мне в письмах квалифицированные советы по гигиене, по уходу за грудными детьми.

И одновременно подробно разбирал проблему брака и рождения вообще, ссылаясь на Платона, Томаса Мора, Льва Толстого, на современных социологов — уж если Яков Михайлович брался за какой-либо вопрос, то изучал его самым обстоятельным образом.

Ребенок еще не родился, а Яков Михайлович уже думал о его воспитании, о том, чтобы он вырос настоящим человеком.

Сколько нежности, сколько внимания и заботы в каждой строчке писем Якова Михайловича, написанных в эти дни! Какая горечь из-за полной невозможности помочь в тяжелую минуту, из-за того, что в такой момент жандармы оторвали мужа от жены, отца от сына.

А какой теплотой проникнуто каждое упоминание о будущем сыне! «Имя? — писал Яков Михайлович. — Да, это вопрос существенный. Ты подчеркнула в письме мое имя, не знаю, хотела ли этим указать и на имя сына или нет. Но предоставляю тебе полную свободу действий и в данном случае, назовешь ли последней буквой алфавита — Я или же первой — А. Я заранее заявляю; что до определенного возраста буду называть зверьком, зверюшкой, зверинькой».

Редко, очень редко бывали мы всей семьей вместе, но уж когда выпадало такое время, не было семьянина лучше Якова, не было семьи счастливее и дружнее нашей.

После освобождения из петербургской тюрьмы я жила в Екатеринбурге под надзором полиции. В связи с рождением сына мне пришлось на некоторое время там задержаться. Но уже осенью 1911 года я, забрав ребенка, скрылась из Екатеринбурга.

Нелегально приехав в Москву, я устроилась

у своей бывшей екатеринбургской приятельницы Сани Анисимовой. Здесь-то у меня и зародилась мысль о поездке в Нарым.

Едва устроившись, я сразу же пошла наводить справки и хлопотать о свидании. Принял меня в жандармском управлении какой-то полковник, по-видимому крупный чин. Как только он услышал, что я жена Свердлова и приехала к мужу, причем не одна, а с ребенком, полковник стал необычайно любезен. Не интересуясь, скреплен ли наш брак церковным обрядом, он сразу признал меня за жену Якова Михайловича и тут же разрешил свидание, да какое! Не в общей канцелярии, через решетку, а в камере, у Якова Михайловича, без жандармов.

Утром подхватила на руки сонного Андрея — и в тюрьму. Со скрипом открывается тюремная калитка... В канцелярии никого, рано!

Идут минуты, хнычет проголодавшийся малыш. Наконец канцелярия открыта, и меня вызывают. Последние формальности — и я в темном тюремном коридоре. Гремят ключи, дверь камеры распахивается настежь...

Яков Михайлович «совершал утреннюю прогулку», быстро шагая по камере из угла в угол — шесть шагов туда, шесть — обратно. О свидании его никто не предупредил, не знал он и о нашем приезде в Томск. На скрежет ключа в замке он лишь повернул голову, но когда вместо осточертевшего надзирателя через порог камеры шагнула я с маленьким Андреем на руках, Свердлов остолбенел. Дверь за мною закрылась, и мы остались с глазу на глаз...

Трудно рассказать о подробностях этого свидания, длившегося около часа, да я их и не запомнила. Час пролетел как минута, как мгновение. Кто из нас больше говорил, я или он, кто больше задавал во-

просов, кто отвечал — не знаю, не помню. А тут еще нет-нет да подавал свой голос маленький Андрей. Тогда, в полумраке одиночки томской пересыльной тюрьмы, Свердлов впервые увидел полторагодового сына.

Казалось, мы не успели сказать друг другу и двух слов, как вновь загремели ключи. Свидание окончилось. Прямо из тюрьмы, занеся только Андрея к Намовым и наскоро покормив его, я отправилась в жандармское управление. Меня снова принял вчерашний полковник. Он был снова внимателен, любезен. Больше того, он сказал, что готов хлопотать... об освобождении Свердлова из тюрьмы и направлении его в ссылку, но при одном условии: если я с сыном поеду вместе с ним. В феврале 1915 года Яков Михайлович писал:

«Уже самая совместная жизнь всей семьей такое благо, такое огромное «за», что должно сильно перетягивать чашу весов в эту сторону. И вообще все соображения «за», кроме вопроса о средствах к существованию».

В поисках заработка для меня Яков Михайлович списался с товарищами в Красноярске, и те обещали похлопотать у красноярской администрации о предоставлении мне какой-нибудь работы в Монастырском. Так решался материальный вопрос. Впрочем, я бы все равно выехала, если бы он даже не решился...

В середине мая 1915 года я с ребятами двинулась вниз по Енисею, к Монастырскому.

Своеобразное детство было у наших ребятишек! Андрею едва исполнилось четыре года, а он уже побывал у отца в томской тюрьме, посидел с матерью

в петербургской, около полугода отбыл с отцом и матерью в нарымской ссылке, два года в тобольской и вот теперь ехал уже в третью — туруханскую ссылку. Во вторую ссылку ехала и двухлетняя Верушка.

Чем ближе было Монастырское, тем больше я волновалась. Ведь свыше двух лет прошло с той злощастной февральской ночи, когда я в последний раз видела Якова Михайловича, слышала его голос. Маленький Андрей уже совершенно забыл отца, а Верушка — та вообще никогда его не видела.

Прошли сутки... Еще сутки — и вот на высоком берегу вдали возникла белая колокольня, а рядом — Церковь с пятью маленькими куполами. Вправо от церкви, в глубину и влево, вдоль по берегу, виднелись домишки. Монастырское!..

Очень любил Яков Михайлович дружеские вечеринки. Он по природе своей был чрезвычайно гостеприимен и рад был угостить товарищей чем мог. Продукты в Туруханке не отличались разнообразием, но и из того, что было, приготавливались очень вкусные вещи. Традиционным блюдом были, конечно, сибирские пельмени. Готовились они в Туруханке из оленины, другое мясо было недоступной для нас роскошью. Но и оленина, особенно молодая, была достаточно вкусна.

Готовились пельмени всегда коллективно: фарш и тесто приготавливал Яков Михайлович — этого он никому не доверял, — а лепили все: и молчаливый Зелтынь, и шутник Боград, и Маркел Сергушев, и Филипп Голощекин, и пекарь по профессии, настоящий артист своего дела Борис Иванов. Пельмени заготавливали впрок, сотнями.

Затем Яков Михайлович начинал священнодействовать у плиты — и все садились за стол. Веселью

и шуткам не было конца. Однако спиртного за столом никогда не бывало. Яков Михайлович совершенно не пил ни водки, ни вина, говоря, что искусственно подбадривать себя нужно лишь людям со скучной душой.

Пельменей готовили столько, что много оставалось, и их выносили на мороз. На улице пельмени моментально становились твердыми как камень. Храниться в таком виде они могли месяцами, и если неожиданно приезжал гость, то достаточно было опустить несколько десятков пельменей в кипящую воду — и обед (или ужин) был готов.

Излюбленным блюдом была также строганина. Приготовлять строганину Яков Михайлович научился еще на Максимкином Яру. Делалась она очень просто: сырую рыбину выносили на улицу и ждали, пока она промерзнет насквозь. Затем рубали рыбу пополам и острым ножом стругали тонкие ломтики: их слегка солили, перчили, поливали уксусом, и строганина была готова. Рыбу не надо было ни варить, ни жарить.

Рыба вообще являлась одним из основных продуктов питания, особенно зимой. Мясо, и даже оленину, достать можно было далеко не всегда, и стоило оно дорого, а рыбу ссыльные ловили сами. Порою попадались крупные осетры. Из некоторых добывали до пуда осетровой икры, и тогда наступал праздник для ребят. Свежедобытую икру мы тут же солили, и через день-два она была готова к употреблению. Но такая удача не часто сопутствовала рыбакам. Порой не было ни мяса, ни рыбы. Детей тогда выручало молоко, нам же приходилось поститься.

Из Селиванихи в октябре 1914 года Яков Михайлович писал мне: «У нас своих две возовые собаки,

одна привезена мною из Курейки. Великолепный пес, которого зовут просто «Пес». Так я его окрестил!»

Пес был действительно изумительной собакой. Я убедилась в этом сама, когда приехала в Монастырское. Размером он был с небольшого волка, на редкость силен и сообразителен. Был он весь черный, с проседью, с красивыми белыми метинами на лбу, груди и передних лапах, уши у него стояли торчком, как у волка.

Своеобразной «специальностью» Пса были стражники. Пес их ненавидел лютой ненавистью. Стоило какому-нибудь из стражников подойти к нашему забору, как Пес кидался на него с такой свирепостью, что стражникам нередко приходилось спасаться бегством. Благодаря Псу стражникам никак не удавалось нанести нам внезапный визит. Они вынуждены были подходить с той стороны дома, которая выходила на улицу, и стучать в окошко, а затем терпеливо ждать, пока Свердлов выйдет во двор и угомонит разбушевавшегося Пса.

В 1917 году, после Февраля, мы обнаружили в местном полицейском управлении донесение стражников. Они докладывали приставу, что вопреки его приказанию не могли установить, кто встречал у Свердловых Новый год. Окна дома замерзли, и рассмотреть через них что-либо не было никакой возможности, а во двор их не пустила «известная вашему благородию собака». Так Пес удостоился чести быть упомянутым в полицейских реляциях.

Пес был бесконечно привязан к своему хозяину и никогда с ним не расставался. Куда бы ни отправлялся Свердлов, Пес следовал за ним по пятам. В Монастырском всегда можно было определить, где находится Яков Михайлович, так как у дверей

того дома, куда он зашел, обязательно сидел неподвижный, как изваяние, Пес.

В свою очередь, и Яков Михайлович очень любил четвероногого друга. Когда в конце 1916 года Пес погиб, Яков Михайлович страшно горевал. Он попросил местного охотника выделать шкуру Пса, увез ее с собой из Туруханки, и потом, в Кремле, эта шкура всегда лежала у кровати Якова Михайловича.

Сразу после окончания VII съезда партии Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Поезд ВЦИК, в котором ехали и мы с Яковом Михайловичем, отправился из Петрограда 9 марта 1918 года и прибыл в Москву 10 марта. Владимир Ильич и Надежда Константиновна приехали 11 марта с поездом Совнаркома. Поселились они вначале, как и ряд других товарищей, в том числе и мы с Яковом Михайловичем, в гостинице «Националь», преобразованной в 1-й Дом Советов.

На следующий же день после приезда Яков Михайлович, Аванесов и еще кто-то, сейчас уж не помню, отправились осматривать Кремль, так как еще до отъезда из Питера было решено разместить там Совнарком и ВЦИК. Пошла вместе с ними и я.

Кремль тогда выглядел совсем иначе, чем теперь. На месте огромного здания, возвышающегося ныне возле Спасских ворот, которое примыкает к зданию бывших Судебных установлений и образует с ним единый архитектурный ансамбль, где помещается Советское правительство, в беспорядке громоздились десятки небольших, двух-трехэтажных домишек и несколько древних монастырей — Чудов монастырь, еще какой-то. Жили там преимущественно монахи, которых переселили из Кремля только в конце 1918 года, бывшие цар-

ские дворецкие, прислуга, и не разберешь, кто еще.

Улицы Кремля были покрыты булыжником, а площадь против Большого дворца — деревянным торцом. Асфальта не было и в помине.

Вправо от колокольни Ивана Великого, если стать лицом к Спасским воротам, где сейчас разбит сквер, простирался обширный пустынный плац. На нем проводились солдатские учения. Летом ветер гонял по плацу тучи пыли, а зимой он утопал в сугробах снега. В конце плаца у спуска в кремлевский сад буквой «Л» возвышалась громоздкая галерея, в центре которой на высоком пьедестале торчал чугунный памятник одному из Романовых, кажется Александру II. Потолки галереи были покрыты мозаичными изображениями всех царей династии Романовых. Тайнинский сад был запущен и совсем зарос.

Большого труда стоило Павлу Дмитриевичу Малькову, назначенному комендантом Кремля (в Питере он был комендантом Смольного), поддерживать хоть какую-то чистоту и порядок в Кремле. Не хватало средств, людей. Правда, кремлевские улицы регулярно подметались, в домах хорошо топили, но вот, например, под Царь-колоколом я обнаружила как-то зимой труп неведомо как забравшейся туда собаки. Его долго не убирали. Стекла в здании против Арсенала были выбиты, стены изрешечены пулями — следами октябрьских боев. Перед Большим дворцом громоздились огромные поленицы запасенных впрок дров. Таков был Кремль в памятные дни 1918 года.

Закончив осмотр, Яков Михайлович пришел к выводу, что Совнарком и ВЦИК лучше всего разместить в здании Судебных установлений.

Совнарком разместился в левом крыле здания,

на третьем этаже, ВЦИК — в самом центре, на втором. Аппараты Совнаркома и ВЦИК были так малы, что не занимали и половины здания, большая часть которого первое время пустовала.

Владимир Ильич с Надеждой Константиновной прожили в «Национале» недолго и вскоре переехали в Кремль, не ожидая, когда будет окончен ремонт их квартиры. Поселились они поначалу в так называемом Кавалерском корпусе, на Дворцовой улице, в двух небольших комнатках.

Вслед за ними и мы с Яковом Михайловичем переехали в Кремль. Переехали туда Сталин, Дзержинский, Цюрупа, Менжинский, Аванесов, Демьян Бедный, другие товарищи. Мы с Яковом Михайловичем заняли две комнаты в Белом коридоре, на третьем этаже здания, что против Детской половины Большого дворца. По соседству с нами, в том же Белом коридоре, расселились Демьян Бедный, Аванесов и другие. Получилось опять нечто вроде коммуны.

Когда мы переехали в Кремль, часть старых дворцовых служащих — дворецкие, швейцары, те, кто отвечал за порядок в покоях и за дворцовое имущество, — оставалась на своих местах. Детская половина Большого дворца находилась в ведении двух царских швейцаров — Алексея Логиновича и Ивана Никифоровича, которым вместе было не менее ста пятидесяти лет.

Алексей Логинович был невысок, сухощав, крайне подвижен и постоянно весел. Его седые волосы топорщились ежиком, а неизменная улыбка пряталась в небольших, густых, аккуратно подстриженных желто-белых усах. Он так и сыпал прибаутками, никогда не лез за словом в карман. Был он за главного.

Иван Никифорович с виду был прямой противоположностью Алексею Логиновичу. Он был очень высок, совершенно лыс и вместо усов носил пышные бакенбарды. От него трудно было услышать хотя бы слово, он всегда молчал и почти никогда не улыбался.

Вся мебель, посуда, белье находились в полном распоряжении этих двух стариков. У них были ключи от шкафов, мы же не знали, что там есть и где находится.

Своих вещей ни у кого из нас, представителей новой власти, не было, если не считать одежды да книг. Ни Ленин, ни Свердлов, ни Дзержинский, ни кто другой не имели ни посуды, ни достаточного количества постельного белья. В «Национале» все мы пользовались имуществом гостиницы, а когда переехали в Кремль, то наши квартиры были оборудованы всем необходимым из кремлевских вещевых складов и из тех же «Националя» и «Метрополя». Естественно, что, переехав из Белого коридора в Большой дворец, мы ничего с собой не взяли.

Встретили нас старики не очень приветливо. Шутки и прибаутки Алексея Логиновича порою носили довольно язвительный характер, а Иван Никифорович молчал особо угрюмо и значительно. Внимательно и настороженно присматривались старые швейцары, прожившие не менее полувека в царских покоях к представителям новой власти. Конечно, открыто своего недовольства они не выражали — власть есть власть! — но ежедневно в десятках мелочей сказывалось то недоверие и пренебрежение, с которым они к нам относились.

А как они следили за каждым шагом Малькова,

часто бывавшего в нашей квартире! Коменданта Кремля они побаивались, но его же почему-то и считали наиболее подозрительным человеком, способным стащить ложку или тарелку. Стоило появиться Малькову, как они принимались пристально следить за ним. Старики прятались за дверь, по углам, исподтишка наблюдая за Мальковым, думая, что никто их хитрости не увидит. Однако то седой ежик Алексея Логиновича, то лысина Ивана Никифоровича высовывались в самый неподходящий момент и с головой выдавали незадачливых сыщиков.

Мало кто теперь помнит, как жили в первые годы советской власти руководители нашей страны. Давным-давно умерли оба старика швейцара, а я до сих пор помню, как менялись они у нас на глазах, как менялось их отношение к нам, к товарищам, которые у нас бывали. Самым наглядным показателем была посуда, обычная столовая и чайная посуда. И еще — скатерти.

С первого дня мы пользовались всей мебелью, какая была в квартире, о посуде же и других вещах, хранившихся в тайниках стариков, мы просто не знали. С посуды все и началось. Сначала Алексей Логинович выставил в буфет несколько тарелок, чашек, самое необходимое, и этим ограничился. Бывало, собирался народ, садились чаевничать, а посуды не хватало. Я несколько раз спрашивала Алексея Логиновича, нет ли еще чего-нибудь, но он в ответ разводил руками:

— Клавдия Тимофеевна, все тут, как есть все! Ни одной чашечки, ни ложечки больше нету!

На этом разговор и кончался. Приходилось товарищам пить чай по очереди да посмеиваться над скудостью сервировки стола советского «президен-

та». Ну да наши «министры» и «губернаторы», собиравшиеся у Якова Михайловича, были народом простым, неизбалованным, и отсутствие стаканов и чашек мало кого огорчало.

Как-то ночью Яков Михайлович вернулся домой с группой товарищей, и мы затеяли чаепитие. Алексея Логиновича не было, и я сама пошла искать посуду. Выдвинув один из ящиков буфета, я обнаружила черепки от разбитых в разное время тарелок и чашек. находка меня удивила. Наутро я спросила Алексея Логиновича, к чему он хранит этот лом.

— Клавдия Тимофеевна, голубушка, — ответил он, — сегодня вы здесь, завтра — вас нету. Вам что? А весь спрос с меня. Вернется батюшка-царь, спросит: «Куда, Алешка, черт старый, дворцовую посуду подевал?» Ну, я ему и выложу черепочки-то. «Так и так, — скажу, — ваше императорское величество, виноват, что не уберег, побили большевики — это, извините, вы то есть, — только пропасть ничего не пропало. Хоть и побитое, а сохранил».

Как ни пыталась я убедить Алексея Логиновича, что царь не вернется, он вздыхал в ответ, согласно кивал головой, но оставался при своем мнении...

Шли дни, недели. И вот однажды, возвращаясь домой, я увидела Алексея Логиновича и Ивана Никифоровича, тащивших в помойку черепки разбитой посуды. Им я ничего не сказала, но в тот же вечер сообщила эту новость Якову Михайловичу.

— Здорово, — сказал Яков Михайловича. Обязательно расскажу Ильичу! Ведь это значит, что даже такая старозаветная публика, как дворцовые швейцары, поверила в советскую власть, поняла, что царь не вернется!

Я никогда не проверяла Алексея Логиновича, никогда не считала посуды в буфете, знала, что всего в обрез, и немало удивилась, обнаружив как-то, что сколько бы народу у нас ни собиралось, всем хватает стаканов, чашек, тарелок. На столе стали появляться какие-то вазочки, обычная селедка однажды была подана не на тарелке, как всегда, а на красивом блюде; ассортимент посуды расширялся на глазах. Вскоре произошло и вовсе знаменательное событие.

Однажды у нас должен был собраться народ, и, уходя на работу, я предупредила Алексея Логиновича, что придет человек десять-двенадцать. Ничего, кроме воблы да пшенной каши, к обеду не было, но посуду-то поставить надо было заранее.

Прихожу домой и вижу, что стол покрыт роскошной крахмальной скатертью с царской короной и вензелями. Никогда до этого скатертей у нас не было. На столе лежала обычно простая клеенка. Я как-то спросила Алексея Логиновича, нет ли скатерти, но он так безнадежно развел руками, что я к этому вопросу больше не возвращалась. И вот скатерть, да какая!

Я отправилась к Алексею Логиновичу, но не успела и рта раскрыть, как он всю раскрычался. Усы у него встопорщились, лицо покраснело, голос стал тонким, пронзительным.

— Да как же, матушка, помилуйте, — неистовствовала старик, — да вы знаете, для кого я стол накрывал? Да вы можете понимать, что за человек Яков Михайлович, а вы говорите — скатерть! Грех вам, все клеенки да клеенки, разве это соответствует? Ведь Феликс Эдмундович придет. Варлам Александрович, может, сам Ильич будет. Надо, чтобы все как следует. Хорошо, я, старик, порядок понимаю, забо-

чусь, вот и клееночку долой. Стол полагается скатертью застилать, а не клеенками!

Я же оказалась виновата, что до сих пор мы обходились без скатерти!

Отношение стариков менялось с каждым днем. Ходили они оба обычно в серых, мышинового цвета форменных сюртучках и таких же брюках. Но однажды тот и другой из каких-то своих сундучков вытащили и надели расшитые золотыми позументами, пахнувшие нафталином парадные ливреи. Было и смешно и трогательно. Несколько дней Яков Михайлович воевал с ними, прося их вернуться к прежнему виду, они упорно твердили одно: «Не приличествует!»

КАКОЙ ЖЕНЩИНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЖЕНОЙ ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА?

В 1935 году Семену Буденному было присвоено звание Маршала Советского Союза. Вскоре С. М. Буденный был назначен командующим войсками Московского военного округа. На первомайских и ноябрьских парадах войск Московского гарнизона командовал Семен Буденный. Это было великолепное зрелище.

Командующий появлялся на Красной площади верхом на породистом скакуне золотистой масти. Мало кто так красиво и с таким достоинством сидел в седле, как Семен Буденный.

«Бьют часы Спасской башни... Из ворот Кремля выезжает К. Е. Ворошилов — он принимает парад, — а навстречу ему, от Исторического музея, едет Семен Михайлович. — Вспоминала третья жена Буденного, которая была в ту пору очень молодой женщиной. — Праздничная и торжественная тишина на площади. Рапорт принят, К. Е. Ворошилов поздравляет с праздником выстроенные для парада войска... Не подвела погода, и самолеты точно пролетели над Красной площадью, не понадобились и запасные тягачи. Торжественным маршем войска прошли перед Мавзолеем В. И. Ленина. Парад окончен. На ду-

ше спокойно. Все хорошо, это видно и по лицу Семена Михайловича. А вечером 7 ноября в Георгиевском зале Кремля был большой прием.

Впервые я присутствовала на таком приеме в 1939 году. Меня поразило необыкновенное сочетание торжественности приема и веселой, непринужденной обстановки на нем. Семен Михайлович знакомил меня со всеми. Соседями по столу были летчик М. М. Громов, Алексей Стаханов и их жены. Семена Михайловича позвали в президиум. После официальной части Иосиф Виссарионович Сталин лично поздравлял заслуженных людей нашей Родины. Подошел и к нашему столу поздравить Громова и Стаханова. Они встали. Встала и я. Сталин посмотрел на меня и спросил: «Что-то я вас не знаю, как ваша фамилия?» Я назвала. Он обратился к военному, который стоял рядом: «Найдите Семена Михайловича, он, наверное, среди рабочих». Повернувшись ко мне, сказал: «Он любимец народа, мы даже немножко завидуем ему». Семен Михайлович быстро подошел к нам.

— Что же вы, Семен Михайлович, жену никому не представили?

— Я уже со многими познакомил, а сейчас представляю ее вам.

Иосиф Виссарионович пожал мне руку, поздравил с праздником и, пожелав здоровья детям, ушел к другим столам.

Какой женщине не хочется быть женой известного человека? Только далеко не каждая знает, что стоит за этим желанием. Где бы мы ни появлялись с Семеном Михайловичем — сразу собирались толпы народа. И каждому хотелось подойти к нему поближе...

Хорошо бы, думала я, попадая в такие «тиски», найти двойника Буденного! Пусть бы он раздавал

автографы, рассказывал интересные истории, позировал перед кинокамерами, а я бы хоть в кино с ним спокойно сходила...

Жить с Семеном Михайловичем было легко и интересно. Он был простым, душевным и обаятельным человеком. Строгость и требовательность к людям сочетались в нем с добротой и любовью. Общение с ним обогащало каждого, кто был рядом.

Дружбу и уважение друг к другу мы пронесли через всю нашу жизнь. Мы многое пережили вместе. Время по-новому высвечивает события, свидетелем которых мне довелось быть. Но сейчас, перебирая в памяти дни нашей жизни, я на многое смотрю глазами Семена Михайловича.

В начале нашей жизни он сказал: «Мария, домом командуешь ты. Ты главдом и начальник штаба. Дома я не маршал, а твой муж, друг и товарищ. Подчас тебе будет нелегко... Жизнь у меня беспокойная».

И действительно, в скором времени я убедилась в этом. Работал Семен Михайлович много, раньше трех-четырех часов утра домой не возвращался, часто бывал в командировках. Порой случалось, что в разгар семейного торжества он неожиданно уезжал. А сколько раз приходилось покидать театр, так и не досмотрев до конца спектакль!

Семен Михайлович рассказывал мне, о тяготах службы в царской армии, о том, как стал на сторону большевиков, как дрался за Советскую власть, о встречах с Владимиром Ильичем Лениным. Он был замечательным рассказчиком: ему были свойственны образность речи, неиссякаемый юмор. А с какой любовью и гордостью рассказывал он о героических подвигах конармейцев, славных походах Первой Конной армии, о своих боевых соратниках!

Семен Михайлович много рассказывал и о своей

молодости. Родился он и вырос на Дону, поэтому многие считали его казаком. «Я не казак, я — иногородний, — рассказывал Семен Михайлович. — Это большая разница. Казаки всех, кто приезжал на Дон из других районов России, называли иногородними. Земля принадлежала казакам, а мы были безземельные, и жилось нам очень тяжело. Но я люблю донскую землю, ее народ с его вековыми обычаями, воинственным и смелым характером.

В семь лет я уже был подпаском, потом мальчиком на побегушках у купца, батрачил. Когда пришла пора идти в солдаты, хозяин предложил откупить меня от службы в армии, но я не согласился. Как иногородний, я должен был ехать призываться в армию на родину отца и деда. Там получали и паспорта. И поехал я в Воронежскую губернию, а оттуда, уже солдатом, на Дальний Восток. Так с 1 января 1904 года я, батрак-крестьянин, любивший землю и крестьянский труд, стал военным на всю жизнь».

Семен Михайлович иногда делился со мной своими радостями и печалью. Помню, как однажды (он был тогда командующим войсками Московского военного округа) приехал домой особенно довольный и радостный. Вымыл руки, сел обедать.

— Ну, я сегодня выиграл великое сражение, — сказал весело. — Моссовет выделил первые дома для командного состава. Теперь смогу лучше разместить людей. Пришлось и спорить и горячиться, и доказывать.

Сколько я помню, Семен Михайлович всегда о ком-то заботился, за кого-то хлопотал и делал это с удовольствием.

Часто Семен Михайлович встречался со своими друзьями-конармейцами. Встречи проходили шумно, весело. Один и тот же эпизод каждый вспоми-

нал по-своему. Каждый старался добавить только ему запомнившуюся деталь, возникали споры.

Помню, как-то Андрей Васильевич Хрулев завел разговор о том, как Семен Михайлович просто и доходчиво мог разъяснить конармейцам непонятные для них вопросы. И рассказал такой случай.

«Однажды на митинге бойцы спросили выступавшего с трибуны Троцкого, какая разница между коммунистами и большевиками. Троцкий стал объяснять мудреными и непонятными словами, сыпал научными терминами. Ничего не поняв, бойцы недовольно загудели. Семен Михайлович вышел на трибуну и поднял руку. Наступила тишина. Командарм вынул спичечную коробку из кармана и, подняв ее на вытянутой руке, спросил: «Что это?» Часть бойцов ответила «спички», а часть — «серники». «Меняется от названия содержание коробки?» Все ответили: «Нет!» «Так же и большевик и коммунист — это одно и то же», — пояснил Семен Михайлович. «Ну, теперь понятно, — зашумели бойцы, — так бы сразу и сказали».

— Обставил я оратора своей логикой. Обиделся на меня Троцкий, — дополнил рассказ Хрулева Семен Михайлович. — В Москве он наговорил много нелестного о нас. Владимир Ильич нас защитил, он сказал: «Товарищ Буденный со своими бойцами: бьет белых генералов и защищает Советскую власть. Вопрос этот снимается с обсуждения». Правда, об этом мы узнали уже много лет спустя...

Семен Михайлович обладал чувством юмора, любил шутку, умел рассказывать смешные истории из своей жизни.

— Как-то мне доложил адъютант, — рассказывал Семен Михайлович, — что звонил художник Василий Никитич Мешков. Освободившись, я позвонил

ему. Он попросил разрешения написать мой портрет. Договорились встретиться у меня на квартире. Наши сеансы проходили интересно: он рассказывал о художниках, о различных течениях в искусстве. А я — о героизме конармейцев и разных случаях из времён гражданской войны.

Однажды, оставшись один после очередного сеанса, я стал рассматривать портрет, и мне показалось, что застежка на гимнастерке не на середине и усы уж очень жесткие, торчат, как у кота. Я взял кисть и подправил портрет. Мне показалось, что портрет стал лучше. Но каково же было мое удивление, когда на следующий день, приехав домой, я еще в передней услышал разгневанный голос художника. Вхожу в кабинет и вижу разъяренного Мешкова. Он ругался, что кто-то «изуродовал» портрет.

— Не изуродовал, а подправил, — сказал я.

Это окончательно вывело художника из равновесия. Я тоже вспылал. И в результате сеанс не состоялся.

Через некоторое время Василий Никитич позвонил.

— Семен Михайлович, вы на меня не сердитесь? — спросил он.

— Нет, — отвечаю, — я быстро отхожу.

— Я тоже, — сказал Василий Никитич. — Может, продолжим наши встречи?

— Пожалуйста, — ответил я.

Портрет получился хороший, и мне очень понравился.

— Но почему глаза вы сделали светлыми, с голубизной? — спросил я. — Ведь они у меня, как у кошки, карие с зеленцой.

— Глаза — зеркало души, а душа у вас светлая, — ответил художник с улыбкой.

Так был закончен портрет, и мы расстались дру-

зьями. В дальнейшем я уже не подправлял портретов, хотя иногда очень хотелось. Свой опыт «художника» я уже забыл, но как-то в перерыве на одном из заседаний Михаил Иванович Калинин обратился ко мне: «Семен Михайлович, я знал вас как хорошего организатора, вояку, знал, что вы, как и я, мужик и любите землю, но не знал, что вы еще и художник». И рассказал всем историю с портретом художника Мешкова. Все смеялись...

...Вспоминаю, с каким торжественным волнением проходили в нашем доме праздники Первомая и Великой Октябрьской революции.

Подготовки к парадам. Ночные поездки на репетиции войск. Дети обычно просили взять их с собой. И если Семен Михайлович обещал это им, спали тревожно: то и дело подбегали к нему и спрашивали: «Не пора ли ехать? Ты не проспал?» В день праздника просыпались рано. Все шли смотреть парад и демонстрацию. Переживали за Семена Михайловича, очень хотелось чтобы все прошло хорошо.

Мне особенно запомнилась подготовка к параду 7 ноября 1937 года. Это был первый парад, который Семен Михайлович готовил как командующий столичным округом.

Он читал книги по истории парадов Москвы, истории московских улиц и Красной площади. Ездил на тренировки войск, которые проходили большей частью ночью. Волнений было много. «Вдруг погода подведет, а самолеты должны пролететь над Красной площадью, или техника выйдет из строя и собьет порядок движения. Надо, чтобы тягачи были наготове, — говорил Семен Михайлович начальнику штаба округа А. И. Антонову, приехав вместе

с ним с релетиции. — По старой русской традиции хорошо было бы, чтоб барабанщики открывали парад, но сейчас мы уже не успеем сделать этого. На будущее надо учесть...»

Этот замысел Семен Михайлович осуществил на параде в 1940 году, и эта традиция сохраняется до сих пор.

Много внимания уделял Семен Михайлович и своей личной подготовке к параду. Вместе с Климентом Ефремовичем Ворошиловым он каждое утро тренировался в верховой езде в Хамовническом манеже. В канун праздника, вечером, подгонял обмундирование. Все готово: ордена начищены, пояс с именным золотым оружием висит на пирамиде (сейчас это оружие находится в Центральном музее Советской Армии).

Наступило праздничное утро 7 ноября 1937 года. Семен Михайлович встал рано и за час до начала парада уехал в Кремль.

Семен Михайлович был заботливым отцом и хорошим мужем. Мы воспитали троих детей, и рождение каждого ребенка приносило ему большую радость.

В 1938 году родился первый сын Сергей. На следующий же день Семен Михайлович приехал в больницу нас навестить.

— Я приехал познакомиться с сыном. Что же я за отец, если не знаю своего сына. Покажите мне малыша. Я никогда не видел таких маленьких.

Рассматривая ребенка, изумлялся, какие маленькие у него пальчики и ногти. Я с горечью сказала:

— Нос только велик для такого маленького.

— Ничего, нос буденновский. Выправится, не бес-

покойся. Я послал телеграмму маме в станицу, поздравил ее с рождением внука. Они с Таней скоро прикатят, получив такое известие, не усидят дома.

И действительно, в скором времени мы с радостью встречали маму и сестру Семена Михайловича. Меланья Никитична меня расцеловала:

— Спасибо тебе за внука, порадовала ты меня на старости лет. Я уж думала, что не увижу внуков от Семена.

А через год родилась дочка. Семен Михайлович приехал к нам с цветами. Войдя в палату, сказал:

— Любимым женщинам почет и уважение. Мы, мужчины дома обсуждали, как назвать дочку. Я сказал Сереже: «У тебя есть сестричка, как ее назовем?» — Он пролепетал что-то вроде «ни-ни». Так если ты, Мария, не возражаешь, давай назовем ее Ниной.

— Я не против, имя мне нравится, — сказала я.

— Ну а хозяйка имени молчит, а молчание — знак согласия, — пошутил Семен Михайлович. Потом серьезно добавил: — Нападение фашистской Германии на Польшу создало тревожную обстановку на нашей западной границе. Я должен поехать в Белорусский военный округ. Хорошо, если бы ты вернулась домой до моего отъезда.

Семен Михайлович уехал. Охваченная тревогой, я с новорожденной поспешила домой, чтобы самой проводить Семена Михайловича в командировку. За годы совместной жизни мне приходилось часто его провожать и встречать, а иногда и сопровождать.

Дети подрастали. Семен Михайлович с нетерпением ждал первых их слов, радовался первым шагам.

...Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года я проводила Семена Михайловича на фронт. А в середине августа я вместе с детьми уехала в Куйбышев.

Зная о большой любви Семена Михайловича к семье, я старалась как можно чаще писать ему на фронт, сообщала, как растут дети, что нового в их поведении, как они играют в войну, «помогают» папе воевать, выступают с речами, призывая защищать свою Родину. Я хотела, чтобы, читая эти письма, Семен Михайлович хотя бы на минуту переносился мысленно в свой дом, в свою семью и был спокоен за нас.

Вот строки из письма от 30 ноября 1941 года: «Уж четыре дня, как прибыл в Сталинград. Здоровье хорошее, работы много. Сегодня Ока Иванович выезжает в Куйбышев, вот я и решил написать пару слов. Дела здесь, на юге, идут неплохо, дерутся и фашистов уничтожают хорошо. Крепко тебя целую. Поцелуй за меня наших деток. До свидания. Привет всем нашим».

Переписывались мы с Семеном Михайловичем нечасто, только во время войны. Письма он всегда писал короткие, и только в том случае, если не было возможности позвонить.

В письме от 3 июля 1942 года Семен Михайлович писал: «Сегодня получил твое письмо и прочитал его с большим удовольствием. Сережа и Ниночка у нас замечательные. Беда с проклятой немчурой, лезет, сатана. Будем биться еще злее и в результате разобьем. Пока всего доброго, моя милая, поцелуй за меня наших милых и родных детей».

1942 год. Сентябрь. Мы живем, как все, тревогой за фронт. Однажды раздается телефонный звонок. Нам сообщают, что сегодня, 9 сентября, в Куйбышев прилетает Семен Михайлович. Радости нет конца. Вот мы на аэродроме. Приземляется самолет, и выходит Семен Михайлович. Нина не двинулась с места, а только сказала:

— Сережа, твой папа на фронте, а мой — на фотокарточке.

Сережа не раздумывая бросился к отцу и повис на шее.

— Нина забыла меня. Немудрено, больше года не видела, а ей тогда еще и двух не исполнилось, — с грустью сказал Семен Михайлович.

Дома нас ждали все родные: сестры и мать Семена Михайловича, мои родители. Расспрашивали его о войне. Он отвечал: «Мы победим!» Старался расположить к себе Нину, она же никак не хотела идти к нему. Вечером же, когда мы все сидели, разговаривали, открылась дверь и вошла Нина с подругами.

— Вот мой папа, — сказала она и забралась к нему на колени. Так началась дружба отца и дочери.

На другой день мы повели Семена Михайловича к Волге. Нину он нес на плечах. Он ей что-то все время рассказывал, а Нина гладила его усы и негромко повторяла: «Киса...» Семен Михайлович смеялся.

11 сентября Семен Михайлович и я улетели в Москву. А к октябрьским праздникам (1942 года) вся наша семья вернулась в Москву. Мы встречали их на Центральном аэродроме. Сережа, выйдя из самолета, запел: «Москва моя, ты самая любимая...»

Дела на фронте шли успешно. В сводках Совинформбюро все чаще слышались названия освобожденных от оккупантов городов и сел. 3 июля 1944 года, в день освобождения Минска, у нас родился второй сын. Семен Михайлович предложил назвать его Мишей.

— Во-первых, в честь деда, — сказал Семен Михайлович. — А во-вторых, в Минске началась моя революционная деятельность под руководством Михаила Васильевича Фрунзе. Тогда я знал его как Михайлова. Все за то, чтобы назвать сына Мишей.

Семен Михайлович дома организовал торжественную встречу. Наше появление было встречено громким «ура». Сережа трубил в горн, а Нина била в барабан. Побыв немного с нами, Семен Михайлович уехал на работу. А я с ребятами пошла к бабушке Малаке (так ребята звали Меланью Никитичну — мать Семена Михайловича). Она была уже старой, плохо себя чувствовала и из своей комнаты не выходила. Меланья Никитична была очень довольна, что ей принесли показать внука, который носит имя деда. Семен Михайлович звал ее жить с нами еще до войны, но она отказывалась, говорила, что здесь она никого не знает и ей будет скучно, ведь вся ее жизнь прошла в станице. Меланья Никитична была неграмотной, но остроумной и интересной сказочницей.

А с какой любовью и уважением относился к матери Семен Михайлович! Часто и подолгу они засиживались вместе, вспоминая свою тяжелую и безрадостную жизнь безземельных крестьян. Во время гражданской войны ей пришлось на себе испытать ненависть белогвардейцев: ее сыновья дрались против белых. Когда станицу заняли белые, начались расправы. Были расстреляны сотни людей. Белогвардейцы арестовали отца Семена Михайловича, расстреляли сестру Анастасию. Но ночью она очнулась среди убитых и, окровавленная, добралась до дому. Меланью Никитичну били шомполами.

Семен Михайлович тогда со своим отрядом отбил станицу у белых. Но семьям, которые сочувствовали красным, пришлось покинуть свои родные места. Вместе с красными отрядами, отступавшими за Волгу, ушла и семья Буденных.

Однажды в станице, где остановились беженцы, появился разъезд белых. Отца Семена Михайловича соседи предупредили об этом. И Михаил Ивано-

вич, хотя и был болен, решил уходить за Волгу, но белые нагнали его и жестоко избили, оставив лежать на льду. Станичники подобрали его, привезли в дом, через три дня Михаил Иванович умер.

Семен Михайлович старался передать детям все, что умел делать и любил сам. С раннего возраста приучал их к труду, прививал любовь к природе, ко всему живому. Гуляя по лесу, учил подражать пению птиц, ориентироваться на местности по звездам, по солнцу, по деревьям. Много рассказывал о тяжелом крестьянском труде, однако умел подчеркнуть и радость труда, его красоту. С особым чувством он говорил о сенокосе:

— Крестьяне считали сенокос легкой работой. На сенокос шли как на праздник, в лучших своих нарядах, работали весело, с песнями.

Сам Семен Михайлович косил красиво, легко, захватывая широкий ряд. Трава из-под его косы ложилась ровными рядами. Дети помогали ему: переворачивали ряды, потом складывали в копны. После работы на костре варили кулеш, жарили яичницу. Семен Михайлович что-нибудь рассказывал ребятам. Когда дети подросли, он и их научил косить.

Праздники, семейные торжества Семен Михайлович всегда организовывал интересно, с выдумкой. Были конкурсы для ребят на лучшую песню или пляску, при этом сам с удовольствием аккомпанировал им на гармошке. И вообще, все свое свободное время Семен Михайлович проводил с детьми. Он говорил:

— Слишком я их долго ждал. Я отдыхаю с ними.

С нетерпением ждал Семен Михайлович, когда дети подрастут и их можно будет учить ездить верхом. Сначала он брал детей к себе в седло. Я боялась, как бы они не упали, но Семен Михайлович успокаивал:

— Не бойся, не упадут, я же держу и лошадь и седока: пусть с детства привыкают, чтобы ничего в жизни не боялись.

Дети подрастали. Летом Семен Михайлович вставал рано, поднимал ребят, и все вместе шли на час-полтора в открытый манеж заниматься верховой ездой. Семен Михайлович следил за их посадкой, подсказывал, как нужно выполнять тот или иной прием. Дети научились крепко держаться в седле. По воскресениям выезжали с отцом в поле, затем стали учиться преодолевать препятствия. Занимались также фехтованием, стрельбой, играли в теннис. Семен Михайлович очень любил охоту и часто брал с собой мальчиков. Он поощрял занятия ребят спортом, но следил, чтобы это никак не отражалось на учебе.

Еще в пятилетнем возрасте дети начали изучать иностранные языки. Так хотел Семен Михайлович.

— В наше время нельзя не знать языков, — говорил он. — И вообще, дети должны многое знать и уметь делать, вырасти образованными людьми. Полученные знания останутся с ними на всю жизнь. Ничто не потеряется и не сносится.

А перед тем как посетить Мавзолей Владимира Ильича Ленина, Семен Михайлович рассказал детям о своих встречах с Ильичем, о великой скорби народа в дни похорон, о том, как в период гражданской войны обращался к нему за помощью. И Владимир Ильич всегда помогал.

— О партии большевиков, которой руководил товарищ Ленин, я услышал еще в царской армии, — рассказывал детям Семен Михайлович. — Мы, солдаты-крестьяне, с жадностью читали Декрет о земле. В нем говорилось, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Вот тут я и понял, что это партия наша, она борется за наши интересы беззе-

мельных крестьян. И всей душой встал на сторону большевиков. В 1919 году стал членом партии и всю свою жизнь посвятил служению партии и народу.

Закончив школу, Сережа поступил в Военно-инженерную академию имени Жуковского. Помню, как, впервые вернувшись в курсантском обмундировании, он по-уставному представился отцу.

— Ну, мать, в семье прибавился еще один военный, — одобрительно сказал Семен Михайлович.

В последний год жизни отца Сережа, уже подполковник, учился в Военной академии Генерального штаба.

— Сынок, я рад за тебя, — говорил отец. — В академии ты получишь превосходную теоретическую подготовку, а остальное будет зависеть только от тебя, от твоего отношения к службе.

Дочь Нина окончила Московский университет и стала журналистом. Отец любил подолгу беседовать с ней, рассказывал о гражданской и Великой Отечественной войнах. Мне казалось, что именно ей он хотел открыть ту высокую романтику, героику подвига защитников Отечества. О живых и погибших своих боевых соратниках он вспоминал в беседах с дочерью, повторяя:

— Тебе все это может пригодиться, ведь ты журналист.

Он привлек дочь к переработке своей первой книги «Пройденный путь» и был доволен совместной работой. Сказал мне:

— Нина работать умеет, понимает автора.

Младший сын Миша окончил энергетический институт, стал инженером, специалистом по автоматике и телемеханике. Без отрыва от производства окончил Академию Внешторга.

Семен Михайлович был счастлив, что при его

жизни дети стали на самостоятельный путь, обзавелись семьями. При его жизни росло и третье поколение Буденных — внуки, с которыми Семен Михайлович жил в большой дружбе.

Вспоминая о Буденном, всегда отмечаю его удивительную любовь к лошадям. И они ему платили тем же! Бывало, подойдет он к Корнеру, а Софист уже нервничает: почему не ко мне? Хоть раздваивайся. Поэтому и я частенько ходила с ним за компанию на конюшню. Одного погладит он, другого я. Только как я ни старалась ласкать коня, он все равно смотрел на Семена Михайловича. Чем он их завораживал? По сей день не могу понять.

...Стоит на рабочем столе мужа конь, слегка повернув влево голову. Подойду к статуэтке, проведу рукой по металлической гриве и шепчу:

«Нет больше твоего любимого седока...».

Классик русской литературы Лев Николаевич Толстой утверждал:

«Есть два рода счастья: счастье людей добродетельных и счастье людей тщеславных. Первое происходит от добродетели, второе — от судьбы. Счастье, основанное на тщеславии, разрушается им же: слава — злоречием, богатство — обманом. Основанное на добродетели счастье — ничем».

Семейное счастье Марии Буденной было истинным, неподдельным.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ НАДЕЖДЫ

В ноябре 1932 года окончилась земная жизнь жены Сталина Надежды Аллилуевой — по улицам Москвы потянулась грандиозная похоронная процессия. Похороны, которые устроил ей Сталин, по пышности могли выдержать сравнение с траурными кортежами российских императриц.

Умерла она в возрасте тридцати лет, и, естественно, всех интересовала причина этой столь ранней смерти. По городу ходили слухи, что Аллилуева погибла в автомобильной катастрофе, что она умерла от аппендицита и тому подобное.

Получалось, что молва подсказывала Сталину целый ряд приемлемых версий, однако он не воспользовался ни одной из них. Через некоторое время выдвинул такую версию: его жена болела, начала выздоравливать, но, вопреки советам врачей, слишком рано встала с постели, что вызвало осложнение и смерть.

Почему нельзя было сказать просто, что она заболела и умерла? На то была своя причина: всего за полчаса до смерти Надежду Аллилуеву видели живой и здоровой, окруженной многочисленным обществом советских сановников и их жен на концерте в Кремле. Концерт давался 8 ноября 1932 года по случаю пятнадцатой годовщины Октября.

Что же в действительности вызвало внезапную смерть Аллилуевой? Среди сотрудников ОГПУ цир-

кулировало две версии: одна, как бы апробированная начальством, гласила, что Надежда Аллилуева застрелилась. Другая, передаваемая шепотом, утверждала, что ее застрелил Сталин.

Тело Аллилуевой не было подвергнуто кремации. Ее похоронили на кладбище, и это обстоятельство тоже вызвало понятное удивление: в Москве уже давно утвердилась традиция, согласно которой умерших партийцев полагалось кремировать. Если покойный был особо важной персоной, урна с его прахом замуровывалась в древние кремлевские стены. Прах сановников меньшего калибра покоился в стене крематория. Аллилуеву как жену великого вождя должны были, конечно, удостоить ниши в кремлевской стене.

Однако Сталин категорически возражал против кремации. Он приказал Ягоде организовать пышную похоронную процессию и погребение умершей на старинном привилегированном кладбище Новодевичьего монастыря, где были похоронены первая жена Петра Первого, его сестра Софья и многие представители русской знати.

Ягоду неприятно поразило то, что Сталин выразил желание пройти за катафалком весь путь от Красной площади до монастыря, то есть около семи километров. Отвечая за личную безопасность «хозяина» в течение двенадцати с лишним лет, Ягода знал, как тот стремится избежать малейшего риска. Всегда окруженный личной охраной, Сталин, тем не менее, вечно придумывал добавочные, порой доходящие до смешного, приемы для более надежного обеспечения собственной безопасности. Став единовластным диктатором, он ни разу не рискнул пройти по московским улицам, а когда собирался осмотреть какой-нибудь построенный завод, вся заводская террито-

рия, по его приказу, освобождалась от рабочих и занималась войсками и служащими ОГПУ. Ягода знал, как попадало Паукеру, если Сталин, идя из своей кремлевской квартиры в рабочий кабинет, нечаянно встречался с кем-нибудь из кремлевских служащих, хотя весь кремлевский персонал состоял из коммунистов, проверенных и перепроверенных ОГПУ.

Понятно, что в тот день Ягода не мог поверить своим ушам: Сталин хочет пешком следовать за катафалком по улицам Москвы!

Новость о том, что Аллилуеву похоронят на Новодевичьем, была опубликована за день до погребения. Многие улицы в центре Москвы узки и извилисты, а траурная процессия, как известно, движется медленно. Что стоит какому-нибудь террористу высмотреть из окна фигуру Сталина и бросить сверху бомбу или обстрелять его из пистолета, а то и винтовки? Докладывая Сталину по нескольку раз в день о ходе подготовки к похоронам, Ягода каждый раз пытался отговорить его от опасного предприятия и убедить, чтобы он прибыл непосредственно на кладбище в последний момент, в машине. Безуспешно. Сталин то ли решил показать народу, как он сильно любил жену, и тем опровергнуть возможные невыгодные для него слухи, то ли его тревожила совесть.

Пришлось мобилизовать всю московскую милицию и срочно вытребовать тысячи чекистов из других городов. В каждом доме на пути следования траурной процессии был назначен комендант, обязанный загнать всех жильцов в дальние комнаты и запретить выходить оттуда. В каждом окне, выходящем на улицу, на каждом балконе торчал гепеушник. Тротуары заполнились публикой, состоявшей из милиционеров, чекистов, бойцов войск ОГПУ и мобилизованных партийцев. Все боковые улицы

вдоль намеченного маршрута с раннего утра пришлось перекрыть и очистить от прохожих.

Наконец, в три часа дня похоронная процессия в сопровождении конной милиции и частей ОГПУ двинулась к Красной площади. Сталин действительно шел за катафалком, окруженный прочими «вождями» и их женами. Казалось бы, были приняты все меры, чтобы уберечь его от малейшей опасности. Тем не менее, его мужества хватило ненадолго. Минут через десять, дойдя до первой же встретившейся на пути площади, он вдвоем с начальником охраны отделился от процессии, сел в ожидавшую его машину, и кортеж автомобилей, в одном из которых был Сталин, промчался кружным путем к Новодевичьему монастырю. Там Сталин дождался прибытия похоронной процессии.

Какой же жизни хотела избежать Надежда Аллилуева? Вчитаемся в ее письма к мужу, написанные за год-два до смерти.

Н. С. АЛЛИЛУЕВА — И. В. СТАЛИНУ

19 сентября 1930 года. «Здравствуй, Иосиф! Как твое здоровье? Приехавшие гг. (Уханов и еще кто-то) рассказывают, что ты очень плохо выглядишь и чувствуешь себя. Я же знаю, что ты поправляешься (это из писем). По этому случаю на меня напали Молотовы с упреками, как это я могла оставить тебя одного, и тому подобно. Я объяснила свой отъезд занятиями. По существу же это, конечно, не так. Это лето я не чувствовала, что тебе будет приятно продление моего отъезда, а наоборот. Прошлом лето это очень чувствовалось, а это — нет. Остаться же с таким настроением, конечно, не было смысла, так как это уже меняет весь смысл и пользу моего пребывания. И я считаю, что упреков я не заслужила, но в их понимании, конечно, да. На днях была у Мо-

готовых, по его предложению, проинформироваться. Это очень хорошо, так как иначе я знаю только то, что в печати. Ответь, если не очень недоволен будешь моим письмом. А впрочем, как хочешь. Всего хорошего. Целую. Надя.»

И. В. СТАЛИН — Н. С. АЛЛИЛУЕВОЙ

24 сентября 1930 года. «Татьяка! Получил посылку от тебя. Посылаю тебе персики с нашего дерева. Я здоров и чувствую себя как нельзя лучше. Возможно, что Уханов видел меня в тот самый день, когда Шапиро поточил у меня восемь (8!) зубов сразу, и у меня настроение было тогда, возможно, неважное. Но этот эпизод не имеет отношения к моему здоровью, которое я считаю поправившимся коренным образом. Попрекнуть тебя в чем-либо насчет заботы обо мне могут лишь люди, не знающие дела. Такими людьми и оказались в данном случае Молотовы. Скажи от меня Молотовым, что они ошиблись насчет тебя и допустили в отношении тебя несправедливость. Что касается твоего предположения насчет нежелательности твоего пребывания в Сочи, то твои попреки так же несправедливы, как несправедливы попреки Молотовых в отношении тебя. Так, Татьяна. Я приеду, конечно, не в конце октября, а много раньше, в середине октября, как я говорил тебе в Сочи. Ввиду конспирации я пустил слух через Поскребышева о том, что смогу приехать лишь в конце октября. О сроке моего приезда знают Татьяна, Молотов и, кажется, Серго. Ну, всего хорошего. Целую крепко, много. Твой Иосиф 24/IX—30.

Р. С. Как здоровье ребят?»

Н. С. АЛЛИЛУЕВА — И. В. СТАЛИНУ

30 сентября 1930 года. «Здравствуй, Иосиф! Еще раз начинаю с того же — письмо получила. Очень

рада, что тебе хорошо на южном солнце. В Москве сейчас тоже неплохо, погода улучшилась, но в лесу определенная осень. День проходит быстро. Пока все здоровы. За восемь зубов молодец! Я же соревнуюсь с горлом, сделал мне профессор Свержейский операцию, вырезал 4 куска мяса, пришлось полежать четыре дня, а теперь я, можно сказать, вышла из полного ремонта. Чувствую себя хорошо, даже поправилась за время лежания с горлом. Персики оказались замечательными. Неужели это с того дерева? Они замечательно красивы. Теперь тебе при всем нежелании, но все же скоро придется возвращаться в Москву. Мы тебя ждем, но не торопим, отдыхай получше. Привет. Целую тебя. Надя.

Р. С. Да, Каганович квартирой очень остался доволен и взял ее. Вообще был тронут твоим вниманием. Сейчас вернулась с конференции ударников, где говорил Каганович (очень неплохо), а также Ярославский. После была «Кармен» — под управлением Голованова, замечательно. Н. А.».

И. В. СТАЛИН — Н. С. АЛЛИЛУЕВОЙ

9 сентября 1931 года. «Здравствуй, Татка! Как доехала, обошлось без приключений? Как ребятишки, Сетанка? Приехала Зина (без жены Кирова). Остановилась в Зензиновке — считает, что там лучше, чем в Пузановке. Что же, — очень приятно. У нас тут все идет по-старому: игра в городки, игра в кегли, еще раз игра в городки и т. д. Молотов успел уже дважды побывать у нас, а жена его, кажется, куда-то отлучилась. Пока все. Целую. Иосиф 9/IX—31»

Н. С. АЛЛИЛУЕВА — И. В. СТАЛИНУ

Не позднее 12 сентября 1931 года. «Здравствуй, Иосиф! Доехала хорошо. В Москве очень холодно, возможно, что мне после юга так показалось, но прохладно основательно. Москва выглядит лучше,

но местами похожа на женщину, запудривающую свои недостатки, особенно во время дождя, когда после дождя краска стекает полосами. В общем, чтобы Москве дать настоящий желаемый вид, требуются, конечно, не только эти меры и не эти возможности, но на данное время и это прогресс. По пути меня огорчили те же кучи, которые нам попались по пути в Сочи на протяжении десятков верст, правда их несколько меньше, но именно несколько. Звонил Кирову, он решил выехать к тебе 12.IX, но только усиленно согласовывает средства сообщения. О Гротте он расскажет тебе все сам. Улицы Москвы уже в лучшем состоянии, местами даже очень хорошо. Очень красивый вид с Тверской на Красную площадь. Храм разбирают медленно, но уже «величие» голов уничтожено. В Кремле чисто, но двор, где гараж, безобразен, в нем ничего не сделали и даже ремонтную грязь не тронули. Это, мне кажется, нехорошо. Словом, тебе наскучили мои хозяйские сообщения. Группа была очень довольна, что я поддержала 100 % дисциплину, нужно сказать, что в первый же день нам дали столько новых всяких сведений, что, конечно, при таких условиях опаздывать нельзя. Да, в отношении этого жестокого случая, опубликованного в «Известиях». Выяснено, что убийство совершено с целью ограбления, так как у этого преподавателя были с собой деньги, полученные на оборудование кабинета по математике. Кто убийцы и других подробностей пока неизвестно. На состав преподавателей эта история произвела очень тяжелое впечатление, несмотря на то, что это лицо новое в стенах учреждения. За работу преподаватели принялись с энергией, хотя нужно сказать, что настроение в отношении питания среднее и у слушателей, и у педагогов, всех одолевают «хвостики» и целый

ряд чисто организационных неналаженностей в этих делах и, главным образом, в вопросах самого элементарного обмундирования. Цены в магазинах очень высокие, большое затоваривание из-за этого. Не сердись, что так подробно, но так хотелось бы, чтобы эти недочеты выпали из жизни людей, и тогда было бы прекрасно всем, и работали бы все исключительно хорошо. Посылаю тебе просимое по электротехнике. Дополнительные выпуски я заказала, но к сегодняшнему дню не успели дослать. Со следующей почтой получишь, то же и с немецкой книгой для чтения — посылаю то, что есть у нас дома, а учебник для взрослого пришлю со следующей почтой. Обязательно отдыхай хорошенько и лучше бы никакими делами не заниматься. Звонил мне Серго, жаловался на ругательное твое не то письмо, не то телеграмму, но, видимо, очень утомлен. Я передала от тебя привет. Дети здоровы, уже в Москве. Желая тебе всего, всего хорошего. Целую. Надя».

А вот свидетельство Светланы Аллилуевой: «Она была после нас, детей, самой молодой в доме. Учительницы, няня — все были старше, всем было за сорок; экономка наша, Каролина Васильевна, повариха Елизавета Леонидовна — были пожилые женщины за пятьдесят лет. Но все равно, все любили молодую, красивую, деликатную хозяйку — она была признанный авторитет. Старший брат мой Яша был моложе мамы только на семь лет. Она очень нежно к нему относилась, заботилась о нем, утешала его в первом неудачном браке, когда родилась дочка и вскоре умерла. Мама очень огорчилась и старалась сделать жизнь Яши более сносной. Но это вряд ли было возможно, так как отец был недоволен его переездом в Москву (на этом настоял дядя Алеша Сванидзе), недоволен его первой женитьбой, его учебой, его хз-

рактером, — словом, всем. Должно быть, на маму произвела очень тягостное впечатление попытка Яши покончить с собой. Доведенный до отчаяния отношением отца, совсем не помогавшего ему, Яша выстрелил в себя у нас в кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя — пуля прошла навывлет. Но отец нашел в этом повод для насмешек. «Ха, не попал!» — любил он поиздеваться. Мама была потрясена. И этот выстрел, должно быть, запал ей в сердце надолго и отозвался в нем... Яша очень любил и уважал маму, любил меня, любил маминих родителей. Дедушка и бабушка опекали его как могли, и он уехал потом в Ленинград и жил там на квартире у дедушки, Сергея Яковлевича.

Осталось много домашних фотографий, глядя на которые, я могу вспомнить и все остальное. Фотографии эти у меня на глазах растут, наполняются красками, фигуры начинают двигаться, я слышу, как они разговаривают... Это для меня застывшие кадры фильма. Я смотрю на них, и передо мной приходит в движение вся лента кино, — ведь я ее видела когда-то... На фото домашних пикников в лесу, которые все так любили, и отец и мама — веселые, смеющиеся. Много веселых, счастливых, здоровых лиц вокруг. Отец выглядит гораздо моложе своих пятидесяти лет (ему было пятьдесят в 1929 году). Мама — сияющая белозубой улыбкой, молодая, цветущая, грациозная. Все женщины — в скромнейших платьях. Но какие красивые, какие здоровые и привлекательные лица! Мама на балконе нашего Зубалова, за столом с Анной Сергеевной; за столом с Зиной Орджоникидзе. Мама в садике в Сочи. Мама в Крыму, в Мудалатке, куда ездили отдыхать родители, — на берегу моря, а из воды высовываются рожицы в белых панамках: мой брат Василий и его друзья — Ар-

тем Сергеев и Женя Курский. Мама на террасе в Мухалатке, возле белых мраморных львов, — на ней прямое платье балахоном, по тогдашней моде, с вырезом каре и короткими рукавами, — загорелая, с зачесанными гладкими волосами, собранными в узел сзади. Мама в Зубалове, на нашей лесной дорожке к калитке. Приехали «высокие гости» из Турции.

К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, М. М. Литвинов — все гуляют, очевидно, всех «принимал» отец. Тут же я — для развлечения.

Мама с шалью на плечах, лицо ее напряжено — она следит за мной, чтобы я себя «вела хорошо». Мама опять в шали на плечах, за столиком в Зубалове; это домашнее фото было увеличено после ее смерти по желанию отца. И большие увеличенные фотографии были развешаны по всем комнатам нашей новой квартиры в Кремле. Мама здесь такая счастливая, такая сияющая, что, глядя на это фото, немыслимо, невозможно понять ее дальнейшую судьбу, — вот почему многие и не понимали, и не верили...

Но чем дальше, тем фотографии становятся печальнее. Хорошие портреты, сделанные в Москве, уже исполнены грусти. Лицо ее замкнуто, гордо, печально. К ней страшно подойти близко, неизвестно, заговорит ли она с тобой. И такая тоска в глазах, что я сейчас не в силах повесить портрет в своей комнате и смотреть на него; такая тоска, что, кажется, при первом же взгляде этих глаз должно было быть понятно людям, что человек обречен, что человек погибает. Почему же, думаю я теперь, никто не кинулся помочь? Почему никто не понимал, чем это все может кончиться? Мама была очень скрытной и самолюбивой. Она не любила признаваться, что ей плохо. Не любила обсуждать свои личные дела. За это на нее обижались и бабушка, и ее сестра, Анна

Сергеевна, — сами они были чрезвычайно открытые, откровенные — что на уме, то и на языке. Теперь, когда я уже сама взрослая, я больше понимаю ее, и даже маленькие детали и штрихи ее жизни, которые иногда проскальзывают в чужих рассказах, говорят мне о многом. Мамина сестра, Анна Сергеевна, говорила мне, что в последние годы своей жизни маме все чаще приходило в голову уйти от отца. Анна Сергеевна всегда говорит, что мама была «великомученицей», что отец был для нее слишком резким, грубым и невнимательным, что это страшно раздражало маму, очень любившую его.

Как-то, еще в 1926 году, когда мне было полгода, родители рассорились и мама, забрав меня, брата и няню, уехала в Ленинград к бабушке, чтобы больше не возвращаться. Она намеревалась начать там работать и постепенно вести самостоятельную жизнь. Ссора вышла из-за грубости отца, повод был невелик, но, очевидно, это было уже давнее, накопленное раздражение. Однако обида прошла. Няня моя рассказывала, что отец позвонил из Москвы и хотел приехать «мириться» и забрать всех домой. Но мама ответила в телефон, не без злого остроумия: «Зачем тебе ехать, это будет слишком дорого стоить государству! Я приеду сама!» И мы все возвратились домой... Анна Сергеевна говорит, что в самые последние недели, когда мама заканчивала Академию, у нее был план уехать к сестре в Харьков, — где работал Реденс в украинской ЧК, — чтобы устроиться по своей специальности и жить там. Анна Сергеевна все время повторяет, что у мамы это было навязчивой мыслью, что ей очень хотелось освободиться от своего «высокого положения», которое ее только угнетало. Это очень похоже на истину.

Мама не принадлежала к числу практичных женщин — то, что ей «давало» ее «положение», абсолютно не имело для нее значения. Этого никак не могут понять женщины трезвые, рассудительные (вроде моей бывшей свекрови З. А. Ждановой, называющей маму «душевнобольной», ибо «не было причин» ей томиться и страдать! Любая из них смирилась бы вообще с чем угодно, лишь бы вовеки не потерять это дарованное судьбой «место наверху». А мама стеснялась подъезжать к Академии на машине, стеснялась говорить там, кто она (и многие подолгу не знали, чья жена Надя Аллилуева). А в те годы вообще жизнь была куда проще — отец еще ходил пешком по улицам, как все люди (правда, он больше любил всегда машину). Но и это казалось чрезмерным выпячиванием среди остальных. Она честно верила в правила и нормы партийной морали, предписывавшей партийцам скромный образ жизни. Она стремилась придерживаться этой морали, потому что это было близко ей самой, ее семье, ее родителям, ее воспитанию.

Очень характерен один пример. После смерти Ленина (а может быть и раньше) было принято постановление ЦК о том, что члены ЦК не имеют права получать гонорар за печатание своих партийных статей, книг и что эти средства должны идти в пользу партии. Мама была этим недовольна, потому что считала: лучше получать то, что ты действительно заработал, чем бесконечно, без всяких лимитов, лезть в карман казны и брать оттуда на свои домашние нужды, на дачи, машины, содержание прислуги и т. п. Тогда еще только-только начиналось казенное содержание домов членов правительства. Слава Богу, мама не дождала до этого и не увидела, как потом, отказавшись от гонораров за партийные тру-

ды, наши знатные партийцы со всеми чадами, домочадцами и всеми дальними родственниками сели на шею государству. Все дело было в том, что у мамы было свое понимание жизни, которое она упорно отстаивала. Компромисс был не в ее характере. Она принадлежала сама к молодому поколению революции — к тем энтузиастам-труженикам первых пятилеток, которые были убежденными строителями новой жизни, сами были новыми людьми и свято верили в свои новые идеалы человека, освобожденного революцией от мещанства и от всех прежних пороков. Мама верила во все это со всей силой революционного идеализма, и вокруг нее было тогда очень много людей, подтверждавших своим поведением ее веру.

И среди всех самым высоким идеалом нового человека показался ей некогда отец. Таким он был в глазах юной гимназистки: только что вернувшийся из Сибири «несгибаемый революционер», друг ее родителей. Таким он был для нее долго, но не всегда... И я думаю, что именно потому, что она была женщиной умной и внутренне бесконечно правдивой, она своим сердцем поняла в конце концов, что отец — не тот новый человек, каким он ей казался в юности. Ее постигло страшное, опустошающее разочарование. Моя няня говорила мне, что последнее время перед смертью мама была необыкновенно грустной, раздражительной. К ней приехала в гости ее гимназическая подруга, они сидели и разговаривали в моей детской комнате (там всегда была «мамина гостиная»), и няня слышала, как мама все повторяла, что «все надоело», «все опостылело», «ничего не радует»; а приятельница ее спрашивала: «Ну, а дети, дети?» — «Все, и дети», — повторяла мама. И няня моя поняла, что раз так, значит, действи-

тельно ей надоела жизнь. Но и няне моей, как и всем другим, в голову не могло прийти предположение, что через несколько дней она сможет наложить на себя руки...

К сожалению, никого из близких не было в Москве в ту осень 1932 года. Павлуша и семья Сванидзе были в Берлине; Анна Сергеевна с мужем — в Харькове, дедушка был в Сочи. Мама заканчивала Академию и была чрезвычайно переутомлена. Я помню, как нас, детей, вдруг неожиданно утром в неурочное время отправили гулять. Помню, как за завтраком утирала платочком глаза Наталия Константиновна. Гуляли мы почему-то долго. Потом нас вдруг повезли на дачу в Соколовку — мрачный, темный дом, куда мы все стали ездить этой осенью вместо нашего милого Зубалова. В Соколовке всегда было на редкость угрюмо, большой зал внизу был темным, повсюду были какие-то темные углы и закоулки; в комнатах было холодно, непривычно, неуютно. Потом, к концу дня, к нам приехал Климент Ефремович, пошел с нами гулять, пытался играть, а сам плакал.

Я не помню, как мне сказали о смерти, как я это восприняла, — наверное, потому, что этого понятия для меня тогда еще не существовало... Я что-то поняла лишь, когда меня привезли в здание, где теперь ГУМ, а тогда было какое-то официальное учреждение, и в зале стоял гроб с телом и происходило прощание. Тут я страшно испугалась, потому что Зина Орджоникидзе взяла меня на руки и поднесла близко к маминому лицу — «попрощаться». Тут я, наверное, и почувствовала смерть, потому что мне стало страшно — я громко закричала и отпрянула от этого лица. Меня кто-то поскорее унес на руках в другую комнату. А там меня взял на колени дядя Абель Ену-

кидзе и стал играть со мной, совал мне какие-то фрукты, и я снова позабыла про смерть. А на похороны меня уже не взяли, только Василий ходил.

Мне рассказывали потом, когда я была уже взрослой, что отец был потрясён случившимся. Он был потрясен, потому что не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать» кого-то — «вот, мол», «на вот тебе», «ты будешь знать!». Это он понял, но он не мог осознать: почему? За что его так наказали? И он спрашивал окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал ее, как жену, как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? Неужели это важно? Первые дни он был потрясен. Он говорил, что ему самому не хочется больше жить. (Это говорила мне вдова дяди Павлуши, которая вместе с Анной Сергеевной оставалась первые дни у нас в доме день и ночь.) Отца боялись оставлять одного, в таком он был состоянии. Временами на него находила какая-то злоба, ярость.

Это объяснялось тем, что мама оставила ему письмо. Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела. Его, наверное, тут же уничтожили, но оно существовало. Об этом мне говорили те, кто его видел. Содержание его было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было не просто личное письмо; это было письмо отчасти политическое. Прочитав его, отец решил, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет. Он был потрясен этим и разгневан, и когда пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолк-

нул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь.

Отец был надолго выведен из равновесия. Он ни разу не посетил ее могилу на Новодевичьем. Он не мог. Он считал, что мама ушла как его личный недруг. И только в последние годы, незадолго до смерти, он вдруг стал говорить часто со мной об этом, совершенно сводя меня с ума... Я видела, что он мучительно ищет «причину», и не находит. То он вдруг ополчился на «поганую книжонку», которую мама прочла незадолго до смерти, — это была модная тогда «Зеленая шляпа». Ему казалось, что эта книга сильно на нее повлияла... То он начинал ругать Полину Семеновну, Анну Сергеевну, Павлушу, привезшего ей этот пистолетик, почти что игрушечный... Он искал вокруг — виновных, кто ей «внушил эту мысль». Может быть, он хотел таким образом найти какого-то очень важного врага... Но если он не понимал ее тогда, то позже, через двадцать лет, он уже совсем перестал понимать ее.

Хорошо хоть, что он стал говорить о ней мягче; он как будто бы даже жалел ее и не упрекал за совершенное... В те времена часто стрелялись. Покончили с троцкизмом, начиналась коллективизация, партию раздирали борьба группировок, оппозиция. Один за другим кончали с собой многие крупные деятели партии. Совсем недавно застрелился Маяковский — еще этого не забыли и не успели осмыслить... Я думаю, это не могло не отразиться в душе мамы — человека очень впечатлительного, импульсивного. Все Аллилуевы были очень деликатными, нервными, трепетными натурами. Это натуры артистов, а не политиков. Дело в том, что мама жила и действовала всю жизнь по законам чувства. Логика ее характера была логикой поэтической. Не утверждал ли неза-

долго до своей смерти Маяковский: «И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу у виска нажать...» И, сказав так, сам сделал именно это. Такие вещи никто заранее не планирует».

В книге Ю. Семенова «Ненаписанные романы» приводится стенограмма его беседы с Галиной Семеновной Каменевой-Кравченко, где она говорит: «Меня арестовали в 1932 году, сразу после того, как погибла Надя Аллилуева... Кстати, она не была левшой, но висок у нее был раздроблен именно левый. В десять часов вечера к Ольге Давыдовне прибежала врач Кремлевской больницы Александра Юлиановна Капель, близкая подруга выдающегося терапевта Плетнева. Я спросила Лютика — так все звали сына Льва Борисовича (Каменева) и Ольги Давыдовны. «Что случилось?» Он ответил: «Надя Аллилуева погибла». Я — к Ольге Давыдовне, а та молча смотрит на доктора Капель... «Случился острый аппендицит, — тихо сказала Александра Юлиановна, — мы не смогли ее спасти...» Это же была официальная версия... Я вернулась к Лютику, а он покачал головой: «Ложь. Она убита. Из такого же пистолетика, какой подарил тебе папа (то есть Троцкий)».

Несмотря на подобные свидетельства, серьезные историки придерживаются версии самоубийства.

БЕГСТВО К СВОБОДЕ

Когда у Сталина родилась дочь Светлана, он полюбил ее всем сердцем. Но любовь эта проходила под знаком авторитаризма. И стоило девушке усомниться в идеалах отца, послушаться его, как он превращался в знакомого нам всем деспота. Не видя в ней человека, он относился к дочери, как к любимой вещи.

17-летней школьницей Светлана Сталина полюбила журналиста А. Я. Каплера, который был на 20 лет старше ее. Влюбленные гуляли по Москве, ходили в кино, разговаривали. Возникло удивительное взаимопонимание между разными по возрасту и социальному положению людьми. Конечно же, журналист понимал, чем он рискует. И в какой-то момент даже собрался покинуть Москву. Но его опередили. Как и сотни ни в чем не повинных людей того времени, он был обвинен в шпионаже, арестован и выслан на пять лет на Север. Затем к этим пяти годам прибавились еще пять. Светлана не сомневалась, что дело было сфабриковано, причем не без участия ее отца. Случай с ее возлюбленным навсегда воздвигнул стену между Светланой и ее отцом. Цена, которую пришлось заплатить за первую любовь, была огромной. Но вытравить из юного сердца желание любви, поиска понимания и тепла она не смогла.

Будучи студенткой университета, Светлана познакомилась со студентом Григорием Морозовым, который учился в Институте международных отноше-

ний, и вскоре вышла за него замуж. В 1945 году она стала матерью — у нее родился сын Иосиф. Сталин был категорически против этого брака. Помимо всего прочего, его раздражало то, что Морозов был евреем. За все время жизни дочери с этим человеком он ни разу не пожелал встретиться с зятем. В 1947 году супруги разошлись. Через два года Светлана вышла замуж второй раз. Ее мужем становится Юрий Жданов, сын верного соратника Сталина. Диктатор был доволен. Но, несмотря на отцовское благословение, и этот брак не прожил долго. От Юрия Жданова у Светланы осталась дочь Катя.

Оставшись с двумя детьми, молодая женщина с головой ушла в работу. Она изучала историю русской литературы, делала переводы для издательств, писала внутренние рецензии для московского издательства «Детская литература». Смерть отца в 1953 году практически не изменила устоявшегося уклада жизни Светланы. Как и прежде, она вела скромный, несколько уединенный образ жизни. Совершенно неожиданно, как ураган, в жизнь Светланы врывается любовь и переворачивает все с ног на голову. Встреча произошла в октябре 1963 года, в больнице, где им обоим делали операции. Ему удаляли полипы из носа, а ей — миндалины из горла. Какое-то время они не замечали друг друга. Однообразная больничная одежда, изможденный вид не могли быть привлекательными. Вскоре внимание Светланы привлек обедавший за соседним столиком невысокий сутулый человек в очках. По виду можно было предположить, что это либо итальянец, либо еврей. Как потом она выяснила, это был индеец. Светлана тайком наблюдала за ним. Он был на удивление вежлив и улыбчив, и ни ватные тампоны в носу, ни серая больничная одежда не могли

скрыть удивительного внутреннего обаяния, светившегося из его близоруких глаз. После операции Светлана некоторое время не могла говорить, хотя ей нестерпимо хотелось общаться с Сингхом (так звали индийца). Когда раны в горле немного зажили и Светлана смогла более или менее свободно пользоваться речью, она решилась. Она пару дней просидела в библиотеке, выискивая там максимальное количество информации об Индии. Их первая встреча длилась около двух часов. Они говорили об Индии. Сингх по обыкновению поинтересовался, какую организацию представляет Светлана. В те времена в загородной правительственной больнице лечились выдающиеся коммунисты со всего мира. И каждый из них, как правило, говорил от лица коллектива, который он представлял. Услышав, что Светлана никого и ничего не представляет, что она сама по себе, Сингх обрадовался.

Браджеш Сингх был сыном богатого раджи. В юности жил в разных странах мира: Германии, Англии, Франции, Австрии. Как коммунист оказывал поддержку всем коммунистическим организациям Европы. Был близким другом М. Роя. Несмотря на приверженность Сингха борьбе за независимость Индии, чувства в нем преобладали над идеями. Ни одна, даже самая великая цель, не смогла бы заставить его поднять руку не то что на человека, но и на любое другое живое существо. Когда Сингх лежал в больнице, он не позволял Светлане убивать даже мух, залетевших в палату. Он просил, чтобы она их просто выпускала в окно. Сильно расстроился он и тогда, когда увидел, как поступают врачи с пиявками, используемыми в лечебных целях.

Но это будет потом. А во время их первой беседы Сингх еще даже не знал, с кем разговаривает. Невз-

начай разговор перешел на тему «Советский Союз до и после смерти Сталина». И Светлана призналась, что она и есть дочь великого вождя. Единственной реакцией Сингха было восклицание: «О!» Больше он никогда за все время их совместной жизни не спрашивал ее об отце. По счастливому стечению обстоятельств, продолжить лечение им было предложено в одном и том же санатории. Это было лечебное заведение для партийной и государственной элиты, словом, для «высшего света». И его представители начали бросать косые взгляды на более чем странную (в их глазах) парочку. Светлане намекали, что не стоит увлекаться общением с иностранцем. Их раздражало и то, что она предпочитала его компанию им. Не нравилось и то, что он даже не пытался разговаривать на пониженных тонах, вполголоса. Его английский был чистым и звонким, а смех непринужденным и искренним. Этот человек был воспитан свободной Европой и не понимал местной замкнутости. Сингх был болен хроническим бронхитом. Ухудшала его состояние и эмфизема. Все это вместе рисовало безрадостную картину. На какое-то время антибиотики могли снять приступы, но холодный климат приводил к осложнениям. Воспитанный в лучших индийских традициях, он, как и все индийцы, не умел жаловаться и к близкой смерти относился философски и даже с юмором. Болезнь вынудила его отойти от партийной работы и он зарабатывал литературными переводами. В Индию возвращаться Сингх не хотел. Москва тоже не произвела на него должного впечатления, и он планировал осесть где-нибудь в Польше, Германии или Югославии. Теплый сочинский ноябрь, который они провели вместе в здравнице, сыграл благотворную роль. Кроме посетите-

лей санатория, об их отношениях знал и весь персонал. Судя по поведению врачей и сестер, они были соответствующим образом проинструктированы. Под любыми предлогами они заходили в палату к Сингху, когда там была Светлана, опасаясь оставить их наедине. Браджеш Сингх, проникнувшись нежным чувством к молодой женщине, решил круто изменить свои планы. Он пообещал, что обязательно вернется через полгода и останется работать переводчиком в московском издательстве, чтобы быть вместе со Светланой. Сингх был дважды женат. Первый раз — на индуске. Это был обычный традиционный индийский брак, который заключается без согласия молодых. Такие браки, как известно, редко бывают счастливыми. В конце концов его жена и две дочери стали для него совершенно чужими и уже более двадцати лет жили отдельно. Во второй раз он женился на европейской девушке, с которой прожил шестнадцать лет. Затем она уехала в Англию, чтобы дать хорошее образование их сыну. Так как Сингх не мог устроиться в Лондоне, то вынужден был вернуться в Индию. По сыну он очень сильно тосковал. Теперь же, когда его личная жизнь наполнялась новым смыслом, он во что бы то ни стало хотел остаться в Москве, тем более, что он хорошо знал многих индийцев, живших в столице. В том числе и посла Т. Н. Кауля, который был другом юности. Он искренне удивлялся тому, что Светлана всю жизнь прожила в одном и том же городе, не была в Европе, Индии и других странах. Они вместе мечтали о том, как поедут туда. В декабре 1963 года он вынужден был уехать в Индию. Светлана и ее дети стали ждать возвращения любимшегося им человека. Дети на удивление быстро поняли мать и приняли ее отношения с Сингхом.

Ведь индус был удивительно образованным, духовно богатым и интересным человеком, сразу покрывшим молодые сердца. Несмотря на разное прошлое, на 17-летнюю разницу в возрасте, Светлана и Баджеш бесконечно доверяли друг другу. Находясь с сыном в Шереметьево, Светлана еще не знала, что пройдет совсем немного времени, и она будет стоять в этом зале, прощаясь с сыном и увозя прах мужа Баджеша в Индию. Через полтора года Сингх вернулся в Москву. Он вернулся глубоким стариком, еле передвигающимся, с одутловатым, землистым лицом. Видя тяжелое состояние возлюбленного, Светлана предложила ему переехать в свою квартиру. Она прекрасно понимала, что этот человек нуждается в помощи. Сингх предупредил Светлану, что болезнь его сильно прогрессирует и в конце концов он может оказаться для нее обузой. Однако Светлана настояла на своем и привезла Сингха домой. После появления Сингха в доме Светланы сохранилась нормальная обстановка. Не было ощущения того, что появился чужой человек. Скорее наоборот — кто-то родной и близкий вернулся после долгой разлуки. За упомянутые полтора года в Советском Союзе сменилась политическая обстановка. Хрущевской оттепели пришел конец. Всякие попытки Светланы и Сингха зарегистрировать брак не приводили ни к каким результатам. Непредвиденные трудности окончательно разрушили здоровье индуса. Узнав о намерениях Светланы выйти замуж за иностранца, ее вызвали в Кремль. Холодным майским днем она вошла через Спасские ворота туда, где не была уже много лет. В сердце закралось неприятное чувство тревоги. С чего бы это такой интерес к ее, казалось бы, забытой персоне? Косыгин принял Светлану в бывшем кабинете ее отца.

Время ожидания в приемной превратилось в вечность. Казенная обстановка, хорошо знакомые зеленые суконные скатерти, ковры, стены заставляли сжиматься сердце. С Косыгиным она встретилась впервые, и он ей сразу не понравился. Разговор тот начал издали. Поинтересовался жизнью, материальным положением, работой. Услышав, что у нее все хорошо, спросил, почему она ушла с работы. Всякие объяснения Светланы разбивались о глухую стену непонимания. Казалось, каждый говорил о своем. Косыгин старался вести разговор по своему заранее намеченному плану. Он игнорировал ответы Светланы, все время старательно уводя ее от темы замужества. В разговоре Светлана назвала Сингха мужем. Косыгин подскочил, как ужаленным. Он закричал: «Неужели вы не могли найти себе здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно против!» Светлана оторопела от неожиданности. Она не могла поверить в существование такой бессердечности. В тот момент она не думала, что сменился премьер, что в стране все по-другому. Она была в отчаянии. Когда Светлана начала уговаривать Косыгина, пытаясь объяснить ему, что этот больной человек приехал в Москву ради нее и не может просто так уехать отсюда, Косыгин сказал что никто Сингха из страны не гонит, однако и разрешения на брак ему не дадут. Мотивом отказа была боязнь того, что он может увезти Светлану в Индию. Всякие попытки убедить Косыгина в том, что они не собираются покидать Советский Союз, а намерены жить и работать в Москве, были тщетными. Сингх постепенно терял трудоспособность. Даже работа переводчика становилась для него изнуряющей. Но совершенно от-

казаться от нее он не мог. Несколько раз ему приходилось ложиться в больницу. Персонал относился к нему доброжелательно, в отличие от начальства. В. Н. Павлов, приверженец политики Сталина, никак не мог смириться с тем, что какой-то иностранец стал мужем дочери его любимца. Даже медицина не могла остаться в стороне от политического аспекта их отношений. Сингха пытались положить в туберкулезную лечебницу, и только хлопоты Светланы, которая без устали доказывала всем, что бронхоэктазия — незаразная болезнь, что она позволяет работать в коллективе, оградили его от <заочения>. Смена хрущевской оттепели должна была повлечь за собой не только перемены в политической жизни. Работавшие в больнице с прежних времен сестры и врачи не видели причин в одночасье менять отношение к доброму и обаятельному индусу. С октября 1966 года Сингх все чаще говорит о смерти, о том, что умереть ему хотелось бы в Индии, попрощавшись с близкими и дорогими ему людьми. Изможденный болезнью, лекарствами, он понимал, что конец близок. Но, несмотря на это, даже будучи в больнице, он строил планы на будущее, старался подбодрить жену и себя. Болезнь брала свое. Легкие Сингха клокотали и шипели. Светлана не отходила от больного ни на шаг. Она обсуждала состояние здоровья Сингха со своим сыном Осей, ставшим к тому времени студентом-медиком. Юноша понимал, что времени оставалось очень мало. Все реже и реже Сингх мог позволить себе небольшие прогулки по коридору. В теплые дни Светлана вывозила его в сад подышать свежим воздухом. Все разговоры их были о прошлом, так как настоящее не предвещало ничего хорошего. Переосмысливая свою жизнь, Сингх неоднократно говорил, что если

ему суждено вернуться в Индию, то он непременно выйдет из компартии. Очень встревожили его сообщения о культурной революции в Китае. Когда он ознакомился с программой председателя Мао, то тут же провел параллель с первыми днями фашизма в Германии, свидетелями которых он был. Светлана была в отчаянии. На ее глазах угасал человек, которого она ждала всю жизнь. Она чувствовала вину перед ним и отчаяние от своей беспомощности.

Чтобы каким-то образом облегчить кончину мужа, она решила добиться выезда Сингха вместе с ней в Индию. Именно такую просьбу содержало письмо Брежневу. Она умоляла позволить им встретить смерть Сингха на его родине. К Брежневу письмо, по-видимому, не попало. Обстоятельствами дела занялся Суслов. Худшего поворота событий Светлана ожидать не могла. Направляясь на встречу к нему, Светлана не надеялась ни на что хорошее.

Разговор с Сусловым прошел по тому же сценарию, что и с Косыгиным. Тот же перечень вопросов, и тот же перечень рекомендаций. Светлана поняла, что она должна сама перейти к сути вопроса. Суслов занервничал. Его желчное лицо с испуганным взглядом фанатика говорило о том, что все мольбы тщетны. Светлана пыталась выяснить, почему все против нее? Почему закон о разрешении браков с иностранцами на нее не распространяется? Суслов нервно одернул ее:

— За границу мы вас не выпустим.

— Он умрет! — сказала Светлана. — Он здесь умрет, и очень скоро. Это на весь мир будет стыд и позор. На что Суслов спокойно ответил:

— Почему позор? Его лечили и лечат. Умрет так умрет.

Далее шла пространная речь о каких-то провока-

циях за границей, которые непременно будут читать Светлане журналисты. Она никак не могла понять, кому и зачем это нужно? Она не могла понять, почему ей так не доверяют? Почему считают, что она не сможет ответить на какие-то вопросы прессы? Разговор зашел в тупик. На прощание он совершенно обескуражил молодую женщину, задав вопрос: «Что вас так тянет за границу?» Как будто бы все это время Светлана умоляла отпустить ее в увеселительное турне. Кабинет Суслова Светлана покинула с тяжелым камнем на сердце. Ей было больно и трудно осознавать, что последняя надежда умерла. Сингх, узнав об этом разговоре, был искренне удивлен поведением Суслова, которого в Индии считали великим интернационалистом и сильнейшим современным марксистом. Он махнул рукой и перевел разговор на другую тему. Затем неожиданно погрузился и тихо сказал Светлане: «Света, заберите меня домой. Мне надоели эти белые стены и халаты, эти пропуска и все эти каши! Я сам сделаю омлет, они не умеют здесь готовить. Поедемте домой завтра же!» В больнице никто его удерживать не стал. Это был обреченный больной. Дома он провел неделю. За ним наблюдала местный врач, которая постоянно нервничала из-за боязни лечить иностранца. Она даже не могла сделать внутривенное вливание, не могла найти вену. Для этого приходил другой врач. Но Сингха это уже не беспокоило. Он радовался возвращению домой, возможности сидеть в кресле в красивой гостиной. Иногда его навещали немногочисленные друзья. Радовали его и грядущие перемены в семье. 30 октября Ося объявил, что женится. Они подняли бокал за счастье молодых. В тот же день попрощаться с Сингхом зашел бывший поверенный в делах индийского по-

сольства Р. Джайпал с женой. Они уезжали в Англию. Еще одно событие принес этот день. Сотрудник издательства, где работал Сингх, передал ему письмо от брата. Все эти волнующие события немного утомили больного и к вечеру он почувствовал себя хуже. Несколько раз перечитав письмо брата, Сингх повернулся к Светлане, как всегда сидевшей рядом с ним, и тихо сказал: «Света, это мой последний день. Мне холодно. Я пойду лягу». Состояние его ухудшалось. Началась сильная одышка. Она не могла поверить, что это конец. Утром Сингх сказал: «Света, я знаю, что сегодня умру». В голосе не было ни страха, ни сожаления. Приехавшая утром «скорая помощь» попыталась снять приступ вливанием строфантина. Это сильное лекарство обычно не применяли для лечения Сингха, но врачи «скорой» не знали этого. Они делали то, что обычно делают при таких приступах. Через несколько минут после укола сердце больного остановилось. Светлана разбудила Осю и прибежала вместе с ним в комнату, где врачи пытались вывести Сингха из состояния клинической смерти. Светлана не понимала, зачем они это делают. Это был конец, и с этим надо было смириться. Она прижалась к сыну. Ося побледнел, как полотно. Молодой врач, делавший искусственное дыхание, был в отчаянии: на его руках умер человек. Он с мольбой посмотрел на Светлану... Сингх умер рано утром. По индусским поверьям именно в это время умирают праведники. Утром смерть легкая, и душе не трудно отлететь.

Светлана решила выполнить посмертную просьбу мужа и отвезти урну с прахом, которая находилась теперь в ее спальне, на родину Сингха. Она не могла себе представить, что это сделает кто-то кроме нее. Невидимая сила соединяла ее душу с душой

усопшего. Привязанность и преданность, порожденные любовью, родили в ней уверенность, что она добьется своего и все-таки выедет в Индию. Ося был всецело на стороне матери. Светлана написала письма Косыгину и Брежневу. Неожиданно вопрос решили очень быстро. Буквально на следующее же утро она была приглашена к Косыгину, который после пятиминутной беседы выдал ей разрешение на выезд с одним единственным условием: избегать контакта с прессой. Уехав в Индию, Светлана назад уже не вернулась. Первый выезд за границу продлился для нее почти всю оставшуюся жизнь.

Свои американские проблемы Светлана Аллилуева описала с присущим ей литературным талантом в книге «Далекая музыка»:

«Когда я прилетела в аэропорт Финикс в марте 1970 года, я знала очень мало о «Товариществе Таliesин», расположенном в пустыне Аризоны. Я знала так же мало о Ф. Л. Райте, основателе этой артистической коммуны. Он умер одиннадцать лет тому назад, и его архитектурное дело, так же как его Школа архитектуры и то, что они называли «братство», — все это находилось с тех пор под надзором его вдовы, Ольги Ивановны, урожденной Милиановой, внучки национального героя Черногории (ныне часть Югославии). Ольга Ивановна была воспитана еще в царской России, говорила по-русски, и в Америке стала четвертой женой знаменитого архитектора.

Она и ее дочь Иованна Л. Райт прислали мне несколько книг об их «прекрасной жизни в коммуне» в пустыне, на кампусе, спроектированном и построенном Райтом в начале 30-х годов. (Другой —

первоначальный кампус этого товарищества находился в Висконсине, как я узнала позже.) Просматривая их стильные фотографии, не слишком восхищенная ландшафтами пустыни и архитектурой, напомилавшей театральные декорации, я больше думала о том, куда поеду после визита в эти странные места. Приглашение от русской художницы Елизаветы Шуматовой поехать позже летом с нею на Гавайи было куда как привлекательнее для меня. Не пустыни Аризоны, а уединенные пляжи, дикий остров в океане — вот куда меня действительно тянуло. В те дни меня часто приглашали малознакомые мне люди, и отвечать на их приглашения было частью моего образа жизни, а также способом больше узнать об этой стране.

Тем не менее посещение Аризоны предполагало один очень личный момент. Ольга Ивановна Райт провела свою юность в России, а именно в Грузии — Батуми и Тифлисе, вышла там замуж первый раз и там же, в городе столь знакомом моей семье, родила дочь Светлану. Имя Светлана, редкое тогда, взято из поэзии Жуковского, — образ задумчивой девушки, бродящей в лесу — как Офелия.

Ольга Ивановна и ее муж, музыкант из «русских немцев», эмигрировали после революции и после многих скитаний обосновались в Чикаго. Здесь тридцатилетняя женщина встретила с уже всемирно известным шестидесятилетним Райтом (только что оставленным его третьей женою), и начался страстный роман. Девочка Светлана, десяти лет, была впоследствии удочерена Райтом. Вскоре появилась на свет ее сестра — Иованна Райт, и все они составляли ядро и центр «Товарищества Талиесин», артистической коммуны, идею которой молодая Ольга Ивановна заимствовала от Гурджиевской

школы гармоничного человека во Франции, где она была ученицей несколько лет.

Светлана Райт позже вышла замуж за одного из архитекторов «Товарищества», родила двух мальчиков и, ожидая третьего ребенка, трагически погибла в странной автомобильной катастрофе в Висконсине, недалеко от городка Спринг-Грин. Уцелел только пятилетний мальчик. Мать Светланы с тех пор не могла успокоиться. И, по ее словам, совпадение имен заставило ее написать мне в первый раз. Мне тоже казались фатальными совпадения имен и мест, а также факт, что миссис Райт была одного возраста с моей матерью и росла в тех же краях, которые всегда так любила Надя Аллилуева. Короче говоря, мы обе решили что должны встретиться, и обе втайне надеялись на еще большее сходство с любимыми образами, которые мы носили в своих сердцах.

В аэропорту Финикса меня должна была встретить Иованна Райт, которая, если судить по ее письмам, была артистической натурой и чутким человеком. Она тоже писала мне, что взволнована предстоящей встречей с женщиной, носящей имя ее погибшей сестры. Очевидно, совпадение имен имело глубоко мистический смысл здесь для всех. Но я даже не знала, как Иованна выглядит, и пыталась представить ее себе, оглядываясь вокруг.

Мой взгляд привлекла ярко одетая красивая женщина примерно моих лет, в коротком платье (мода тех лет), с копной длинных, кудрявых волос и сильно подведенными глазами. Неожиданно она заметила меня и с криком «Светлана!» устремилась ко мне, заключив меня в горячие объятия. Не привыкнув еще к эмоциональному поведению перед публикой, я смутилась, но не могла не ответить на ее порыв.

Сильно нажимая на газ в своей спортивной машине красного цвета, поглядывая на лиловые горы, окаймлявшие долину, она еще раз кратко повторила мне историю гибели ее сестры. «Я так надеюсь, что вы будете моей сестрой», — сказала она без обиды. Я снова смутилась и не знала, что ей ответить.

Иованна была яркой, красивой, очень уверенной в себе женщиной и говорила громким голосом. «Вполне в гармонии с ландшафтом», — подумала я, любуясь яркостью красок весенней пустыни. «О, мы всегда ездим быстро через эти пространства!», — засмеялась она, заметив, как моя правая нога инстинктивно «нажимала» на воображаемую педаль тормоза... Это — рефлекс всех водителей, которым приходится быть пассажирами. Мы неслись по степной дороге. Наконец, я рассмеялась и почувствовала себя легко с моей новой «сестрой».

В середине марта воздух наполнял аромат цветущих апельсиновых рощ, раскинувшихся на орошаемых землях. После холодного, еще зимнего Нью-Джерси, переход к солнцу и теплу, напомнил мне недавний перелет из зимней Москвы в Индию — контрасты были такими же. Я начинала чувствовать колдовские чары всей красоты вокруг, упиваясь ароматом, цветами и необычайно теплым воздухом. Я даже заметила яркие малиновые цветы буганвиллии, вьющегося растения, столь популярного в Индии, карабкавшегося здесь на изгороди и дома.

И, наконец, через аркады, обвитые цветами, я была проведена к самой миссис Райт. С самого первого момента я поняла, что мои надежды увидеть женщину, внешне напоминающую мою любимую маму, были дикой фантазией. Она была маленькой, худощавой, с желтым, как пергамент, лицом в морщи-

нах, с быстрыми умными глазами, в простом элегантном платье и громадной шляпе бирюзового цвета на очень черных (крашенных?) волосах. Датский дог черного цвета сидел у ее ног. Ничего не было здесь от мечтательной, мягкой красоты моей мамы, ее застенчивости, бархатного взгляда. Передо мной была царственная вдова знаменитого архитектора, президент и продолжатель его дела, с быстрым, кошачьим взглядом светло-карих глаз, напоминавшим куда более быстрый взгляд моего отца...

Она улыбалась мне. Мое имя было пропето снова и снова, она протянула ко мне руки и прижала меня к своей груди.

Меня повели в коттедж для гостей, где все было исполнено вкуса и роскоши — по сравнению с пуританским Восточным побережьем. Еще одна хорошо одетая женщина показала мне маленькую очаровательную кухню, и сказала: «Вы всегда можете здесь пить кофе. Отдыхайте, устраивайтесь. Возможно, вам захочется немного погулять. Миссис Райт будет вас ждать к обеду в ее доме, коктейли — в большой гостиной».

И меня оставили одну с моими первыми впечатлениями. Я не видела ничего подобного возле Принстона, Нью-Йорка или Филадельфии. Это был иной мир.

Позже пришла Иованна осведомиться, привезла ли я с собой вечерние платья, как она мне писала. Нет — я просто не смогла найти ничего подходящего в известных мне лавках Принстона. «Но у нас официальный прием по субботам! — настаивала Иованна. — Я принесу вам свои платья, мы как будто одного размера», — решила она вдруг и быстро ушла, не дав мне возможности ответить. В Америке

я привыкла, что никто не обращал внимания на костюм, и «маленькое черное платье» подходило и к Карнеги-Холлу и к обедам, куда меня приглашали. Никто никогда не давал мне советов, и хозяйки всегда настаивали: «Приходите в том, в чем ходите всегда». Здесь же особое внимание обращали на одежду. Ну что ж, это занимательно!

В моей спальне появилось несколько ярких созданий из шифона и шелка. Это были очень дорогие платья, сшитые для «специальных случаев». Я пошла на сегодняшний обед в своем коротком светло-зеленом платье и черных туфлях. За мной был прислан «эскорт», чтобы сопровождать в большую гостиную.

Дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах, все увешанные драгоценностями и блестящие, как рождественские елки, собрались возле горевшего камина. Вошел высокий, темноволосый человек и нас представил: «Светлана, — это Вэс. Вэс, — это Светлана».

Мне следовало вспомнить, что вдовец той Светланы все еще жил здесь, что он был одним из архитекторов и старейших учеников Райта. Но его не было среди всех писавших и приглашавших меня, и я забыла о его существовании. Я взглянула на его песочного цвета смокинг, на фиалковую рубашку с оборками, на массивную золотую цепочку с кулоном — золотая сова с сапфировыми глазами — и подумала: «О, Боже». Но его лицо было строгим и исполненным достоинства, глубокие линии прорезывали щеки — как у Авраама Линкольна. Он был спокоен и даже печален, выглядел лучше всех остальных, напоминавших каких-то ярких райских птиц, сидел спокойно и естественно. Мне понравилась его сдержанность. Только однажды вдруг я за-

метила внимательный взгляд очень темных глаз, пристально разглядывавших меня, но он тотчас же отвел глаза, продолжая сидеть молча. Он казался одиноким и печальным.

Мы расселись, и я подумала, что все это напоминает фантастическую пещеру где-то в центре земли. Хозяйка рассадила всех сама, и Вэс оказался справа, рядом со мной. Нас было около восьми человек — узкий круг верхушки «Товарищества Талиесин» (как я узнала позже). Этот прием был дан в мою честь, как почетного гостя. Все это было занимательно, но я чувствовала себя не на месте.

Когда я наливала себе в тарелку острый мексиканский соус «Сальза Брава», я вдруг услышала моего соседа, не произнесшего до сих пор ни слова: «Этот соус очень острый!». Я ответила, что это не страшно, так как мне знакома кавказская кухня, столь же острая и перченая. Голос моего соседа был низкий и тихий, и он ничего больше не сказал.

Разговор за столом вела хозяйка, наблюдавшая за каждым своими быстрыми глазами. Она задавала тон всему, иногда шутила, и каждое ее слово присутствующие слушали с молчаливым почтением. («Совсем, как за столом у моего отца, — подумалось мне. — Как глупо было вообразить, что хоть что-либо здесь могло напомнить мне маму! Ничего, билет на Сан-Франциско у меня уже есть».)

«Я так рада, что Вэс и Светлана наконец встретились!» — произнесла хозяйка, со значительностью подчеркивая наши имена. Все смотрели на нас двоих. Значит, меня пригласили сюда для этого? Значит, все готовилось для этой встречи? Следовало бы мне быть более прозорливой насчет планов этой умной хозяйки. Но я была беспечна. Мне было все равно. Я медленно погружалась в незнакомую мне

атмосферу роскоши и тонкого вкуса. Я просто решила понаслаждаться немного всем этим, еще несколько остававшихся дней. Я не чувствовала, что мне что-либо грозит, и крепко спала в своем коттедже, до дверей которого меня снова сопровождал «эскорт».

Наутро Вэс пришел рано и объявил о том, что миссис Райт прислала его, чтобы показать мне всю территорию Талиесина, а потом также и город Скоттсдэйл. Мы обошли весь кампус, спланированный Райтом посреди пустыни как причудливый оазис, построенный из здешнего камня. Массивные низкие постройки с плоскими крышами, везде — горизонтальные линии, тяжелая каменная кладка, толстые стены и очень маленькие окна и масса зелени. Райт боготворил Землю, ее цвета, традиции Пуэбло и Наваха — эстетику искусства американских индейцев. Он хотел восславить индейскую адобу, противопоставляя ее белым домикам пуритан Восточного побережья.

Как-то мы пошли вдвоем в ресторан, и в тот вечер я задала ему немало вопросов. На этот раз он заговорил. Он хотел рассказать мне все сразу — о женитьбе на шестнадцатилетней девушке, об их детях, об их счастливой жизни вместе. Он говорил о той ужасной автомобильной катастрофе, в которой погибла его жена, беременная третьим ребенком, и о том, как их двухлетний сын погиб тоже. Боль и ужас были все еще живы, как будто с того дня не прошло двадцати пяти лет. Мы оба рассказывали друг другу о своих жизнях, как старые друзья. Ресторан закрывали, мы были последними его посетителями. Это был чудесный вечер.

Я вдруг как-то сдалась, полностью попав во власть неизбежного, что и было тайным желанием

моей хозяйки и всех этих людей вокруг. Брак, самый обыкновенный брак, семья, дети, все то, чего я всегда так желала с юности, и что никогда не получалось. Теперь, в возрасте сорока четырех лет, я даже боялась мечтать об этом, не то, что сделать еще одну попытку. Но что-то было в этом человеке такое печальное, что сострадание к нему перевешивало все остальные разумные соображения. И с этой жалостью пришло чувство готовности сделать все что угодно для него — а это и есть любовь. Он не хотел легкой связи, он хотел брака, и эта серьезность привлекала еще больше.

Через неделю мы поженились, — всего лишь три недели после моего приезда сюда, — и не скрывали своего счастья. Множество гостей съехалось на свадьбу, друзья миссис Райт и Баса. С моей стороны я позвала только Алана Шварца, младшего партнера фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст» (который был лучше, чем все остальные, и долгое время поддерживал со мной дружбу, я была долгое время открыта с ним и с его женой). Сначала он был поражен, но потом присоединился ко всеобщему ликованию.

«Моя дочь — Светлана!» — так представляла меня каждому из своих гостей миссис Райт. Я чувствовала, что было что-то искусственное в этом отождествлении двух совершенно разных характеров. К тому же погибшую мою тезку все помнили такой молодой. Я боялась, что не смогу повторить ее образ — то, чего все от меня здесь так ждали. Но теперь было поздно думать и сомневаться. Я просто старалась быть естественной, радоваться со всеми и следовать желаниям этого человека.

Нас засыпали цветами, письмами, пожеланиями счастья, подарками всех видов. Что-то было от вол-

шебной сказки в нашей встрече. Те дни никогда не забудутся, даже когда позже пришли иные чувства и другие события. Я не могу стереть из памяти весну 1970 года. Мне лишь хотелось знать, чувствовал ли Вэс то же, что я: но этого я не могла знать. Он оставался молчаливым, как обычно, и никогда не говорил о своих чувствах ко мне. А мне это даже нравилось.

Он казался счастливым, по крайней мере, в продолжение первых месяцев после свадьбы. И только однажды, когда нашей Ольге было уже несколько месяцев от роду и мы теплой компанией сидели в доме его друзей в Висконсине, он сказал: «Ты вернула меня к жизни. Я был мертв все эти годы».

Я поразились. Это было намного больше того, что я когда-либо слышала. Больше, чем я могла пожелать.

Через два или три дня после свадьбы миссис Райт позвала меня в свою комнату. Она выглядела серьезной и озабоченной. Я не знала, к чему готовиться.

«Вэс всегда страдал от одной слабости, — начала она. — Он тратит деньги совершенно бездумно, следуя какому-то внутреннему побуждению, и мы все ничего не можем с этим поделать. Он всегда держит много кредитных карточек и покупает всем подарки. Он постоянно дарит, всем драгоценности, предметы искусства, дорогую одежду, и, кажется, — он не может остановиться. Сейчас у него колоссальный долг, и, если он не выплатит его, ему придется объявить банкротство. Он продает свою ферму в Висконсине, которая ему очень дорога как память: его мать жила там, его дети и моя Светлана жили там многие годы. Мы не можем спасти его от долгов, так как это повторяется с ним снова. Вам при-

дется следить за ним, чтобы этого не повторилось! Моя Светлана всегда страдала от этого».

Итак, я выплатила его долги, потому что мы были теперь едины. Это было моим свадебным подарком ему. Я сделала это с радостью и с надеждой, что он никогда не пустится в ненужные траты. Я также выкупила его ферму, потому что это был теперь маленький кусочек нашей общей, семейной собственности. Не какие-то там архитектурные причуды, а простой старомодный сельский дом среди лесов и полей. Не было такой силы на земле в те дни, которая остановила бы меня от помощи мужу и моему пасынку, молодому человеку 30-ти лет. Я стала на путь семейственности и хотела залечить все раны, полученные этой семьей раньше.

Вскоре после того как мы поженились, я попросила моих адвокатов в Нью-Йорке, в чьих руках были все деньги, перевести мой личный Фонд в Аризону. (Благотворительный Фонд Аллилуевой оставался в Нью-Йорке). Адвокаты были возмущены и напуганы моим требованием. Но — любовь не знает полумер: я была целеустремленна на спасение своего мужа. Адвокаты согласились, и вклады были переведены из банка Бейч и К в Нью-Йорке в Вэлли-банк в Аризоне. Мы немедленно открыли объединенный счет.

Все свободное время — когда таковое случилось — он проводил в магазинах. Мы не посетили ни одного интересного памятника, музея, галереи, ни старых миссий в Сан-Франциско... Мы только носились из одного магазина в другой, всегда выходя с множеством покупок. Я никогда не видела, чтобы мужчина так любил лавки, как это обожают женщины! Вэс часто выбирал платья для меня: он считал, что мой пуританский вкус должен быть забыт. Я же

пыталась оставаться в своей «традиции незаметности». У нас теперь был общий счет в банке, и мы тратили с каким-то безумством, покупая одежду, драгоценности, обувь — не только для себя, но и для других... Мне казалось, что скоро мы окажемся в тех же долгах, которые мы только что выплатили. Но привычку Вэса было невозможно преодолеть. Он любил жить, следуя годами установившемуся шаблону.

Его жажда к красивым вещам — вышивкам, резному камню, особенным ювелирным изделиям, необычным вечерним платьям (которые его жена должна была носить) была какой-то детской, как будто ребенок вдруг очутился в игрушечном магазине своей мечты. Зная, каким безденежьем страдали все в Товариществе, он покупал платья для «девочек», часы для «мальчиков», не обходя никого. Может быть, он чувствовал тайную вину пред ними, оттого что он имел теперь все, что хотел? Я не препятствовала его щедрости, хотя мне, выросшей среди весьма «мужественных мужчин», казалось странным такое увлечение тряпками и безделушками. Это был новый для меня мир художников, кому нужна красота и гармония во всем. Это был совершенно незнакомый для меня образ жизни, а мне всегда нравилось узнавать новое.

Любимым отдыхом для Вэса были многолюдные коктейли у местных богачей. Он знался только с богачами, и только их приглашали в Талиесин. Никаких бедных артистов. Никаких застенчивых интеллектуалов. Только те, кто имел деньги, а потому и власть, были представлены здесь. «Зачем меня так зазывали сюда? — часто думала я. — Для чего я была нужна им? Для чего?»

Я была все еще влюблена и не могла дать прямой ответ: из-за денег.

Наша Ольга Питерс родилась в небольшом местном госпитале в Сан-Рафаэле, в прекрасном маленьком городке, основанном францисканцами в XVIII веке. Все было легко и счастливо, ребенок был здоровый и сильный, и единственное, что огорчило меня, это отсутствие Вэса, которого мы не смогли разыскать, когда нужно было ехать в госпиталь... Профессор Хайакава сам отвез меня туда.

А когда дочка родилась, Вэс, всегда обожавший «паблисити», привел в госпиталь целую бригаду с телевидения, — совершенно разозлив этим доктора, а также и меня. Но он сам так наслаждался! «Кто-то остановил меня на улице и поздравил с новорожденной!» — говорил он в восхищении и с гордостью, как это говорят молодые отцы первого ребенка... Он был рад, и это была искренняя радость. Но, конечно, мы не избежали и злобных политических писем от русских эмигрантов. А какие-то ханжи (неподписанная анонимка) даже написали так: «Как это ужасно — в вашем-то возрасте!»

Когда у них уже было двое детей, Вэс спроектировал дом для семьи, совсем рядом с Талиесином, на соседнем холме. Однако миссис Райт запретила такое «отделение от Товарищества». Дом остался только в чертежах.

Примерно в это время, уже ожидая третьего ребенка, Светлана с двумя сыновьями вела свой джип по дороге в Спринг-Грин, как вдруг джип потерял управление, и покатился под откос сельской дороги. Она погибла, и двухгодичный Даниэль тоже. Старшего мальчика выкинуло из машины, он ударился, но уцелел. Однажды, вспоминая эту историю, я остановилась возле Часовни Джонсов, где была похоронена Светлана и стала искать ее могилу. Найдя ее, я была потрясена: на могильном камне

было написано мое имя — «Светлана Питерс». Маленький Даниэль был похоронен вместе с нею. Моя Ольга была так похожа на него! Я похолодела. По дороге домой я вела машину с особой осторожностью.

Безусловно, я давно знала, что у нас одинаковые имена. Но эта странная встреча на кладбище с той, чью роль меня взяли исполнять, была для меня, как предупреждение. С тех пор я опасалась проезжать вместе с Ольгой по той самой дороге. У меня была теперь «идея фикс», комплекс, и я ничего не могла поделать с этим. И потому что я была здесь, чтобы повторить жизнь этой женщины, стать женой ее мужа, мне, возможно, было не миновать такой же трагической развязки... И, возможно, даже моей дочери, тоже.

После Рождества 1971 года Ольга и я въехали в наш новый дом, зарегистрированный на имя мистера и миссис В. В. Питерс.

Памела продолжала приходить и сидеть с Ольгой. Здесь было так спокойно! Я сразу успокоилась, как только исчезли эти вечные посетители вокруг, туристы и принудительная «общность» в сущности таких разных людей, собранных в какой-то детский сад для взрослых. Но Вэс остался в Талиесине. Он был глубоко уязвлен моим желанием выехать, и после того как мы переехали, он дал волю своим горьким чувствам и словам. Он знал, что его всегда ждали, что двери были открыты для него в любое время дня и ночи, но он бывал очень редко с нами...

Местная пресса, конечно, узнала «новость» первой о том, что мы купили дом и живем в разных местах. Через несколько месяцев нашего мирного житья в Тенях Горы — как романтично назывался наш поселок в Скоттсдэйле — у моих дверей появился

утром местный журналист. Несмотря на ранний час, я была чрезвычайно вежлива, хотя и осталась босиком в кухонном утреннем балахоне. В те времена я все еще верила, что если говорить с журналистом искренне, он все так и расскажет публике. (Роковое заблуждение!) Я не пустила, однако, его в дом, и мы разговаривали через сетчатую дверь. Заглядывая в дом через мое плечо и пытаясь разглядеть, кто там и что там, он с поддельным изумлением спросил: «Но почему вы здесь?» Я ответила ему, что «это наша с мистером Питерсом частная резиденция».

Но он уже слышал что-то иное. «Вы живете раздельно? Вы подаете на развод?» — тараторил он. — «Конечно, нет! Я только отделилась от коммунальной жизни в Талиесине».

Этот мой ответ был немедленно сообщен в местные газеты, и начались звонки без перерыва. Талиесин уже выдал свою версию: «Они разделились, и ее муж желает теперь только развода». Не знаю, чьи это были слова, но мне было пока что неизвестно о таком желании моего мужа.

Доктор Х., известный в Финиксе специалист по проблемам брака, был пожилым человеком с приятными спокойными манерами. Он выслушал мою долгую историю полностью, начиная с самого детства. Он был тактичен, внимателен и умел слушать. Потом он вызвал Вэса, ожидая такой же искренности. Потом — опять меня. И таким образом, несколько раз. Каждый раз он беседовал с каждым из нас в отдельности. Мы не общались между собой в это время.

Затем он изложил передо мною свои заключения. Они были ничуть неутешительны. Он сказал, что он убедился в следующем: в то время как жена ищет компромисса, чтобы сохранить семью, муж заинтере-

ресован только в том, чтобы скорее «выбраться» из этого брака. «Мне жаль это говорить, — сказал он, — но я не смог уловить ни тени сомнения в нем — он хочет освободиться. Я думаю, он был вполне искренен и честен насчет своих чувств».

Однажды поздно вечером я просто не могла больше сопротивляться, села в машину и поехала к Талиесину. Было уже темно, и я остановилась вдалеке от входа. Я знала, как пройти задом к нашей комнате и террасе, смотревшей на дорогу, и никто не увидел бы меня. В это время все обычно находились в своих комнатах, уставшие от долгого дня работы. Я тихо прокралась из сада по нашей террасе и приблизилась к стеклянной двери, ведущей в дом.

Мое сердце упало. Все было в том же порядке, как я оставила, все здесь — старинное оружие на стене, иранская средневековая сабля, подвешенные растения, книги, друзы и другие минералы — все, что Вэс любил видеть вокруг себя. Я тихо прошла по гостиной и увидели Вэса, сидевшего в шелковом халате, босиком, спиной ко мне. Он смотрел телевизор и не шевелился, совсем, как камень. Тогда я подошла ближе, коснулась его плеча рукой, и слезы полились из моих глаз.

Он встал с таким же точно лицом, как когда я увидела его в первый раз: печальным, с глубокими вертикальными складками вдоль щек. Он был бледен, уставший, и не мог найти слов. «Ты должна уйти, — сказал он, боясь, что кто-нибудь увидит меня. — Ты должна... Ты должна...»

Вокруг никого не было. Только яркие звезды мерцали на черном небе. Мы долго молчали».

МУЗА НЕ ЗНАЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА В ЛЮБВИ

Жизнь второй жены Федора Раскольникова была полна драматических событий: смерть горячо любимого маленького сына, смерть первого мужа. Она была беременна второй раз, родила девочку и осталась одна в чужой стране с грудным ребенком на руках. От агентов НКВД постоянно исходила угроза. Потом война — приходилось прятаться вместе с еврейскими детьми в маленьком французском замке от фашистов. Но все свои лишения Муза Раскольникова воспринимала через призму того счастья, которое ей удалось пережить со своим первым мужем — Федором Раскольниковым (второй ее муж был французом). Она даже думала, что все горе, которое ей пришлось пережить — своеобразная расплата за счастье. Главное, что отмечала муза Раскольникова в своих мемуарах — ей не пришлось пережить разочарования и предательства в любви. А ведь это так страшно, когда тебя предает любимый человек... В момент все теряет свой смысл. Женщина, которую предали, уже никогда не станет прежней — искренней, веселой, открытой. Пережитое предательство всегда будет с ней в ее подсознании, и не помогут никакие психоаналитики. Кто не пережил предательства, тот не знает. Пожалуй, среди современных женщин так мало

тех, кто не знал предательства в любви, не так ли?

Федор Раскольников — имя, которое незаслуженно забыто потомками. А между тем он был настоящим героем-революционером, талантливым публицистом, удивительно тонким и чутким человеком. Его первая жена — Лариса Рейснер умерла очень рано. И ее место долго оставалось свободным. Трудно было отыскать женщину, сумевшую бы заменить ее. В этой женщине гармонично сочетались ум, красота и талант. Но время — заботливый лекарь: залечивает любые раны. И вот в жизни Раскольникова появляется новая женщина — Муза. Она моложе его ровно в два раза, но это не мешает рождению поистине прекрасного и редкого по чистоте чувства. Они проживут вместе богатую на события, увлекательную жизнь: дипломатическая работа в Эстонии, Италии, Швеции, Болгарии, путешествия. Вместе Муза и Федор отопьют из чаши презрения и ненависти. Раскольникова объявят врагом народа, и они навсегда потеряют родину. Имя Федора до 1963 года будет забыто и вычеркнуто из всех учебников по истории. Но юная Муза еще ни о чем не догадывается. Она учится в Плехановском институте, общается с подругами, живет обычной жизнью студентки.

Однажды ранней весной Муза вернулась с занятий, поужинала и приготовилась лечь спать, как вдруг к ней зашел Гейнц Нейман и уговорил пойти на вечеринку в грузинское посольство. Грузинским представителем был в то время Орехалашвили — истинный грузин: веселый, гостеприимный. Он умел поддерживать на празднике легкую, непринужденную, дружелюбную обстановку. Муза была знакома с ним. В тот вечер она чувствовала себя уставшей но, через силу поехала с Гейнцем. По дороге

он сообщил ей, что сегодня на вечеринку приглашен Раскольников. Сердце Музы екнуло: неужели она вот так запросто сможет пообщаться с прославленным героем революции? Молодежь того времени искренне восхищалась такими людьми. Комсомольцы зачитывались книгой Ларисы Рейснер о ратных делах Волжско-Каспийской военной флотилии, которой командовал Раскольников.

В тот вечер грузинское посольство собрало у себя довольно большое количество людей. Было много иностранцев: из КИМа и Коминтерна. Блюда издавали пряный аромат грузинской кухни, в качестве напитков гостям предлагали кахетинское и напареули. Муза села между Бессо Ломинадзе и красивым, интеллигентным незнакомцем. Девушка ждала приезда Раскольникова. Она несколько раз обвела взглядом присутствующих и, наконец, решилась спросить у Ломинадзе: «А Раскольников разве не приедет?» Бессо как-то странно усмехнулся и уклонился от ответа. Сосед же слева, напротив, живо откликнулся, он спросил Музу, как она представляет себе Федора, и не дождавшись ответа, сам описал его как высокого, плечистого, усатого богатыря. Ломинадзе, внимательно слушавший их разговор, не удержался от смеха, и тут Муза поняла, что беседовавший с ней человек с открытым, приветливым лицом, синими глазами и аристократичными манерами и есть сам Раскольников. Она не ступевалась, а, пользуясь тем, что беседа уже завязалась, постаралась получше рассмотреть его. Чем больше Муза присматривалась к Федору, тем сильнее поражалась. С виду он никак не походил на военного, наоборот был похож на дипломата, писателя. Как же ему удавалось, будучи таким интеллигентным, управляться с буйным сообществом кронштадтских матросов? Из книг она

знала, что Раскольников участвовал в боях на Черном море, сидел в английской тюрьме. Благодаря его усилиям англичане вернули все военное имущество, вывезенное ранее из Баку, лично Федором был разработан и осуществлен план спасения на Каме баржи с 452 рабочими. И это только малая доля того, что совершил этот человек.

Немного позже Муза поймет, какая огромная сила воли скрывалась в Федоре. Около полуночи Гейнц отвез Музу домой. Конечно, девушка не смела даже мечтать о каких-либо близких отношениях с Раскольниковым, он был для нее героем, и в этом смысле она им восхищалась.

Через несколько недель произошла другая, столь же неожиданная встреча. Муза решила навестить свою приятельницу — жену члена КИМа. Они жили в общежитии Коминтерна, занявшем здание бывшей гостиницы «Люкс». Вскоре к их милой компании примкнул Борис Вильямс — молодой человек с истинно британской выправкой и кембриджским акцентом (он работал по заданию Коминтерна в Индии, где выдавал себя за чистокровного англичанина). Посетовав на то, что у девушек нет ничего к чаю, Борис пригласил их к своему другу. Пообещав, что там обязательно найдется что-нибудь вкусненькое. Другом Вильямса оказался Раскольников. Федор немного удивился и вместе с тем обрадовался гостям. Тут же на столе появился кишмиш, привезенный им из Узбекистана. Молодые люди разговорились. Остроумный Вильямс веселил всех забавными историями. Рассказывал он весьма талантливо. Когда пришло время прощаться, Вильямс пошел провожать Зину, а Федор — Музу. Прощаясь, он попросил номер ее телефона. Уже через пару дней он пригласил девушку в театр. Муза была несколько

обескуражена — еще бы! — впервые настоящий мужчина заинтересовался ей. Поначалу она чувствовала неловкость, но простое, дружеское отношение к ней Раскольников вскоре сняло последние барьеры. Муза любила слушать его, ей нравилось его заботливое отношение к ней. Рядом с Федором она чувствовала себя защищенной. Они много говорили о его работе (на то время он был начальником Главискусства). Конечно, Федору нравилось работать в этой области, но несколько угнетало то, что многие пьесы приходится запрещать.

Время неумолимо бежало вперед. Настала пора зачетов. Муза с головой ушла в учебу и с Раскольниковым общалась больше по телефону. После экзаменов она уехала отдыхать в Краснодар. С Федором пришлось расстаться до осени. Хмурая московская осень развеяла последние воспоминания о лете. Муза вернулась домой, с тоской отмечая, что в столице ничего не изменилось: та же пустота в магазинах, хлебные карточки. В институт ей тоже не хотелось — год обещал быть тяжелым: сплошные лекции технического характера. Музу ничего не радовало. Она все больше времени проводила одна. Отец и мать были в отъезде, и ей приходилось коротать вечера в пустой квартире. В один из таких грустных, дождливых вечеров ей позвонил Раскольников. Она этого никак не ожидала. Конечно, он несколько раз писал ей в Краснодар, но письма были настолько дружескими и шутливыми, что заподозрить Раскольникова в нежной привязанности к Музе было невозможно. Девушка откровенно обрадовалась его звонку. Федор не мешкая пригласил ее в Большой зал консерватории. Муза пришла в восторг от этого приглашения. Она положила трубку и оценивающе взглянула на свое отражение в зеркале — ее тусклые

грустные глаза и лицо обрамляли выгоревшие, похожие на солому волосы. С этим надо было что-то делать. На следующий день Муза уже сидела в парикмахерской. Оттуда она вышла аккуратно постриженной и со слегка покрашенными ресницами. Девушка была готова к встрече с тем единственным человеком, который мог принести радость в ее жизнь. Они снова стали часто встречаться, ходить вместе на концерты, в театры. Жизнь Музы постепенно вошла в нужное русло. С Раскольниковым все ее беды отходили на второй план. Федор делился с ней своими литературными замыслами, рассказывал о новых книгах. Он познакомил ее с членами литературно-артистического клуба «Кружок». Среди них был актер Юрьев, умевший мастерски рассказывать истории. Познакомилась она и с Пильняком, Ивановым, Романовым. Раскольников любил расспрашивать Музу о ее планах на будущее. С ним девушка чувствовала себя настолько раскованно, что могла излить любую тревогу. Он понимал ее и умел поддержать в нужную минуту. Холодным ноябрьским вечером они возвращались домой с концерта. Душу Музы грели услышанные мелодии. В воздухе кружились первые снежинки, они падали на лоб, нос и таяли, превращаясь в невесомые прозрачные капли. Вот уже и дом Музы. Федор неожиданно задержал ее руку в своей и просто сказал: «Муза, будьте моей женой». Девушку захлестнула волна растерянности и смущения. Она едва нашла в себе силы, чтобы пролепетать нечто вроде: «Я не знаю, это так неожиданно!» Раскольников дал ей время прийти в себя и подумать.

Они продолжали встречаться, но в душе Музы уже бушевали песчаные бури Сахары, теперь она знала, что Раскольников смотрит на нее не просто как на

друга — она интересна ему как женщина! Все это, конечно, льстило ее самолюбию, но в то же время она боялась что-либо поменять в своей жизни. Боялась расстаться с чем-то знакомым, близким и шагнуть в совершенно неведомую жизнь. Она боялась стать взрослой. Но как бы она ни опасалась всего этого, мысль отказать Раскольникову даже не приходила ей в голову. Федор очаровал ее, окружил заботой, вниманием, она растворялась в его нежных глазах и ласковых словах. Не прошло и месяца, как Муза поняла, что любит Раскольникова со всей страстью юношеского сердца. Родители девушки были не против их брака, хотя маму смущало то, что Федору уже 38 лет, а Музе — 19. Но как раз это обстоятельство меньше всего беспокоило саму девушку. Никого моложе в роли жениха она и не представляла. Приближалась премьера инсценировки романа Льва Толстого «Воскресение». Сценарий написал Раскольников. Муза, конечно же, была приглашена. Она сшила у портнихи супермодное платье из серебристого шелка, заказала у нэпмана черные туфли на высоком каблуке и отправилась в театр. Во время спектакля она сидела рядом с Раскольниковым, и он представил ее всем как свою невесту. Пьеса имела большой успех и десятилетиями не сходила со сцены. Когда Раскольникова объявили врагом народа, «Воскресение» продолжало идти на сцене Художественного театра, но с афиши исчезло «презренное» имя. В декабре Федор и Муза сыграли свадьбу. В узком кругу родителей и близких друзей они отпраздновали это событие. Муза переселилась в «Люкс» к Раскольникову. Там они разместились в двух небольших комнатах. В их распоряжении был умывальник, примус, несколько тарелок, платяной шкаф, маленький комод и несколько сундуков. Ванная была одна на этаж, и ее приходилось заказывать

по утрам у горничной. Но там они прожили недолго. Вскоре Раскольникову предложили пост полпреда в Эстонии. Он пришел посоветоваться с Музой. Конечно, молодая жена была в восторге от этого предложения и пообещала, закончив институт, непременно приехать к нему. Как Раскольников ни пытался уговорить ее оставить занятия и поехать с ним немедленно, Муза стояла на своем. Обоим им было очень тяжело расставаться. Перед самым отъездом они побывали на обеде у эстонского посланника Сельямаа. Раскольников мгновенно расположил к себе посланника и его жену удивительным знанием эстонской культуры, литературы, истории. Муза немного нервничала — это было ее первое знакомство с капиталистическим миром. И оно оказалось весьма приятным. Назначение Раскольникова в Таллинн было встречено эстонской стороной с недоверием, еще не забылся коммунистический путч 1924 года, явно инспирированный Москвой, а тут вдруг новый посланник — знаменитый революционер, герой гражданской войны.

Вот что писал сам Раскольников жене. «Я вынужден, Музочка, обратиться к тебе с просьбой о твоём скорейшем приезде сюда не только из эгоистических побуждений, но и с точки зрения дела. Ты знаешь, с каким предубеждением я был здесь встречен. Только начал таять лед, как произошло убийство начальника Ревельского гарнизона. Мое положение до чрезвычайности затруднилось. Мне прямо до зарезу необходим твой приезд, чтобы ты смогла своим обаянием несколько разрядить атмосферу. Если бы тебя не было, тебя нужно было бы выдумать... Я хочу, чтобы ты была жена-друг, жена-помощник, жена-соратник... Милая, неужели ты мне откажешь?.. Ты не представляешь, как сильно ты мо-

жешь облегчить здесь мою работу... Я получаю кучу дурацких угрожающих писем. На днях какая-то террористическая организация вынесла мне смертный приговор и прислала по почте, в отдельном конверте, петлю. Это ерунда, которой, пожалуйста, не придавай значения. Если будут стрелять — промахнутся...»

Муза забеспокоилась, тем более, что за границей уже погибли несколько полпредов: Воровский в Лозанне, Бойков в Варшаве. Она решила ехать, как только будет готов паспорт. Из сводки таллиннской прессы Муза узнает, что западная общественность связывает убийство генерала Утня с приездом в Эстонию Раскольников. Парижская газета «Возрождение» отмечала: «...печать единогласно обвиняет большевиков в преступлении». В сердце Музы поселилась тревога — она корила себя за то, что не поехала с мужем сразу, не оказалась в трудную минуту рядом. И вот неожиданно ранним майским утром в ее комнату постучало счастье — вернулся Раскольников. Они старались не расставаться ни на минуту. Федор провожал ее в институт, встречал после экзаменов. Если он отлучался из дому по неотложным делам, Муза, возвратившись после занятий, находила нежное, полное любви послание. Она чувствовала себя счастливейшей из женщин. Судьба ей позволила искупаться в любви, чуткости, нежности, исходившей от человека, которого она тоже горячо любила.

Муза вспоминает: «...появление Раскольникова в моей жизни имело огромное значение, и мой отъезд с ним за границу спас мою жизнь и не дал жутким, нечеловеческим условиям существования в СССР в те годы сломать мою душу». Раскольников увез свою избранницу сначала в Эстонию, затем Да-

нию, Болгарию, Францию. Все время их совместной жизни Раскольников относился к ней как к равной, он видел в ней подругу и безгранично доверял. Муза была в курсе всего, что случалось в его дипломатической работе. И это налагало на нее определенную ответственность.

Вот как она сама пишет в своих воспоминаниях: «Жить с Раскольниковым было одновременно и легко и трудно. Легко, потому что он был необыкновенно внимательным, нежным, потому что он принадлежал к той редкой категории людей, которые действительно уважают личность и свободу живущих с ними. Трудно, потому что с ним невозможно было жить в обыкновенном житейском плане: нельзя было распускаться, жить кое-как, со дня на день». Федор умел оставаться мужчиной в любых ситуациях. Даже в самые трудные времена он не позволял себе ничего, что могло бы нарушить гармонию их совместной жизни. Так было до самой его смерти.

Музе повезло больше. Она осталась жить, пережила своих мужей. После смерти первого мужа на пути Музы Раскольниковой встречались мужчины, которые никогда не предавали ее и не оскорбляли ее достоинства.

ЧАСТЬ II

СВОБОДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Существует расхожее мнение, что женщины-революционерки все были «синими чулком» и не имели никакой личной жизни.

Из многочисленных источников известно, что как раз наоборот. Именно от упорядоченной, регламентированной определенными правилами жизни уходили они в революцию. А многие из них стремились к революции сексуальной.

Такие женщины бросали дом, семью, попадали в революционную среду, где обретали новую жизнь и новую любовь.

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА ИЛЬИЧА

Женщины-революционерки совсем не обязательно были скучными особами. Они находились в постоянном поиске. Да только не все нашли. А вот Инесса Арманд нашла себе такого мужчину... Мне даже трудно писать об этом. Ведь с детских лет я привыкла видеть его скульптуры и бюсты. Можно ли заниматься любовью со статуей? Это теперь кажется, что Ленин — это забальзамированный труп в Мавзолее и бесчисленное множество каменных изваяний. А ведь было время, когда он был живым из плоти и крови, и была у него любимая женщина — Инесса Арманд.

Инесса родилась в Париже 8 мая 1874 года. Ее родители — Теодор Стефан, француз, оперный певец, и Натали Вильд, шотландка, актриса, а потом учительница пения. Отец Инессы умер рано, оставив вдову без средств. Девочку воспитала тетка, сестра матери, учительница музыки и французского языка. Она-то и увезла маленькую Инессу в Москву, где преподавала в богатых домах. Она ввела юную, прелестную парижанку в дом Армандов. Семья эта отличалась радикальными взглядами, интеллигентностью. Там всегда собиралось много молодежи. С Инессой, яркой, впечатлительной, одаренной, быстро установились дружеские отношения. Тетка дала ей хорошее образование — домашнее, что считалось тогда наиболее подходящим для девушки; Инесса блестяще владела тремя языками: русским, французским, английским; виртуозно играла на рояле. Словом, девушка незаурядная. Удивительно ли, что ее полюбил молодой Александр Арманд, сын и наследник главы дома. В семнадцать лет Инесса сдала экзамен на звание домашней учительницы, в девятнадцать — вышла замуж. Александр Евгеньевич, ее муж, человек по натуре мягкий, обаятельный, увлекался в ту пору земской деятельностью и благотворительностью. Он вовлек Инессу в сферу своих интересов: вместе обдумывали всяческие хозяйственные преобразования, организовали школу в своем подмосковном имении Ельдигино, вместе участвовали во всякого рода филантропических обществах... Безмятежное, благополучное житье-бытье... Пошли дети. И с рождением первенца — сына Саша — связан «раскол» в, как будто бы устойчивом, мировоззрении молодой госпожи Арманд. Она была очень религиозна. А тут столкнулась с тем, что православная вера запрещает роженице в течение

шести недель посещать церковь. Нелепый запрет взволновал и возмутил Инессу.

Но кто же, собственно говоря, «увел» ее в революционный стан? Кто, при каких обстоятельствах превратил «сочувствующую» даму из высшего общества в профессионального революционера? На это ответила в автобиографии сама Инесса Федоровна: «С 1901 года стремилась к революционным организациям и в 1902 году познакомилась с некоторыми представителями с.-д. и с.-р., которым оказывала некоторые услуги и которые со своей стороны снабжали (меня) нелегальной литературой, тогда еще весьма скудной.

В 1903 году попала за границу, в Швейцарию, и после короткого колебания между эсерами и эсдеками (по вопросу об аграрной программе) под влиянием книги Ильина «Развитие капитализма в России», с которой впервые познакомилась за границей, становлюсь большевичкой».

Ильин была в то время партийная кличка Ленина. Вот кто, оказывается, «привел» Инессу в революцию. Ведя партийную работу в районах Москвы и в Пушкино, Инесса Арманд быстро проходит «первоначальный курс» обучения — овладевает искусством конспирации, техникой революционного подполья, умением работать в массах. Вслед за тем наступает пора «тюремных университетов».

Впервые она была арестована 6 февраля 1905 года. «Отсидки», выходы на волю, снова энергичная партийная работа и снова тюремная камера — общая или одиночная, в зависимости от произвола жандармов. Надо ли говорить, что тюремный воздух отнюдь не укрепил здоровье молодой женщины. Но зато укрепил волю. В этой связи интересно письмо Инессы Арманд. Написано оно значительно

позже первых арестов — в эмиграции, в Швейцарии, и адресовано старшей дочери Инне. Ведя разговор с дочкой, мать признавалась: «Скажу про себя прямо — многие жизненные передрыги, которые пришлось пережить, мне доказали, что я сильная, и доказали это много раз, и я это знаю. Но знаешь, что мне часто говорили, да и до сих пор еще говорят: «Когда мы с вами познакомились, вы нам казались такой мягкой, хрупкой и слабой, а вы, оказывается, железная...» И неужели на самом деле каждый сильный человек должен быть непременно жандармом, лишенным всякой мягкости и женственности, — по-моему, это «ниоткуда не вытекает» — выражение одного моего хорошего знакомого. Наоборот, в женственности и мягкости есть обаяние, которое тоже сила».

Вернемся к первому этапу эмигрантской жизни Инессы Арманд. К тому времени, когда она, бежав из Мезени, после ряда злоключений обосновалась в Брюсселе. Этот год был посвящен главным образом учению. Поступив в университет, Инесса изучает социальные и экономические науки. За один только год был пройден университетский курс, с отличием сданы выпускные экзамены и получен диплом лицензиата экономических наук.

Следует добавить, что позже, в Париже, Инесса слушала лекции в Сорбонне, да и вообще всегда и везде не упускала случая учиться. В один из коротких наездов из Брюсселя в Париж Инесса Арманд познакомилась с Владимиром Ульяновым. Заочно знала Ленина давно, но личное знакомство состоялось лишь в 1909 году. С той поры через всю свою жизнь Инесса, покоренная Лениным, пронесла любовь к нему. С той поры и до самого смертного часа существование Инессы было озарено лучами этого чувства. Как пи-

шет публицист Н. Валентинов в «Моих встречах с Лениным», еще в 30-е годы в издательстве «Bandiniere» появилась книга «Тайные любовные увлечения Ленина», написанная двумя авторами — французом и русским (первый, скорее всего, был только переводчиком). Впервые в виде статей она появилась в 1933 году в газете «Untransigent» («Независимая» — ежедневная газета, выходившая в Париже в 1880—1948 гг.). Книга рассказывала об интимных отношениях Ленина с некой Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В ней приводились даже письма Ленина к этой К., которые даже на глаз неспециалиста выглядели явной фальшивкой.

Н. Валентинов же считал (и это не было секретом для старых товарищей Ленина — Зиновьева, Каменева, Рыкова), что тот «был глубоко увлечен, скажем, влюблен в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии». Они часто и подолгу разговаривали. «Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки», — свидетельствовал французский социалист Шарль Раппопорт.

Ленин ценил в Арманд твердый характер, неистощимую энергию. «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту», — писал он ей 15 июля 1914 года. Он не мог не восхищаться ее блестящим знанием пяти языков, благодаря чему Инесса являлась его незаменимой помощницей на Циммервальдской, Кинтальской и других международных конференциях в годы мировой войны, на первых двух конгрессах Коминтерна после Октябрьского переворота. Огромное влияние на Ленина оказывала виртуозная игра на рояле Инессы Арманд. Н. Валентинов вы-

сказывает предположение, что отвергнутая Лениным Инесса, подсознательно желая вызвать у него ревность, присылает ему план брошюры о женском вопросе, в котором звучит требование «свободы любви». В письме от 17 января 1915 года Ленин советует это требование выкинуть, как «не пролетарское, а буржуазное требование». По его мнению, дело не в том, что понимает Арманд под «свободой любви»; «дело в объективной логике классовых отношений в делах любви». Инесса, судя по ленинскому письму от 24 января 1915 года, высказывает несогласие, не понимает, «как можно (так и написано!) отождествлять (!) свободу любви со свободой адюльтера». Тезис Ленина: «Буржуазки понимают под свободой любви «свободу» от серьезного в любви», «от деторождения», свободу адюльтера. Но у Ленина отличный от Арманд взгляд на «ту проблему: «...Вы, совершенно забыв объективную и классовую точку зрения, переходите в «атаку» на меня», — жалуется он. И далее: «Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно. Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?.. Казалось бы: поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещанский-крестьянский... пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью...

Близкая подруга Инессы по эмиграции большевичка Людмила Сталь дала ей такую характеристику: «Пренебрежение к материальным условиям жизни, внимательное отношение к товарищам и готовность поделиться с ними последним куском были основной чертой ее характера». К этому хочется добавить красочный рассказ рабочего-большевика Григория Котова, встречавшего Инессу в Париже: «Как сейчас вижу ее, выходящую от наших Ильичей. Ее темперамент мне тогда бросился в глаза... Казалось, жизни в этом человеке — неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции, и красные перья в ее шляпе являлись как бы языками этого пламени».

Зимой 1913 года. Инесса снова в Париже. Этому предшествовало, как мы помним, немало событий. Поездка на нелегальную работу в Россию, арест и «сидка» в петербургской предварилке, бегство за границу. Посещение Ульяновых, которые перебрались тогда из Парижа в Краков, чтобы быть поближе к родине. Участие в Поронинском совещании Центрального Комитета с партийными работниками... И вот — Париж. Не успела Инесса еще как следует обосноваться, а в очередном письме от В. И. Ленина среди других поручений прозвучал требовательный призыв: «Беритесь архиэнергично за женский журнал!» Создание нового большевистского журнала было тесно связано с краковскими «блонями» (осенью 1913 года в Польше Инесса совершала дальние прогулки по берегам Вислы, покрытым изумрудными душистыми лугами, по-польски их называют «блони»). И литературный псевдоним себе Инесса выбрала — Блонина.

...Парижское кафе на тихой улочке близ Больших Бульваров. Мраморный столик, бокалы лимонада,

чашечки со стынувшим кофе. Чернильница, газеты на палках-держалках, книги с закладками. Две женщины увлеченно работают в этом кафе — ведут какие-то записи, пишут письма, спорят... Эмигрантки-большевички Инесса Арманд и Людмила Сталь — члены заграничной редакции будущей «Работницы» — заняты подготовкой ее первого номера.

Посылая Инессе в Париж третий номер «Работницы», Ленин писал: «Хорошо ведь! Налаживается дело». А Латышев писал: «В годы мировой войны Ленин не написал никому так много писем, как Инессе Арманд. Следует отметить, что в секретном архиве Ленина хранится еще ряд неопубликованных писем. Кроме того, составители 48-го и 49-го томов полного собрания сочинений сделали многочисленные купюры, так что часть опубликованных ленинских писем к Арманд следует считать фальсификацией. Чем выделяются купированные места ленинских писем? Во-первых, изъяты абзацы, в которых Ленин особенно несдержан по отношению к своим соратникам по партии, а также те, в которых просматриваются его чувства к Арманд. Впрочем, и в уже опубликованных письмах к Арманд Ленин был более несдержан, чем в обращениях к другим адресатам.

Так, в одном из писем начала февраля 1916 года он писал: «Если Маша оказалась такой, то я лично очень рад, что эта сука отказалась идти в наш журнал». Или: «На такое говно, как Мергейм, не стоит тратить много времени: ясно, что безнадежно». В письмах к Арманд Ленин мог рассказать и какую-либо сплетню, например о большевичке Размирович, которую он называет «солдатской женой». «Здесь «солдатская жена» и ее новый любовник, — писал он 19 июля 1914 года из Поронино. — Это

и в «армии» в высшей степени глупо. Как-нибудь потом я хочу рассказать тебе почему». Ленин начинает письмо от 25 июля 1914 года (неопубликованное) с обращения: «Мой дорогой и самый дорогой друг, наилучшие приветствия в связи с приближающейся революцией в России». Интересно, что в этом письме он обращается к Арманд то на «ты», то на «вы». С началом же первой мировой войны он обращается в письмах к Арманд только на «вы».

В 1952 году умерла Александра Коллонтай, и в том же году на страницах парижского журнала «Prenves» опубликована беседа с ней француза Марселя Боди, который сотрудничал с Коллонтай в России в революционные годы, а затем под ее руководством работал в Осло. Коллонтай хорошо знала Арманд, переписывалась с ней, хотя отношения между ними не были безоблачными. Со слов Коллонтай, Боди сообщил, что Крупская, узнав о любви мужа к Инессе, причем от него самого, хотела «отстраниться», уйти, но Ленин не желал идти на разрыв с ней. «Оставайся», — просил он Надежду Константиновну.

Известны все апологетические описания внешности Инессы Арманд. А вот непредвзятое агентурное донесение в Московское охранное отделение из ленинской школы в Лонжюмо: «История социалистического движения в Бельгии — 3 лекции. Читала их эмигрантка Инесса, оказавшаяся очень слабой лекторшей и ничего не давшая своим слушателям. Инесса (партийный псевдоним, специально присвоенный на время преподавания в школе) — интеллигентка с высшим образованием, полученным за границей; хотя и говорит хорошо по-русски, но, должно думать, по национальности еврейка. Свободно владеет европейскими языками. Ее

приметы: около 26—28 лет от роду, среднего роста, худощавая, продолговатое, чистое и белое лицо; темно-русая с рыжеватым оттенком, очень пышная растительность на голове, хотя коса и производит впечатление привязанной; замужняя, имеет сына 7 лет, жила в Лонжюмо в том же доме, где помещалась и школа; обладает весьма интересной наружностью».

Агент кое в чем оказался не прав: Инесса — это подлинное имя Арманд, по национальности она не еврейка, а француженка по отцу (мать была шотландкой). И было ей тогда уже 37 лет. Не найдены письма Ленина к Арманд периода их близких отношений, которые, по-видимому, имели место короткое время осенью 1913 года. Очевидно, эти письма безвозвратно утеряны. Хронологически первое письмо Ленина к Инессе Арманд, опубликованное в полном собрании сочинений, датировано второй половиной декабря 1913 года. Некоторые первые опубликованные письма начинаются с отточий, со ссылками: «начало письма не разыскано», «рукопись имеется только с 3-й страницы». Не разысканы также заключительные фразы ряда писем. После смерти Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление, требовавшее от партийцев, которые хранили письма, записки, обращения к ним вождя, передать их в архив Центрального Комитета, т. е. с 1929 года практически в полное распоряжение Сталина. Только в мае 1939 года, после смерти Н. К. Крупской, старшая дочь Инессы Инна Арманд передала письма вождя к матери (многие с оторванными началом и концом) директору института Маркса — Энгельса — Ленина. Характерно, что впервые тщательно отобранные письма Ленина к Арманд были опубликованы в 1939 году, сразу же после смерти

Н. К. Крупской. И лишь через 10 лет, в 1949 году, журнал «Большевик» напечатал другие письма. Только в 1951 году — в 35-м томе четвертого издания сочинений — публикуются некоторые письма вождя, которые свидетельствуют, что Ленин и Инесса были столь близки, что до мировой войны обращались друг к другу на «ты». Имелась версия, что Сталин угрожал Крупской в случае ее малейшего неповиновения объявить официальной женой Ленина Инессу Арманд. Тем не менее теплые, если не восторженные воспоминания об Инессе Арманд оставила Крупская. В 1926 году она являлась редактором сборника «Памяти Инессы Арманд». Самозабвенно посвятив всю себя мужу, она после его смерти стремилась уберечь его личную жизнь от всяких криво толков. Детей же Инессы Арманд Крупская в своей одинокой старости любила искренне и горячо. Приведем несколько отрывков из воспоминаний Крупской об Арманд. Они создают хороший фон для показа взаимоотношений Ленина и Инессы. Крупская рассказывала, как Инесса Арманд снимала дом, в котором жили ученики ленинской школы в Лонжюмо, организовала там столовую для учеников, в которой питались и Ленин с Крупской. После переезда Ленина в Краков Инесса Арманд по его поручению выехала в Россию. И вскоре была там арестована. В тюрьме Арманд провела целый год и, освободившись благодаря стараниям бывшего мужа, сразу же приехала к Ленину в Поронино. Осень 1913 года — и был короткий период близости Ленина и Инессы Арманд.

Крупская пишет: «Арестованная в сентябре 1912 года, Инесса сидела по чужому паспорту в очень трудных условиях, порядком подорвавших ее здоровье, — у ней были признаки туберкулеза, но

энергии не убавилось. С еще большей страстностью относилась она ко всем вопросам партийной жизни. Ужасно рады были мы, все краковцы, ее приезду... Осенью мы все, вся наша краковская группа, очень сблизилась с Инессой (!). В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. Инесса наняла комнату у той же хозяйки, где жил Каменев. К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса часто заходила поговорить, посидеть с ней, покурить. Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами и больше походила на студенческую, чем на семейную жизнь, и мы рады были Инессе. Она много рассказывала мне о своих детях, показывала их письма. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Зиновьев и Каменев прозвали нас «партией прогулистов». Ходили на край города, на луг (луг по-польски — «блонь»). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Она была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи этого композитора. Ильич особенно любил «Sonata pathetique», просил ее постоянно играть». «Расставание», которое произошло по инициативе Ленина, безусловно, подтолкнуло ее уехать из Кракова. Крупская дает такую интерпретацию ее отъезда: «Сначала предполагалось, что Инесса останется жить в Кракове, выпишет к себе детей из России; я даже ходила с ней искать квартиру, но краковская жизнь была очень замкнутая, немного напоминала ссылку. Не на чем было в Кракове развернуть Инессе свою энергию, которой у нее в этот период было достаточно. Решила она сначала объехать наши заграничные группы, прочесть там ряд рефератов, а потом поселиться в Париже и нала-

живать работу нашего комитета заграничных организаций».

По приезде в Россию Ленин жил в Петрограде, а Инесса Арманд обосновалась в Москве. Сохранилось несколько коротких писем Ленина к Арманд весны 1917 года. В этих письмах наряду с другим Ленин писал: «Как довольны Москвой?», «Желаю всего лучшего и в смысле работы, и в смысле устройства с заработком, и в смысле жизни с детьми», «У нас все то же, что Вы сами здесь видали, и нет «конца и краю» переутомлению... Начинаю «сдавать», спать втрое больше других и пр. С удовольствием большим вижу иногда из московского «Социал-Демократа», как Вы берете разную работу в разных районах, но, конечно, из газеты мало видно».

После Октябрьского переворота Инесса Арманд избрана в Московский губисполком и его президиум, в губком партии и его бюро. Она член ВЦИК от Москвы. Это, так сказать, официальные ее посты, выборные должности. А всевозможные поручения растут как снежный ком... Зимой 1918 года «товарищ Инесса» получила новое, трудное и ответственное поручение партии. Ее назначили председателем Московского губернского совета народного хозяйства. После того как командные высоты экономики были захвачены рабочим классом, предстояло сделать следующий шаг — взять в свои руки управление промышленностью, наладить контроль за производством, вернуть к жизни и поставить на службу Советской власти замолкшие, пустынные, обледеневшие предприятия, безжизненные станки и потухшие вагранки... Можно подумать, что фаворитка «вождя мирового пролетариата» была именно тем человеком, который способен это сделать. Еще одно направление деятельности Инессы — же-

нотдельское, партийная работа среди женщин. А как же без этого, ведь любимый ею человек говорил: «Идеи становятся силою, когда они овладевают массами». Страсть вдохновляла на партийную работу.

Крупская свидетельствовала: «В конце 1919 года к нам часто стала приходиться Инесса Арманд, с которой Ильич особенно любил говорить о перспективах движения. У Инессы старшая дочь уже побывала на фронте, чуть не погибла во время взрыва 25 сентября в Леонтьевском переулке. Помню, как Инесса пришла к нам однажды с младшей дочерью Варей, совсем молодой тогда девушкой, потом ставшей преданнейшим членом партии. И Ильич при них, как я по старинке выражалась, «полки разводил»; помню я, как поблескивали глаза у Варюшки». Ленин проявлял заботу о семействе Арманд, о чем свидетельствуют четыре записки от февраля 1920 года. 1. «Дорогой друг! Хотел позвонить к Вам, услышав, что Вы больны, но телефон не работает. Дайте номер, я велю починить. Что с Вами? Черкните 2 слова о здоровье и о прочем. Привет! Ленин». 2. «Дорогой друг! Черкните, пожалуйста, что с Вами. Времена скверные; сыпняк, инфлуэнца, испанка, холера. Я только что встал и не выхожу. У Нади 39 и она просила Вас повидать. Сколько градусов у Вас? Не надо ли чего для лечения? Очень прошу написать откровенно. Выздоровливайте! Ваш Ленин». 3. «Дорогой друг! Напишите, был ли доктор и что сказал. Телефон опять испорчен. Я велел починить и прошу Ваших дочерей мне звонить о Вашем здоровье. Надо точно выполнить все, сказанное доктором. (У Нади утром 37,3, теперь 38). Ваш Ленин». 4. «16—17 февраля 1920. Выходить с t 38 (и до 39) — это прямое сумасшествие! Настоятель-

но прошу Вас не выходить и дочерям сказать от меня, что я прошу их следить и не выпускать Вас 1) до полного восстановления нормальной температуры и 2) до разрешения доктора. Ответьте мне на это непременно. (У Надежды Константиновны было сегодня, 16 февраля, утром 37,7, теперь вечером 38,2. Доктора были: жаба. Будут лечить. Я совсем здоров.) Ваш Ленин. Сегодня, 17-го, у Надежды Константиновны уже 37,3».

Есть еще три ленинские записки Инессе в период с 17 февраля по 28 марта 1920 года. (Записки эти, кстати, не вошли ни в полное собрание сочинений, ни в Ленинские сборники.) «Дорогой друг! Посылаю кое-что для чтения. Газеты (английские) верните (позвоните, мы пришлем за ними к Вам). Сегодня после 4-х будет у Вас хороший доктор. Есть ли у Вас дрова? Можно ли готовить дома? Кормят ли Вас? А t теперь? Черкните. Ваш Ленин». «Товарищ Инесса! Звонил к Вам, чтобы узнать номер калош для Вас. Надеюсь достать. Пишите, как здоровье. Что с Вами? Был ли доктор? Привет! Ленин». У Арманд появились серьезные разногласия с Александрой Коллонтай (что было естественно для двух «прим» большевистской элиты). В жаркие летние дни Арманд работала с утра и до поздней ночи, являясь делегатом II конгресса Коммунистического Интернационала. По старой памяти ей пришлось переводить многочисленные речи. По сути дела, на ее плечах оказались организация и проведение Международной конференции коммунистов. Неудивительно, что к концу конференции Арманд, по воспоминаниям Крупской, «еле держалась на ногах».

В середине августа Ленин пишет письмо Арманд, которое оказалось последним: «Дорогой друг! Груст-

но очень было узнать, что Вы ...недовольны работой и окружающими (или коллегами по работе). (Имелись в виду разногласия с Коллонтай.) Не могу ли помочь Вам, устроив в санаторий? С великим удовольствием помогу всячески. Если едете во Францию, готов, конечно, тоже помочь. Очень боюсь, что Вы там влетите... Арестуют и не выпустят долго... Надо бы поосторожнее. Не лучше ли в Норвегию или в Голландию? Или в Германию в качестве француженки, русской (или канадской?) подданной? Лучше бы не во Францию, а то Вас там надолго засадят и даже едва ли обменяют на кого-либо. Лучше не во Францию. Отдыхал я чудесно, загорел, ни строчки не видел, ни одного звонка. Охота раньше была хороша, теперь все разорили. Везде слышал вашу фамилию: «Вот при них был порядок» и т. д. (Ильич охотился в местах, где ранее находилось имение семьи Арманд.) Если не нравится в санатории, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ! Серго устроит отдых, солнце, хорошую работу. Он там власть. Подумайте об этом.

Крепко, крепко жму руку.

Ваш Ленин».

Инесса решила отдыхать на Кавказе с сыном, и Ленин проявил много заботы об организации их отдыха. 18 августа 1920 года он обращается к Серго Орджоникидзе, напоминая ему о необходимости организации отдыха Инессы: «т. Серго! Инесса Арманд выезжает сегодня. Прошу Вас не забыть Вашего обещания. Надо, чтобы Вы протелеграфировали в Кисловодск, дали распоряжение устроить ее и сына как следует и проследить исполнение. Без проверки исполнения ни черта не сделают. Ответьте

мне, пожалуйста, письмом, а если можно, то и телеграммой; «письмо получил, все сделаю, проверку поставлю правильно». Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, установить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуировать в случае надобности вовремя на Петровск и Астрахань или устроить (сын болен) в горах около Каспийского побережья и вообще принять все меры». Через два дня он в телеграмме вновь напоминает Орджоникидзе: «Не забыть устроить на лечение выехавших 18 августа Инессу Арманд и ее больного сына, они, верно, уже в Ростове». Еще накануне отъезда Арманд Ленин снабдил ее следующим документом, предназначенным для Управления курортами и санаториями Кавказа: «17.VIII.1920 г. Прошу всячески помочь наилучшему устройству к лечению подательницы, тов. Инессы Федоровны Арманд с больным сыном. Прошу оказать этим лично мне известным партийным товарищам полное доверие и всяческое содействие. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)». Арманд благополучно прибыла в Кисловодск, но время было тревожное, и 2 сентября Ленин телеграфировал Орджоникидзе: «Прошу добавить побольше подробностей о ходе борьбы с бандитизмом и об устройстве Вами в Кисловодске тех советских работников, о коих я Вам говорил лично».

Опасения Ленина оказались не напрасными, все чаще возникала стрельба вокруг санатория, и было принято решение начать эвакуацию отдыхающих. По дороге домой Инесса заразилась холерой и умерла в городе Нальчике. К Ленину пришла телеграмма: «Товарищ Инесса умерла, спасти не удалось». Двое суток шла борьба со смертью, но истощенный организм не выдержал. Жизнь оборва-

лась... Москва хоронила «товарища Инессу». Владимир Ильич проводил ее в последний путь. У открытой могилы на Красной площади, под кремлевской стеной, прозвучал троекратный пулеметный салют. Хор работниц — «кумачовых платочков» — проникновенно спел «Вы жертвою пали...». Ленин и Крупская обняли осиротевших детей Инессы Арманд.

В книге воспоминаний «Зимний перевал» Елизавета Драбкина свидетельствовала: «...Похороны состоялись не скоро: чтобы доставить гроб с телом Инессы из Нальчика в Москву, потребовалось без малого две недели... Вечером десятого октября патрульная группа, в которую входила и я, вышла на дежурство. Ночь была по-осеннему сырой и темной. Мы сильно продрогли и с нетерпением ждали утра. Уже почти рассвело, когда, дойдя до Почтамта, мы увидели двигавшуюся нам навстречу похоронную процессию. Черные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили черный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно страшный длинный свинцовый ящик, отсвечивающий тусклым блеском. Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле переставляющих ноги копытных лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей черной краской, и увидели шедшего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку. Было что-то невыразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склоненной голове. Мы поняли, что в этом страшном свинцовом ящике находится гроб с телом Инессы. Ее хоронили на следующий день на Красной площади. Среди венков, возложенных на ее могилу, был венок из живых белых гиацинтов с надписью на траурной ленте: «Тов. Инессе Арманд

от В. И. Ленина». Коллонтай также свидетельствовала, что Ленин на похоронах Инессы «был неузнаваем», шатался, «мы думали, что он упадет». Романтичная по натуре Коллонтай считала: «Он не мог больше жить после смерти Арманд. Смерть Инессы ускорила развитие болезни, которая свела его в могилу». А вот свидетельство третьей очевидицы, известной деятельницы международного рабочего движения Анжелики Балабановой, которая, кстати, неприязненно относилась к Арманд, считая ее «догматичной большевичкой»: «Я искоса поглядывала на Ленина. Он казался впавшим в отчаяние, его кепка была надвинута на глаза. Всегда небольшого роста, он, казалось, весь сморщился и стал еще меньше. Он выглядел жалким и павшим духом. Я никогда раньше не видела его таким. Это было больше чем потеря «хорошего большевика» или хорошего друга. Было впечатление, что он потерял что-то очень дорогое и очень близкое ему и не делал попыток маскировать этого». Таким образом по описанию очевидцев Ленин страшно переживал смерть Инессы.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

Каждый человек действует или говорит так или иначе, в силу определенных причин. Не осуждайте никого, не подумав об этом. Выявив скрытую причину слов или поступка, вы сможете понять человека. Можно сказать: получите ключ к его личности. Поняв причину, мы не сможем отвергать следствие.

У профессиональных революционеров были совершенно иные взгляды на любовь и брак. Людмила Сталь тому лучший пример. Ей пришлось пережить многое. По одной из легенд, в нее даже был влюблен Иосиф Джугашвили. Именно в память об этой любви он выбрал себе псевдоним «Сталин». Ее арестовывали с транспортом «Искры», она перевозила шрифты и оружие, вела пропаганду в лейб-гвардии (Семеновский полк), редактировала подпольные газеты.

Людмиле пришлось принять участие и в одном достаточно авантюрном предприятии: она устроила брак племянницы Викулы Морозова Лизы Шмит с потомком знатного рода Игнатьевым. Это не было романтическим соединением двух влюбленных сердец. Все обстояло гораздо банальнее: партии требовались деньги. Ради них многие революционеры добровольно искалечили свои судьбы. Николай Шмит — молодой человек с блистательными перспективами: студент университета, владелец приносящей хорошие доходы фабрики стильной мебели. Но Николай выбирает делом всей своей жизни революционную

борьбу. Деятельность на этом поприще приводит молодого человека в тюрьму, там он кончает жизнь самоубийством. Но перед тем как наложить на себя руки, молодой Шмит вызывает к себе нотариуса и с его помощью составляет завещание. Своей последней волей он завещал сестрам передать все деньги на дело революции: «Любезная сестрица Екатерина Павловна, прошу Вас принять на себя заведование и управление всеми делами и всем без исключения принадлежащим мне имуществом, движимым и недвижимым, где бы такое ни находилось и в чем бы ни состояло. Вы можете производить всякого рода платежи... Распорядитесь всем моим имуществом по Вашему усмотрению...» После смерти Николая каждая из сестер получила по 128 983 рубля. Правда, Екатерине Павловне пришлось из своей доли заплатить неустойку заказчикам, так как в то время на фабрике случился пожар и многие вещи пострадали, затем она из своих денег выдала пособия рабочим, а кое-что съели судебные процессы. В довершение ко всему «шмитовцы» после восстания потеряли работу. Многие рабочие голодали. Она помогла и им. Оставшиеся деньги Екатерина Павловна отдала партии. Младшая сестра Елизавета была еще несовершеннолетней и находилась под опекуном Викулы Морозова. Тот вложил ее долю в текстильное предприятие. Старый купец знал цену деньгам и так просто расставаться с ними не собирался.

Елизавета Павловна отправляется в Женеву к Владимиру Ильичу. Она полна решимости выполнить волю брата и передать все деньги партии. Но как это сделать? Все должно произойти так, чтобы ни охранка, ни кто-либо другой не узнали о добровольной передаче денег.

В Женеве Лиза сблизилась с Людмилой Сталь.

Людмила Николаевна знала, где можно найти Ленина. Однажды, когда срочно понадобилось разыскать Ильича, чтобы решить важный вопрос, она твердым шагом направилась к собору Святого Петра. Рядом располагалось небольшое сумрачное здание из серого камня — в нем находилось Общество чтения. Она прошла через калитку, глубокую арку, минула двор с фонтаном, открыла глухую дверь и зашла внутрь. В прихожей ее встретила пожилая женщина. Она что-то говорила в телефонную трубку приятным, мягким голосом. Подождав, пока женщина закончит разговор, Людмила сказала ей, что разыскивает Ульянова. Женщина в ответ приветливо улыбнулась и сказала, что месть Ульянов сейчас находится в одном из залов.

Людмила отправилась на поиски. Комнаты Общества чтения были меблированы довольно скромно. Присутствие изящных каминных часов и мраморного бюста основателя общества несколько оживляло обстановку. На небольшом столике лежала книга почетных посетителей. В ней расписался сам Наполеон. В первом зале Владимира Ильича не оказалось, и Людмила, соблюдая тишину, отправилась дальше. Ленина она нашла сидящим на ступеньках лестницы и просматривающим немецкие журналы. Он был так увлечен этим занятием, что Людмила не решилась подойти сразу. Она остановилась в нескольких шагах и, как зачарованная, стала наблюдать за тем, как быстро он перелистывает страницы, делает пометки на клочке бумаги. Через несколько минут Ленин поднял голову, видимо, почувствовав на себе взгляд. Он сразу узнал Людмилу и улыбнулся ей. Однако тут же жестом дал понять, чтобы она не шумела и не разговаривала — неподалеку какой-то пожилой человек что-то искал в кар-

тотеке. Ленин поставил книги на полки, и, посетовав на то, что не успел закончить начатое дело, направился к выходу. Людмила Николаевна чувствовала себя виноватой за это внезапное вторжение, но дело не терпело отлагательства. Надо было срочно решать вопрос с наследством Шмита. Они отправились на квартиру к Ленину, который в то время жил с Крупской на улице Марше — в крохотной квартирке на третьем этаже. Вдоль стен стояла дешевая мебель: стол, сундук, одновременно служивший постелью для Ленина. Дома их встретила Надежда Константиновна. Решили расположиться на кухне, тем более, что время близилось к обеду. На столе появились фаянсовые тарелки, нарезанный крупными ломтями хлеб. Запахло супом. В кухне шумно болтали гости: Лиза, Елена Кравченко и Виктор Таратута — член подпольного Центрального Комитета. По всему было видно, что Виктор симпатизирует Лизе Шмит. Владимир Ильич протянул руку Таратуте и сел за стол. Надежда Константиновна налила в тарелки протертый суп. Ленин ел быстро, живо реагируя на рассказ Таратуты о Мартове. Покончив с обедом, он обратился к собравшимся: «Так что пишет Викула Морозов?» Елена Кравченко в двух словах объяснила ему ситуацию. Новости были безрадостными. Морозов категорически отказался перевести Елизавете наследство. Его удивляла непрактичность родственницы, собравшейся изъять деньги из такого прибыльного производства и потратить на европейские бриллианты (этим Лиза мотивировала свое желание взять деньги). Ленин посмотрел на Лизу, а затем спросил ее, как она сама оценивает ответ Викулы. Лиза знала своего родственника и могла совершенно определенно сказать, что потребуются действительно се-

рьезные причины для того, чтобы он отдал деньги. Лиза заметно волновалась, ее бледные щеки залил густой румянец. Виктор волновался не меньше Лизы, на его лбу выступили мелкие бисеринки пота. Крупская мечтательно вздохнула: «Наследство для партии... На них можно послать людей, поставить в России нелегальные типографии...» Таратута поднял глаза на Лизу. Она молчала. Неожиданно заговорил Ленин. Он ни к кому не обращался. Скорее, его монолог можно было назвать мыслями вслух. Владимир Ильич говорил о том, что просто необходимо найти правильный подход к сердцу Морозова. Ждать, пока Лиза станет совершеннолетней, времени не было. Поэтому он предложил, как один из вариантов, выдать Лизу замуж за дворянина. Разбогатевшим российским купцам до смерти хотелось получить титул. И поэтому они охотно шли на браки с обедневшими дворянами, почитая такое родство за честь. Поначалу все восприняли эту мысль как шутку. Присутствующие понимали, что Лиза и Виктор любят друг друга и говорить в данной ситуации о каком-то другом замужестве было просто нелепо. Первой пришла в себя и поняла, что Ленин не шутит, Надежда Константиновна. Она достала из кармана небольшую записную книжку и начала листать ее, ища подходящую кандидатуру в женихи. Таратута не на шутку разволновался. Еще бы — его возлюбленную пытаются выдать замуж! Лиза сидела молча, напряженно сжав губы. Крупская подняла глаза на Таратуту. Ей было жаль парня, искренне жаль, но, похоже, другого выхода не было. Затем она снова вернулась к записям. Жених требовался сановитый. Чтобы купить достойный титул, Морозовы не пожалеют денег. Когда все уже казалось решенным, все доводы выслушанными, Ленин

неожиданно обратился к Елизавете Павловне, сказав, что все это он высказал умозрительно. А уж она пусть сама решает: пойти на этот шаг или нет.

Крупская попыталась несколько смягчить ситуацию. Она посоветовала Лизе все хорошенько обдумать, ведь речь идет о ее будущем. Таратута пытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Людмила Николаевна сокрушенно покачала головой. Она жалела несчастных влюбленных, но тут же добавила: «И деньги партии так нужны... Каждая копейка на учете: либералы перепугались, отшатнулись. В общем, денег у партии нет...» Бедная Лиза попала под слишком мощный прессинг. Она не могла не согласиться. Тем более, что за идеи этой партии умер ее брат. Девушка приняла решение сделать так, как необходимо партии. Брак необходимо было оформить по всей строгости закона, чтобы никто не смог в будущем его оспорить. Для этой процедуры требовалось разрешение посла. Таратута бросился в рассуждения, что брак все равно фиктивный и все это ничего не значит. Крупская еще раз попросила Лизу все обдумать. Она понимала, что вовлекает молодых людей в опасную игру. Виктор сидел, опустив могучие плечи, и нервно тербил папироску. В последний раз он попытался отвести беду:

— Может быть, Морозовы отдадут деньги, если Лиза просто выйдет замуж по любви? Комната погрузилась в отчаянную тишину. Ленин прохаживался, Елена и Лиза застыли, как каменные. Людмила Николаевна отрешенно смотрела в окно. Крупская сложила посуду в тазик и, оставив предложение Таратуты без ответа, назвала первую кандидатуру: Красин. После недолгих обсуждений этот молодой человек отпал, так как был слишком занят делами. Следующий — Буренин. Но он сейчас был вместе

с Горьким и не мог приехать. Далее предложили Игнатъева — сына генерала, племянника министра, дворянина, занятого все больше разработкой каких-то эфемерных планов, в общем, фантазера. Его-то и решили вызвать в Женеву. С Игнатьевым Людмила Николаевна встретила уже после его свадьбы — в Берне, где он занимался транспортировкой оружия. Жила Людмила Николаевна в Давосе, работала фельдшером в санатории для туберкулезных больных. Работа отнимала у нее все свободное время. Кроме всего прочего, Людмиле Николаевне приходилось выдерживать жесткую конкуренцию со стороны представителей других политических убеждений. Жила она в маленькой мансарде. Там никогда не было пусто — собирался народ, разгорались горячие споры. Иногда кто-нибудь оставался у нее жить, заканчивая лечение.

С Игнатьевым Людмила должна была встретиться в отеле «Колесо». Это было очень дорогое заведение. Породнившись с семьей Морозовых, он должен был соответствовать новому положению. Бракосочетание состоялось недавно, и деньги еще не успели передать в кассу. Но дело уже шло к завершению: опытный юрист с доверенностью должен был выехать в Россию. Людмила Николаевна очень волновалась, идя на встречу с Игнатьевым. Она могла только догадываться, на какие жертвы пришлось пойти этому молодому человеку. В назначенное время Игнатьев подошел к ее столику, поздоровался и передал привет от Елизаветы Павловны. Людмиле Николаевне безумно хотелось услышать подробный рассказ об их бракосочетании, но она посчитала это бестактным и позволила Игнатьеву сказать только то, что он посчитает нужным. Молодой человек немного помолчал, затем как-то глухо

произнес: «Свадьба состоялась. Я теперь муж Елизаветы Павловны Шмит и прямой родственник богатеев Морозовых». Людмила Николаевна опустила глаза и покраснела. Игнатъев подробно рассказал о пышной, чисто купеческой свадьбе. Даже рассказал забавную историю о том, как знаменитый портной суетился возле его костюма. Игнатъев был простым, открытым человеком. Он рассказывал об этом довольно трагичном повороте в его жизни спокойно, никого не обвиняя. Людмила понимала, что ему просто необходимо выговориться, и она стала для него идеальным слушателем.

Игнатъев подробно рассказал все, что произошло с самого начала. Получив необычное задание, он сразу же поехал во Францию к русскому консулу. Тот, узнав, зачем приехал Игнатъев, пожалел его, как родного сына: «Это очень дурной тон — родовитому дворянину брат в жены купчиху! Да-с, плохо... Но я все понимаю. Деньги, каналья, до всего доведут!» Игнатъев отметил, что Елизавета Павловна перенесла процедуру бракосочетания мужественно — несмотря на то, что ждет от Таратуты ребенка. Теперь Елизавета поселилась с Виктором в богатой квартире, а Игнатъев снял комнату в Латинском квартале. Сразу после бракосочетания Елизавета послала Викуле письмо, в котором сообщила, что вышла замуж за потомственного дворянина, и попросила перевести деньги в соответствии с завещанием брата. Конечно же, Морозов одобрил этот брак и попросил прислать доверенное лицо в Россию, чтобы оформить документы. Рассказывая об этом, Игнатъев не скрывал своей радости. Жертвы оказались ненапрасными. Людмила Николаевна с благодарностью пожала руку Игнатъеву. Он действительно совершил мужественный поступок. Деньги нужны были партии позарез:

люди голодали, многие эмигранты, доведенные до крайности, кончали жизнь самоубийством. И этот человек пожертвовал своим будущим счастьем для общего дела. «Скорее бы в Россию — дни считаю!» — закончил Игнатьев с неподдельной тоской. Людмила Николаевна нахмурилась, но все же решилась задать, может быть, не совсем деликатный вопрос: «А как ваша настоящая невеста?» — Игнатьев пожал плечами: «Не знаю, поймет ли она меня». Затем он признался, что они собирались обвенчаться сразу же после возвращения из Женевы. Он не мог себе представить, что скажет ей, сумеет ли объяснить. Людмила Николаевна высказала мысль о гражданском браке, но Игнатьев безнадежно махнул рукой и закурил. Его невеста была дочерью слишком строгих родителей, чтобы они согласились на такое. «Когда Владимир Ильич предлагал мне фиктивный брак, — продолжал Игнатьев, — он знал об Ольге и не неволил меня. Я уверен, мой отказ не обидел бы его. Как только переведут деньги на женевский счёт, начну бракоразводный процесс».

Людмила Николаевна слушала его и прекрасно понимала, что добиться развода будет очень трудно. Это понимал и сам Игнатьев, но, как говорится, надежда умирает последней, и ему очень хотелось верить, что все обойдется... Какой все-таки удивительной и ошеломляющей бывает порой жизнь! Четыре искалеченных судьбы! Игнатьев, живущий призрачной надеждой, Лиза — жена человека, которого она видела только раз в жизни, Таратуга — не смеющий дать своим детям собственное имя, и Ольга, чье девичество омрачено страшным разочарованием.

Во всей этой истории нет ничего удивительного. Для большевиков ничего не значила неприкосновенность личной жизни.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ДЗЕРЖИНСКОГО

Природа-мать, сотворяя все живое на земле, наделила существа многими общими чертами, которые объединяют их и становятся показателем степени развития. Мы не будем вдаваться в подробности эволюционного развития всех морально-психологических черт живых существ, а остановимся лишь на сексуальной сфере человека. Надо отметить, что секс присутствует в природе везде — даже деревья опыляются перекрестно — это неотъемлемая часть жизни всего сущего. И его следует рассматривать с той же точки зрения, что и остальные потребности человека. Почему-то на эксперименты с гастрономией, одеждой, имиджем и прочим мы смотрим снисходительно. Когда же дело доходит до интимной стороны дела, тут же устраиваем мышиную возню. В особенности если речь идет о персонах известных, находящихся всегда на виду. Мы сами сначала создаем себе кумиров, а затем, захлебнувшись завистью к чужой славе, начинаем искать у них пороки, забывая о том, что они обычные люди со своими страстями, слабостями, привязанностями.

Возможно, наш патологический интерес к интимной жизни советских и постсоветских вождей и их приближенных продиктован еще и тем, что эта сторона их жизни не только не афишировалась, но надежно скрывалась. Тем не менее история под-

тверждает старую добрую истину: «Все тайное когда-то становится явным».

Последнее время появилось огромное количество материалов (в основном мемуарного характера), которые проливают свет на пикантные страницы биографий тех, от кого зависели или зависят жизни миллионов людей. Редко можно найти такого человека, который способен отделить личную жизнь от общественной, оставить дома груды мелких неурядиц. Одной из таких «мелких неурядиц» может быть неудовлетворенность в сексуальной сфере, приводящая к постоянному нервному перенапряжению, взвинченности, бессонницам. Человек превращается в ходячий бочонок с порохом: стоит поднести спичку — и произойдет взрыв.

Год 1898-й — Первая ссылка Дзержинского. Начальник ковенской тюрьмы Набоков объявил Феликсу о том, что «государь император высочайше повелеть соизволил» выслать его под гласный надзор полиции на три года в Вятскую губернию. Ссылных везли на пароходе. Среди других политических Дзержинский был самым молодым и одиноким. Во время прогулок по палубе он познакомился с молодой и симпатичной женщиной — Маргаритой Федоровной Николевой. Они ловили каждую минуту, чтобы быть вместе. Маргарита помогла Феликсу выдержать этап и благополучно добраться до Вятки. Там ее передали под надзор полиции, но разрешили свободно передвигаться по городу. Феликса посадили в тюрьму. Местом ссылки Николевой определили уездный городок Нолинск. При очередном свидании она посоветовала Дзержинскому проситься туда же, чтобы быть вместе. Расконвоированную Николеву отправили в Нолинск первой, а Феликс остался в Вятке ждать реше-

ния губернатора. Губернатор принял его, долго беседовал и удовлетворил его ходатайство.

Пароходик, на котором должны были отправить Дзержинского в Нолинск, застрял где-то из-за мелководья. И тогда он вновь обратился к губернатору с прошением расконвоировать его и разрешить отправиться в Нолинск за свой счет, без конвоя. И это было ему разрешено.

Маргарита встречала пароходик с Дзержинским на пристани Нолинска. На виду у всего населения городка, высыпавшего на берег, она бросилась к Феликсу. И тут же сообщила ему, что с жильем все уладила — жить они будут в одном доме.

Нолинск. Все здесь было чужое. И природа, и дома, и люди. Приспособиться к новой жизни было трудно. Феликс отводил душу в письмах к Альдоне, в которых, однако, ни словом не упоминал о Николевой.» ...Дорога была чрезвычайно «приятная», — писал он, — если считать приятными блох, клопов, вшей и т. п. По Оке, Волге, Каме и Вятке я плыл пароходом. Неудобная это дорога. Заперли нас в так называемый «трюм», как сельдей в бочке. Недостаток света, воздуха и вентиляции вызывал такую духоту, что, несмотря на наш костюм Адама, мы чувствовали себя как в хорошей бане. Мы имели в достатке также и массу других удовольствий в этом духе...» Когда Альдона вновь и вновь перечитывала эти строки, написанные таким знакомым ей мелким, угловатым почерком, она ясно представляла себе, какие физические и моральные муки пришлось пережить Феликсу.

«Я нахожусь теперь в Нолинске, где должен пробыть три года, если меня не возьмут в солдаты и не сошлют служить в Сибирь на китайскую границу, на реку Амур или еще куда-либо. Работу найти здесь

почти невозможно, если не считать здешней махорочной фабрики, на которой можно заработать рублей 7 в месяц».

«Население здесь едва достигает 5 тысяч жителей, — продолжала читать Альдона. — Несколько ссыльных из Москвы и Питера, значит, есть с кем поболтать. Однако беда в том, что мне противна болтовня, а работать так, чтобы чувствовать, что живешь не бесполезно, здесь негде и не над кем».

Маргарита была старше Феликса на три года. Она родилась в семье сельского священника из села Безлесное Балашовского уезда Саратовской губернии. Отец ей дал хорошее домашнее воспитание, он был образованным и терпимым человеком. Маргарите удалось поступить на Бестужевские курсы в Петербурге. Курсы являлись рассадником бунтарских идей и женского свободомыслия. Маргарита была дружна с семьей Короленко. А красота и ум открыли ей доступ в среду молодых марксистов. Ее арестовали на третьем году обучения.

В ссылке в Нолинске Феликс и Маргарита были постоянно вместе. Жить было сложно, хотя ссыльному Дзержинскому и ссыльной Николевой выдавалось по одному рублю пятьдесят копеек в месяц на питание и по четыре рубля на жилье. Они объединили свои финансы и кое-как перебивались.

В дневнике Дзержинский обозначал свою возлюбленную одной большой буквой «М»: «Как это М. может со мной дружить? Разве я такой ловкий актер? Мне кажется, что рано или поздно мы... поссоримся, а она, узнав меня, прогонит. А теперь для нас полезно не рвать своих товарищеских отношений». Маргарита заставила его прочитать «Капитал», труды английского философа Стюарта Милля, произведения российских демократов. Они вместе чита-

ли «Фауста» Гете. Дзержинский выделялся среди ссыльных. Он был одет в темный, сильно поношенный костюм, рубашку с мягким отложным воротничком, бархатный шнурок вместо галстука. Дом, где жили Феликс и Николева, был своеобразным центром ссыльных. Так повелось: кто оказывался при деньгах, приносил к Николевой фунт дешевой колбасы, связку баранок или кулек конфет. Бывало, что какой-нибудь «богач» с гордым видом вытаскивал из кармана бутылку вина. Но так как никто этих приношений заранее не заказывал, то иногда получалось, что не хватало заварки или сахара. А без хорошего чая и вечер не вечер. Все уже расселись, когда в дверях появился молодой человек. Его воспаленные глаза щурились от света лампы.

— Господа, позвольте представить вам нашего товарища Феликса Эдмундовича Дзержинского, — говорила Николева вновь прибывшим, усаживая Феликса рядом с собой. Все, кто впервые видел Дзержинского, обращали внимание на его глаза.

— Что с вашими глазами?

— Проклятая грязь, — отвечал Феликс, — профессиональная болезнь табачников. Глаза чешутся от табачной пыли, рабочие трут их грязными руками. И вот результат: большинство рабочих нашей фабрики больны трахомой. Я тоже.

— Бог знает что вы говорите! Зачем же вы пошли на эту фабрику?

— Ну, во-первых, надо где-то хлеб зарабатывать, а вы знаете, что в Нолинске найти работу трудно, а во-вторых, там я среди рабочих и могу хоть чем-нибудь быть им полезен.

В 1933 году в Варшаве была издана книга «Красный палач», посвященная Дзержинскому. В ней дается иная версия событий. Ошибочная и возмути-

тельная. Автор утверждает, что «Николаева была вдовой, сосланной в Сибирь за участие в деятельности религиозной секты, запрещенной в России. Кроме того, автор неправильно воспроизводит фамилию возлюбленной Феликса, называя ее Николаевой. В книге «Красный палач» утверждается, что ссыльные Лебедев, Якшин, Дзержинский и Николева готовили покушение на губернатора Клингенберга, который должен был посетить Нолинск. Стрелять должен был Дзержинский. Неожиданно перед самым приездом губернатора Дзержинского без видимых причин сослали вместе с Якшиным в село Кайгородское. Покушение провалилось. Феликс был в отчаянии. Причину провала автор видит в том, что планы ссыльных выдала Николева. Кроме того, в книге можно прочесть о том, что Николева состояла в интимных отношениях не только с Дзержинским, но и с исправником, а также и с самим губернатором. Дзержинский, узнав обо всем этом, якобы был даже удовлетворен: он был уверен, что Николева любит только его, кроме того, если бы он убил губернатора, его бы повесили.

Такая версия событий в Нолинске представляется мне надуманной. Во-первых, в маленьком городке Нолинске нельзя было утаить связь с жандармом или исправником, не говоря уже о губернаторе. Женщина, имеющая такие связи, не могла пользоваться доверием политических ссыльных. Во-вторых, слишком большой диапазон приемлемости — от ссыльного до губернатора. Тем более что губернатор находился в Вятке. В-третьих, все сведения про Николеву — ошибочные. Автор не имел достаточной информации. А самое главное, я в этом уверена, такая нимфоманка и провокаторша (если бы Николева была таковой) не сумела бы дожить в Со-

ветском Союзе до 1957 года. Она бы не пережила Феликса на 31 год, не настолько мягкое у него было сердце.

Из Нолинска Дзержинского отправили в село Кайгородское. В селе Кайгородское Феликс не забыл Николеву. Из письма от 10 января 1899 года: «Вчера сюда приходила почта. Я так надеялся, что получу от Вас письмо, и не получил. Вот уже прошло около трех недель. Но я сам ведь виноват, что не написал на Слободское. Вы обещали мне писать, получив мое. Я отправил отсюда первое — 28 декабря. В Слободское оно пришло 2 января, а к Вам — около 5-го. Завтра оно непременно должно быть. Так хочется знать, что с Вами, что слышно, как чувствуете себя, успешно ли идут занятия? Одним словом, как вам живется. Село здесь немалое, будет до ста дворов. Лежит в яме, так что только после того, как подъедешь к нему вплотную, становится видным. Лес тянется с двух сторон, версты две от села. Весной, говорят, можно охотиться на уток, лебедей, хотя последних, по суеверию, здесь не стреляют. Полагают, что кто-нибудь подохнет в хозяйстве или помрет в семье того, кто убил. Но, может быть, окажется то же, что с медведями и волками. А все-таки жаль, не придется испытать сильных ощущений. Встретили мы сегодня похороны — сразу четырех хоронили. Везли их на худеньких лошадях, в санях, на гробах сидел мужик, — покойников везли из церкви. Сзади ехали на других санях провожающие родные. Попа не было. Встретили мы его катающимся с дьяконами. Народу было совсем мало, и не получилось впечатления, что это везут люди своих матерей и родных хоронить. Мы провожали их. Ямы не были еще вырыты — земля замерзла почти на два аршина. Поднялась ругань, что не при-

готовили работники вовремя. Не было ни слез, ни жалоб на жизнь свою. Воспользовавшись минутой, мы спросили их, почему нет попа? «Да где нам, — ответили они, — платить по десять рублей...» И действительно, поп здешний совсем разоряет народ. За свадьбу берет не меньше пятнадцати рублей, да еще тридцать аршин холста, водку, табак, крендели. За отпевание — два-пять рублей, за крестины — один рубль. Дерет, одним словом, неимоверно. Жаловались не раз уж на него, да ничего не выходит. Стал еще больше драть. Никто, абсолютно никто, не уважает здешнего попа — пьяница прегорький, деньги всегда вперед берет. Есть хорошая польская пословица: «Пока солнце взойдет, роса глаза выест». Так и тут. Например, взять бани здешние! Черные, грязные, негде раздеться, низенькие — жалеют дрова, а лес за бесценок под рукой, да и свой есть. И как им не толкуй — усмеваются да и только. Белоручкам, думают, не нравится. В таких банях ревматизм можно схватить, а простудиться того легче, да и вымыться порядком нельзя, а они говорят, что для них и так хорошо, что деды их так мылись».

Через месяц Держинский напишет Николевой: «Я боюсь за себя. Не знаю, что со мной делается. Я стал злее, раздражителен до безобразия». Далее были и такие строки: «Кай — это такая берлога, что минутами невозможно устоять не только против тоски, но даже и отчаяния...»

Николева стала просить разрешение для поездки в село Кайгородское. Разрешение было получено только в июне, и Николева, нагруженная книгами, журналами, письмами и всякой снедью, отправилась в дальний путь. В августе 1899 года Держинский совершил свой первый успешный побег из

ссылки. Николева отбыла свой срок до конца, до последнего дня. Она возвратилась в Россию, отошла от революционной борьбы, преподавала литературу в школе, жила в Ленинграде. Когда пришлось эвакуироваться из осажденного Ленинграда, она выбрала Пятигорск. Там работала научным сотрудником в музее «Домик М. Ю. Лермонтова». Написала книгу «Михаил Юрьевич Лермонтов — жизнь и творчество», изданную в 1956 году. Маргарита Николева умерла в 1957 на 84-м году жизни. После ее смерти нашли шкатулку с письмами от Дзержинского. Она не оставила ни воспоминаний, ни публикаций о Феликсе. Она молчала.

25 апреля судебная палата приговорила Феликса к лишению всех прав и ссылке в Сибирь на вечное поселение. В середине ноября 1909 года ссыльно-поселенец села Тасеевского Феликс Дзержинский скрылся в неизвестном направлении. В конце декабря 1909 года он благополучно добрался до Берлина. Как и восемь лет назад, после побега, так и сейчас Роза Люксембург настояла на лечении, а Мархлевский сказал: «Поезжай-ка, Феликс, на Капри. Лучшего зимнего курорта в Европе не найдешь; не зря же сам Горький там обосновался». В тот период Феликс мало писал друзьям по партии, тем более о делах. Его основной адресаткой стала Сабина Фанштейн. Феликс написал ей из Берлина, из Цюриха, с Капри...

Сабина жила в крохотной швейцарской деревеньке Лиизе, около Цюриха. Еще из Берлина Феликс послал Сабине открытку. Она ответила, и переписка, прерванная тюрьмой, ссылкой, просто временем, которое прошло с тех пор, как они познакомились, возобновилась. В письмах Феликс называл Сабину своей госпожой, Пани, и неизменно

писал это слово с прописной буквы. Делился с нею мыслями, впечатлениями, всем, что сотворяет духовный мир человека. Так доверительно и откровенно пишут лишь в дневнике, зная, что он не попадет в чужие руки, да женщине, с которой связывает большая дружба.

Письмо первое: «Час назад был у врача Миакалиса. профессор сам болен чахоткой. А я совершенно здоров! Только истощение, я похудел и измучен. Анализ ничего не показал. Советовал поехать в Рапалло, но не возражает и против Кардоны. Речь идет только о покое, о регулярном образе жизни, о питании. Я уеду завтра или послезавтра, самое позднее. Поеду через Швейцарию, посету мою Пани (можно?)...»

Письмо второе: «В пути. Берлин — Цюрих. Я уже еду, а куда — сам не знаю. Со вчерашней ночи ношусь с мыслью о Капри. Опасаюсь ехать в Рапалло. Там нет никого, кто бы дал совет, как подешевле устроиться. Я написал вчера в Париж, чтобы мне дали какой-то адрес на Капри. Ответа буду ждать в Цюрихе. Впрочем, не знаю, может, лучше бы остаться в Швейцарии? В Цюрихе буду ждать писем, решу в последний момент».

Письмо третье: «Цюрих. Поздняя ночь. Сажу у знакомого, который называется Верный. Он такой и есть на самом деле. Он мягок, как женщина, тонкий, молодой и полон энтузиазма. Мучения последнего времени словно бы совершенно его не коснулись. Только что вернулись домой из лесу в Цюрихсберге. Было весело. Видели Альпы, горы, озеро и город внизу при заходе солнца. Блеск пурпура вечерней зари, потом ночь, туман, встающий над долинами. Спутники понравились мне своим юношеским задором. Не было речи ни о мучениях, ни об

отсутствии сил, чтобы жить. Каждый готов выполнять свое предназначение. Утром получил письмо. Признаюсь, не ждал такого ответа. Что-то подсказывало мне — увижу мою Пани. Ну что ж, раз так — не поеду. Двинусь прямо к морю...»

Письмо четвертое: «В дороге. Что за прелесть — какая чудесная дорога! Каждое мгновение открывается что-то новое — прекрасные виды, все новые краски. Озера, зелень спящих лугов, серебристый блеск снега, леса, сады. Вытянувшиеся ветви обнаженных деревьев, снова скалы, горы. И вдруг — тоннель, словно бы затмение, для того, чтобы подержать в напряжении, в ожидании нового подарка. Без конца слежу за всем и все впитываю в себя.

Дорога вьется змейкой по склонам гор, над долинами, над озерами и уносит меня в страну чудес. Я еду на Капри. Получил письмо от Горького. На один день задержусь в Милане. Оттуда напишу».

Письмо пятое: «Болонья — Рим. Я видел заход солнца, оно ложилось спать. Я видел краски неба, которые словно всегда предчувствовал, по которым тосковал, но которых не видел в реальности. Глубокая голубизна неба была наполнена серебром, пурпуром, золотом. И облака, плывущие издалека, и горы, укутанные фиолетом. А где-то вдали — совершенно необозримая плоская Ломбардская долина, сбегаящая к Адриатике. И снова я думал о тебе, мечтал о том, чтобы совершилось чудо. Хочу освободить дремлющие во мне силы. Потому и бегу я к солнцу, к морю. Если бы ты могла прислать мне, хотя бы на время, свою фотографию...»

Письмо шестое: «Рим. Сажу в ресторане на веранде. Передо мной Вечный город. Его холмы, развалины. Столько цветущих деревьев, столько тепла, зелени! Не верится, что это зима, что это не сон.

А небо такое ласковое, такой покой всюду. Там, внизу, европейское кладбище — такие елки, кипарисы. Меня очаровала моя сказка, которую, может быть, я сам придумал, и я хочу так мечтать без конца».

Письмо седьмое: «Капри. Я пишу сейчас только открытку. Здесь настолько красиво, что кажется невероятным то, что я здесь задержался, что у меня есть здесь собственная комната, что я могу без конца смотреть на море и скалы. Что они — моя собственность! Мои на целую вечность — на месяц. Целые сутки я был у Горького. Разве это не сон?! Обычно представлял его издалека, а теперь видел вблизи. Сейчас думал о его первых произведениях... Может быть, хорошо, что я не остался в Швейцарии? Быть может, оставаться вечным странником в погоне за мечтой и есть мое предназначение? Быть может, здесь, в общении с неодолимо влекущим меня морем, я сумею возродить свои силы. У меня комната с большим балконом, с чудесным видом на море в обрамлении двух гигантских скал. Я питаюсь в приличном ресторане — обед и ужин. На завтрак — молоко и фрукты. Все это у меня есть. Пока здесь довольно холодно. Идет дождь, но скоро все это изменится, выйдет солнце».

Письмо восьмое: «Капри. Я сижу, гляжу на море, слушаю ветер, и все глубже пронизывает меня чувство бессилия, и грусть все больше въедается в мою душу: горестные мысли — что любовь моя ни тебе, ни мне не нужна. Сейчас ты такая далекая и чужая, как это море — постоянно новое и неизведанное, любимое и неуловимое. Я люблю, и я здесь один. Сегодня я не способен высказывать свои чувства, хотя любовь переполняет всю мою душу, все ее уголки. Жажда твоей любви сама материализуется в чувство, которого ты не можешь мне дать. Что мне де-

лать? Прекратить борьбу, отречься, поставить крест на любви, устремить всю мою волю в другом направлении? Уйти совершенно я не хочу. А словам любви не разрешу больше подступать к горлу. Буду писать о том, как живу, что делаю. Хочу и от тебя, хоть временами, получать словечко, известие, что ты есть, что ты улыбаешься».

Письмо девятое: «Капри. Прекрасное море, как в волшебной сказке, которую слышал когда-то в детские годы... Многоэтажные нависающие скалы недвижимо стоят на страже, а рядом с ними постоянно живет море... Постоянно изменяются его краски и настроение, и мелодичная нежная музыка моря превращается в бешено пенящиеся проклятья. Вспомни — когда-то мы возвращались с тобой из Отцовска, от твоего дяди. Я глядел в твои глаза и, может быть, ревновал. Мы стояли у окна вагона и смотрели в летнее ночное небо. Так и сегодня я говорю: кто видит небо, кто видит море, не может не любить. Для собственного счастья человек должен видеть других свободными.

Я писал тебе, что познакомился здесь с Горьким. Пришел к нему с большой любовью за то, что он умеет зажигать людей, умеет высекать из себя искры, которые велят ему слагать песни могущества и красоты жизни. Я хотел выразить ему любовь мою, хотел, чтобы он ее почувствовал, но не сумел сблизиться. Прихожу к нему накоротке и ухожу от него с какой-то грустью...

Сейчас читаю его «Исповедь». Она напоминает мне старые вещи и очень нравится. Вообще, читаю мало, отрываюсь от книги, чтобы посмотреть на море. Много хожу, лазаю по скалам. Голова не кружится, когда гляжу в пропасть. И только ночью я падаю, падаю... Тогда становится страшно. А в общем-топравляюсь — восстанавливаю силы».

Письмо десятое: «Капри. Здесь я познакомился с молодым польским поэтом... Стихоплет без поэзии в душе... Чтобы не потерять ничего «от своей индивидуальности», он ничего не читает и ничему не учится. Представляю себе его произведения. Когда моя Пани возвращается? Где я могу ее встретить? На обратном пути хочу задержаться в Риме на день-два. И в Генуе. Может быть, еще в Медилолане, чтобы бросить последний взор на чудеса Италии.

Посылаю свою фотографию, сделанную Франей в Цюрихе. Решетка, на которую я опираюсь, это символ: вечный странник, для которого самое подходящее место за решеткой... Моя улыбка — это, может быть, радость от разрешенной загадки. Радость и страдание, вечная борьба, движение — это и есть диалектика жизни, сама жизнь. Сейчас я настроен не только философски. Чувствую огромный прилив жизненной энергии.

Уже ночь. Тихо. Сквозь открытое окно слышу неустанный шум моря, словно отдаленный топот шагающих людей. И снова слышу голос в душе — что с ними, с этими людьми, я должен идти на долю и недолю.

Отсюда поеду в Нерви. Говорят, там необычайно буйная растительность. Есть там товарищ, у которого хочу узнать некоторые подробности того, что было после моего отъезда из «Замка» — тюрьмы. Все это так и не уходит из моего сердца».

Письмо одиннадцатое: «И вот я уже не один — с Горьким. Наступило какое-то мгновение, разрушившее то, что нас разделяло. Не заметил, когда это случилось. Из общения с Горьким, из того, что вижу его, слышу, много приобретаю. Вхожу в его, новый для меня, мир. Он для меня как бы продолжение моря, продолжение сказки, которая мне снится. Какая

в нем силища! Нет мысли, которая не занимала бы, которая не захватывала бы его. Даже когда он касается каких-то отвлеченных понятий, обязательно заговорит о человеке, о красоте жизни. В словах его слышна тоска. Видно, как мучит его болезнь и окружающая его опека.

Позавчера были на горе Тиберио, видели, как танцевали тарантеллу. Каролина и Энрико исполнили свадебный танец. Они без слов излили мне историю их любви. Не хватает слов, чтобы передать то, что я пережил. Какое величайшее искусство! Гимн любви, борьбы, тоски, неуверенности и счастья... Танец длился мгновение, но он и сейчас продолжает жить во мне, я до сих пор вижу и ощущаю его. Смотрел, зачарованный, на святыню великого божества любви и красоты. Танцевали они не ради денег, но ради дружбы с тем, гостем которого я был. Ради Горького. И в свой танец они вложили столько любви!

А два дня назад я сидел над кипой бумаг, разбирался в непристойных действиях людей, приносящих нам вред. В делах провокаторов, проникших к нам. Как крот, я копался в этой груде и сделал свои выводы. Отвратительно подло предавать товарищей! Они предают, и с этим должно быть покончено. Ночь уже поздняя. Сириус, как живой бриллиант, светит напротив моего окна. Тишина. Даже моря сегодня не слышно. Все спит и во сне вспоминает о карнавале. Вечером было столько музыки, смеха, пения, масок, ярких костюмов. Если бы ты была здесь, если бы мы могли вместе пережить эти дивные мгновенья, отравленные моим одиночеством!..»

Письмо двенадцатое: «Капри. Утром пришло письмо от Пани, и весь день хожу радостный. Уви-

дел новую прелесть моря, неба, скал и деревьев, детей, итальянской земли... В душе пропел тебе благодарственный гимн за слова твои, за боль и муку твою, за то, что ты такая, какая есть, что ты существуешь, за то, что ты так мне нужна. Мне всегда казалось, что я тебя знаю, понимаю твою языческую душу, страстно желающую наслаждения и радости. Ты внешне тихая и ласковая, как это море, тихое и глубокое, привлекающее к себе вечной загадкой. Море само не знает, чем оно является, — небом ли, которое отражает золотистые волны, звездой ли, горящей чистым светом, или солнцем, которое сжигает и ослепляет».

Письмо тринадцатое: «Капри. Ужасно не люблю, не переношу трагедий, которые мне чужды. Потому что, пока живу, ощущаю лживость трагедий. Больше всяких мучений, всякой боли боюсь неправды. Неправда убивает в нас смысл жизни и человеческую тоску. Я знаю, что ужасно трудно сказать правду. Ежедневно она кажется другой, и понять ее раз и навсегда невозможно.

Я провел последние минуты у Горьких. Принес им цветы... Мне было хорошо. Я не думал о том, что уезжаю, радовался тому, что слышу, вижу, тому, что я не чужой для них».

Письмо четырнадцатое: «Неаполь. Сажу в кафе. Только что приехал, а поезд отправляется дальше только вечером. Погода неважная, и, может быть, поэтому мне грустно. Жалко расставаться с островом. Я прощался с ним, пока он не исчез в тумане. Хорошо мне было там с Горьким. Как-то я с ним сжился, подружился. Прощался с ними весело. Красный домик удалялся, пока не исчез в дымке. Мне сделалось грустно. Пожалуй, уж никогда не вернутся золотые минуты, которые я там провел.

Две последние ночи Сириус опять не давал мне заснуть. Он все разгорался и гас, чтобы снова засверкать еще более сильным блеском...

Пришла в голову мысль — в апреле поехать в Польшу. Там обязательно нужен кто-то подходящий. Не знаю, почему Сириус натолкнул меня на эту мысль, и вдруг во мне все прояснилось. Я хочу жить, хочу действовать, хочу проявить свой порыв в деле. Мою любовь и чувство красоты, которое увожу с Капри, от Горького, хочу превратить в деяния. Мне немножко грустно, но я радуюсь, что возвращаюсь к работе, к повседневной жизни. У меня есть опасение, что мои товарищи слишком сентиментальны, что они захотят навязать мне покой, ненужный и бесполезный. А ведь мои мысли — не результат смятенья, это — служение Делу...

Письмо пятнадцатое: «Неаполь — Рим. Вчера был в Лазурном гроте. Поехал с немцами, с которыми познакомился в ресторане и последнее время вместе с ними странствовал. Хотели поехать утром, но кто-то сказал, что после обеда освещение в гроте красивее. Море было беспокойно. Я смотрел на величественные скалы, нависшие над нами, ласкал рукой прозрачную воду и, как обычно, в мыслях был далеко-далеко. Мы плыли дальше. С одной стороны был колоссальный остров, с другой — Неаполитанский залив с великолепной, высеченной в скалах панорамой Сорренто, Везувия, Неаполя. Через полчаса итальянец показал нам небольшой провал в скалах... Это был грот. Нам пришлось лечь на дно лодки. Сунули головы под скамейки, чтобы итальянец, сам лежа над нами, мог протянуть лодку. И вот мы, наконец, оказались в гроте. Я приподнялся и замер. Скрытый где-то в глубинах свет проходил сквозь темную толщу воды. Наверху и в углах

грома притаилась темнота, побежденная, бессильная, навеки прикованная к скале. От воды исходила удивительная побеждающая сила. Вода была прозрачна, и сквозь нее все было отчетливо видно. Она словно бы жила, говорила, осознавая свое могущество, восторгаясь собой. Мы почувствовали, что здесь мы чужие. Мой спутник не выдержал и захотел возвратиться. Я хотел остаться еще, меня приковало это чудо, я был полон восторга, но не протестовал. Никогда не забуду этих мгновений — это было венцом волшебной, приснившейся мне сказки, какое-то удивительное прощание с чудесной, таинственной природой Италии. Сейчас я еду. Куда? Бороться за счастье, красоту и радость жизни. Два последние года измучили меня, оставили после себя такую усталость... Несколько недель, проведенные здесь, придали мне новые силы. Пора заканчивать. Поезд мчится, мчится. Ужасно трясет. Пишу бессвязно, видимо потому, что полон какого-то внутреннего жара и необъяснимой, непонятной радости. Пишу все это затем, чтобы создать иллюзию, будто рассказываю все тебе, будто ты со мной и слушаешь мои слова».

Письмо шестнадцатое: «Нерви. Здесь собралась нас тройка из Десятого павильона. Мы — противники, стоим на разных политических позициях, но весело смеемся, беседуем, вспоминаем... Из Нерви поеду в окрестности Ниццы. В мыслях уже возникают дела. Здесь чудесно, в Нерви. Солнечный, теплый день. Много деревьев — стройных кипарисов, эвкалиптов, целые рощи апельсиновых, лимонных деревьев, пальмы. И море здесь ближе. Может быть, другое, но такое же прекрасное, такое же манящее».

Письмо семнадцатое: «Генуя — Милан.

Я покидаю Италию. Моря уже не видно, а такое прекрасное оно было, залитое солнцем. Еду по Миланской равнине. Лунная ночь. Широкие просторы, залитые ласковым светом. Это последний аккорд моих переживаний, моих мечтаний, моих романтических настроений. Еду с мыслью и надеждой, что снова живу и вновь стану деятельным. По поводу здоровья я написал письмо доктору, но порвал на куски и выбросил в море.

Сейчас я прощаюсь с чудесной страной, страной мечтаний. Послезавтра буду в Берне... Потом, если согласятся на выезд в Петербург, заеду в Берлин. Понравились ли Вам цветы, Пани?! Мы послали их от нас с Ксендзом и от Адама. Хотелось бы получить от Вас несколько слов, однако не могу сообщить адреса.

Днем бродил с Ксендзом (партийная кличка. — Г. К.) и его девушкой по горам. Впрочем, не устал. Чувствую себя хорошо, даже весел. Поезд приближается к Милану. Крепко жму руку Пани».

На этом швейцарские письма Феликса к Сабине Фанштейн обрываются.

Эта романтическая любовь зародилась в октябре 1906 года в Варшаве. Сабина, как в свое время Юлия Гольдман, была сестрой друга по партии Здислава Ледера (Фанштейна). В книгах про Дзержинского ее часто называют Сабина Ледер. Это неправильно. Ледер — партийная кличка ее брата, фамилия Фанштейн. Дзержинский приехал в Варшаву в связи с провалом в организации — все руководство было арестовано. Знакомство состоялось в квартире на Маршалковской. (Брат Сабины был арестован во Вроцлаве.)

В Швейцарии они так и не встретились. Феликс понял, что пережитое на Капри, казавшееся ему

большим и глубоким чувством, было только воспоминанием, словно бы далеким сном. Об этом и написал он Сабине из Кракова, уже погруженный в повседневную жизнь подпольщика, в борьбу, вновь охваченный своим Делом: «То, что произошло со мной, напоминает судьбу яблони, которая стоит за моим окном. Недавно она вся была усеяна цветами — белыми, пахучими, нежными. Но вот налетел вихрь, сорвал цветы, бросил на землю... Яблоня стала бесплодной. Но ведь будет еще весна, много весен».

РОЖДЕННАЯ ДЛЯ УСПЕХА

Партократы зажигали «кремлевские звезды», дабы последние служили режиму, а также им лично. Если «звезда» принимала предлагаемые ей условия, то ей создавались условия для оптимального «горения» — слава, почет, безбедное существование (в сочетании с постоянным контролем). Если же условия не принимались, «звезду» старались погасить. Но это не всегда удавалось. Те, кто не продавали свой талант, сохраняли сияние навсегда.

Галина Вишневская и ее муж Мстислав Ростропович были близки к «хозяевам страны», но обменяли эту близость на свободу творчества и личности.

«Я не помню своей привязанности к родителям — они всегда были мне чужими, — пишет Галина Вишневская в истории своей жизни. — Возможно, оттого, что с самого раннего младенчества — шести недель — меня взяла на воспитание бабушка и все мое детство я слышала обращенное ко мне жалостливое слово «сиротка».

Моя мать — наполовину цыганка, наполовину полька: ее мать была цыганкой...

Отец мой с юношеских лет был убежденным коммунистом. В 1921 году, семнадцати лет от роду, уже участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, стрелял в матросов. Это оставило страшный отпечаток в его душе, изуродованной ленинскими лозунгами. Всю свою дальнейшую жизнь он упорно

искал и не находил себе оправдания. Каяться, просить прощения у Бога он не мог — в Бога он не верил.

А что в таких случаях делает русский человек? Он начинает пить. В пьяном виде отец был страшен, и не было в моей жизни тогда человека, которого я бы ненавидела так, как его. С налитыми кровью глазами он становился в позу передо мной — ребенком — и начинал произносить речи, как с трибуны:

— Тунеядцы!.. Дармоеды!.. Всех перрре-естре-ляю! Мы — ленинцы! За что борр-олись? Мы делали революцию!..

Я тогда стояла, разинув рот, слушала, и в этом в дымину пьяном ленинце была для меня вся революция, все ее идеи».

В детстве Галину Вишневскую называли «Галька-артистка». Она пела грудным, низким, от природы поставленным голосом, чем немало забавляла публику, не ожидавшую такой «громкости» от трехлетней малютки.

Подростком она испытывала такое, что и взрослой не под силу. Она похоронила свою родную бабушку. Каждую ночь умирал кто-нибудь из близких и соседей. Может быть, завтра и ее очередь. Ведь сил уже совсем не осталось. Ленинград в блокаде. Помощи ждать неоткуда.

Полуголодная, но веселая, полная надежд и планов, семнадцатилетняя девушка. Артистка ленинградского областного театра оперетты. Летом 1944 года вышедшая замуж, осенью того же года — разведенная. Муж, молодой моряк Георгий Вишневский, кроме патологической ревности, оставил в память о себе и фамилию. Галина ее прославит.

Брошенная матерью, обворованная войной, чуть

не убитая голодом, эта женщина все-таки рождена для успеха, поклонения и счастья. И каждый грамм, каждую толику, каждую крупицу этого счастья она завоюет сама. Хотя немножко поможет и Бог.

Ее второй муж — Марк Ильич Губин — старше на 22 года. Галине восемнадцать, ему — сорок. Он директор театра оперетты, они все время вместе — дома, на работе, на гастролях, на концертах. Дело превыше всего. Больна, здорова, в голосе, не в голосе — выходи и пой. Театр разъездной: движется вслед за армией по едва остывшим пожарищам. Бывшая неопытная хористка уже солирует, выступает с концертами. Беременная, затягивается в корсет, поет и пляшет. А роды оказались тяжелыми, мучительными. И всего-то несколько месяцев прожил на свете ее сын. Сама с мужем сколотила гробик, сама рыла могилку. Было ей девятнадцать лет... Пора, наконец, судьбе сменить гнев на милость. Должно же и ей улыбнуться счастье! И оно улыбнулось.

В образе Веры Николаевны Гариной. Учителя пения, перевернувшего всю дальнейшую жизнь Галины Вишневской. Именно Гарина исправила то, что напортили предыдущие «педагоги», именно она сказала однажды своей смутившейся ученице: «У тебя звезда во лбу!» Галина пела сложнейшие арии из опер, муж ворчал: «Зачем тебе это, ты нормальная эстрадная певица», а где-то внутри, в легких, оживал и шевелился смертельный враг. Туберкулез. Открытая форма. Нужна срочная операция. О пении можно больше не мечтать.

Врачи уже протирали спиртом ее левый бок, готовые взяться за скальпель, когда она с криком: «Не трогайте меня, не смейте, не смейте!» — рванулась с операционного стола и убежала прочь. Ее отправили домой. Умирать. В 23 года ей хотелось жить.

И она — (спасибо контрабандному стрептомицину, дикому упрямству и запрещенному врачами пению) — выжила. И прошла по конкурсу в Большой театр. Муж обомлел. Он считал ее уроки вокала блажью, готовился снова таскаться по области с концертами-развлекалочками, а тут — на тебе — Большой.

«Он хорошо ко мне относился. — вспоминает Галина, — как и я к нему. Заботился обо мне, как нянька, за продуктами сам ходил, за руку меня на улицу гулять водил... Мне жилось с ним спокойно, и я, в общем-то, была счастлива, до тех пор пока не поняла, что отношусь у нему не как к мужу, к мужчине, а как к любящему отцу. А тогда супружеские отношения становятся противоестественными...»

И тем не менее супруги переехали в Москву. Оперная карьера удалась Галине сразу и безоговорочно. Она — в центре внимания, окружена поклонниками и почитателями, обласкана правительством. Молодая, красивая, талантливая, властная, гордая. Теперь вокруг нее всегда роятся мужчины, они как бы и существуют исключительно для того, чтобы говорить приятные вещи, дарить цветы и подарки. И молодой виолончелист с трудной фамилией Ростропович не исключение.

В эвакуации отец Ростроповича, кроме преподавания в музыкальном училище, подрабатывал, играя перед сеансами в кинотеатре «Молот». Там составилось трио: виолончель, скрипка, а на рояле играла Софья Вакман, трогательно красивая ленинградка, в которую четырнадцатилетний Мстислав Леопольдович безумно влюбился. Муж Софы Эдуард Грикуров, снисходительно наблюдал, как часа за три до сеанса в их комнатенку совершенно бесстрашно входил юный рыцарь, паж, садился на ящик у двери

и неотрывно следил, как любимая женщина управляется по хозяйству, кормит и собирает в школу сынишку. Пока они играли, он ждал в кинотеатре. В фойе гулял морозный пар, они играли в перчатках, слушатели в тулупах и валенках не особенно прислушивались к звукам «Вальса» Сибелиуса или мендельсоновского «Скерцо», которые играло трио. Слава бесился, он хотел видеть успех и своего отца, и любимой Софы. Они не то играют, догадался он и, вернувшись домой достал тетрадку, разлиновал ее нотными строчками и принялся делать переложение для трио «Лунного вальса» Дунаевского, всеми любимого по кинофильму «Цирк», вальсов Штрауса.

Через несколько дней он положил их перед отцом, отец долго смотрел на листочки, потом на сына, сказал: «Знаешь, ты сделал очень хорошее переложение, наверное, ты прав, играть нужно это. Мы их берем». И вечером, когда зазвучал в промороженном фойе «Лунный вальс», гомон и гул, который, казалось, был природной особенностью кинопредбанника, мгновенно смолк и все лица повернулись к эстраде. Все увидели наконец музыкантов. А Слава отвел глаза. Он сделал отличный подарок. Он подарил женщине успех. Чуть позже он сунул ей в сумочку свой обычный дар, пять пряников. Ежедневно в школе он получал пряник на завтрак и тут же прятал его, накапливая до пяти, чтобы в конце недели сунуть их в сумочку Софы. Теперь это мальчишеское приношение потускнело рядом с настоящим мужским подарком.

Главной женщиной его жизни стала Галина Вишневская. Великий Маэстро, уже прославленный, уже получивший от жизни все, что могла она дать ему в СССР, вдруг встретил нечто неразрешимое: замужнюю женщину абсолютно иного характера, воспи-

тания, собственную противоположность. Абсолютно им не интересуюсь.

Из книги «Галина»: «Мы сидели за столиком своей компанией. Вдруг подходит какой-то молодой мужчина, здоровается со всеми. Меня спрашивают: «Вы не знакомы?» — «Нет». — «Так познакомьтесь — это виолончелист Мстислав Ростропович»... Имя его я слышала в первый раз — да еще такое трудное. Я его сразу и забыла. Он рассказывал какие-то смешные истории, потом смотрю — яблоко от него ко мне через весь стол катится. Я собралась уходить домой, молодой человек вскакивает:

— Послушайте, можно мне вас проводить?

— Проводите...

— Можно я подарю вам эти конфеты? Ну, прошу вас, мне это очень важно...

...Вышли мы с ним на улицу, возле отеля — женщина с полной корзиной ландышей. Он всю охапку вынимает — и мне в руки! (Заметьте, дело происходит за границей, в Праге, в 1955 году.) Зашел ко мне в комнату, сел за рояль, играет... И вдруг!

Выскочил из-за рояля и опустился на колени!

— Простите, я еще в Москве при нашей первой встрече заметил, что у вас очень красивые ноги, и мне захотелось их поцеловать...»

И наконец: «Сошли с дрожек, попали в густую чащу, впереди — высокая каменная ограда.

— Придется возвращаться...

— Зачем? Полезем через стену.

Уже с другой стороны кричит мне:

— Прыгайте!

— Куда же прыгать — смотрите, какие вокруг лужи и грязь!

— Да ничего, я вам сейчас пальто подстелю!

И летит его пальто в лужу!» Может женщина усто-

ять перед таким натиском? Не может. Он увозит ее от мужа, даже не увозит, крадет. Все? Хеппи-энд? Если бы. На самую красивую женщину Большого театра «кладет глаз» глава тогдашнего правительства Булганин. Приглашает ее на приемы, сажает между собой и Хрущевым, зовет на дачу, откровенно объясняет свои желания и выгоды, которые с этого можно получить. Следует за Вишневской неотступно, приезжает к ним домой. Но разговаривает с Ростроповичем, потому что он — главное препятствие. Кто еще из тогдашних мужей помешал своей жене стать правительственной «фавориткой»?

«Бывало, охмелеют оба, старик упрется в меня глазами, как бык, и начинается:

— Да обскакал ты меня...

— Да вроде бы так.

— А ты ее любишь?

— Очень люблю...

— Нет, ты мне скажи, как ты ее любишь? Эх ты, мальчишка! Разве ты можешь понимать, что такое любовь! Вот я ее люблю, это моя лебединая песня... Ну, ничего, подождем, мы ждать умеем, приучены...»

Увы, старый лебедь не дождался. Правители приходят и уходят, а музыка вечна.

Глава советского правительства Булганин высказывал свои притязания в открытой и несколько грубой форме. В первые же дни после бракосочетания Слава и Галина, скрываясь от всех, наслаждались обществом друг друга. Булганин все это время лихорадочно разыскивал Галину по всей Москве. Никто не мог дать ему вразумительного ответа: куда делась прима. Булганин отправляет своих «вассалов» в розыск. Вскоре через знакомого Галины они вышли на ее след. На квартиру, где Галина и Слава прятались от людей, позвонил сам министр культуры и при-

гласил Галину Вишневскую на день рождения к Булганину. Через полчаса у крыльца уже стояла машина. Галина, едва успев одеться и прибрать волосы, поехала за город на личную дачу к Николаю Александровичу Булганину. Эта дача располагалась в Жаворонках. Отметить предстояло его 60-летие. Хотя изначально Галину Павловну приглашались на так называемый прием. По приезду она обнаружила самую банальную пьянку. На крыльце ее встретил председатель КГБ Серов. Как только первая красавица Большого появилась в зале, обрадованный Булганин бросился усаживать ее на самое почетное место (между ним и Хрущевым).

Галина чувствовала себя в этой компании крайне неуютно. За столом сидели члены Политбюро с женами, несколько маршалов. Галина могла видеть совсем близко всех тех, кого с детства должна была боготворить, чьи портреты висели во всех учреждениях. И вот теперь они сидели в такой «домашней» обстановке. Это были совсем не те приветственно машущие с трибуны руками люди. На фоне стола, заваленного бутылками и снедью, эти грубые, властные, много пьющие мужчины выглядели как-то неестественно. И вовсе не потому, что их громкие голоса, обрюзгшие лица, почти вульгарные манеры не гармонировали с общим духом пьянки. Скорее, дело было в том, что им никак не удавалось расслабиться, быть естественными — они по-прежнему не доверяли друг другу, и казалось, что они боятся повернуться друг к другу спиной.

За столом сидели все те, кто в свое время верой и правдой служили Сталину, а значит, были соучастниками его злодеяний. Отсутствовал только Берия, расстрелянный совсем недавно. Собравшиеся громко говорили, беспрестанно перебивая друг друга.

Особенно старался Каганович, его резкий, с сильным еврейским акцентом, хриплый голос заметно выделялся из общего шума. Вместо тостов здесь, как на собрании, звучали лозунги и цитаты из газет. Каждый пытался льстить Булганину. Причем лесть, как правило, была грубой, топорной. Хорошо зная его слабости, всякий норовил назвать его «наш интеллигент». Дамы за столом больше молчали. Внешне эти женщины были еще менее привлекательны, чем их мужья. Невысокие, полные, неестественно напряженные, они, вероятнее всего, мечтали только об одном: поскорей бы это все закончилось и можно было уйти домой. Их туалеты и прически оставляли желать лучшего. Женщины были настолько серыми, что случись им попасть в одно место два раза, вряд ли бы их там узнали. Немного поактивней вела себя жена Лазаря Кагановича — некрасивая, мужеподобная женщина. Иногда она даже позволяла себе кое-какие реплики, которые касались прошлого именинника. Беззубый, глухой Ворошилов пытался перекричать всех, вспоминая кавалерийские подвиги именинника. Вполне вероятно, что некоторые из сидевших за столом женщин не так давно вернулись из сталинских лагерей. В свое время мужья принесли их в жертву системе. Трусливо думая прежде всего о своей шкуре, они не пытались защитить своих жен. Теперь эти женщины вернулись к прежней жизни. Никто никогда не узнает, о чем они думали, сидя на этом празднике.

За беседой Булганин невзначай завел разговор о ее замужестве. Галина решила ему подыграть. Она подробно отвечала на его вопросы: кто ее муж, как его зовут, хотя прекрасно знала, что Булганин осведомлен о жизни Славы, может быть, еще больше, чем она. Говоря о Ростроповиче, Галина очень сильно

разволновалась и едва сумела выговорить сложное имя мужа. Подняв глаза, она поймала на себе взгляд Жукова, сидевшего неподалеку. Это был средних лет, коренастый, крепко сложенный мужчина, одетый в генеральский мундир. Единственный на этом вечере, кто не проронил ни слова. Неожиданно для всех он несколько грубовато вытащил Галину на середину комнаты и начал плясать «русскую». В его танце чувствовалась злоба, а неистовство, с которым он стучал сапогами об пол, пугало. Было заметно, что этот человек танцует не от счастья, а, скорее, скрывая свою ярость.

Утро следующего дня началось с сюрприза. В коммунальную квартиру, где жила Галина, спозаранку пришел молодой полковник с огромным букетом цветов. Открывшая дверь Софья Николаевна несколько растерялась. Полковник не обратил внимания на смущение женщины и прогремел на весь этаж: «Николай Александрович Булганин просил передать Галине Павловне цветы». Женщина едва удержала тяжелую ношу и, поблагодарив за подарок, закрыла дверь. А между тем у Галины начинался медовый месяц. Ей меньше всего хотелось, чтобы кто-то его портил. Однако эгоистичные планы Николая Александровича вовсе не хотели учитывать этого обстоятельства. Уже к вечеру в коммунальной квартире раздался звонок из Кремля. Конечно же, это Булганин. В первую очередь Галина поблагодарила его за цветы и попыталась свести разговор к уровню светской болтовни. Но, как говорится, не на того напала. Булганин был тверд в своих намерениях и не собирался отступать. Он разговаривал с ней так, будто был единственным мужчиной в ее жизни. В конце концов он добился ее согласия поужинать.

Вечером возле ее дома произошло невероятное по тем временам событие. К подъезду подъехали три черных «ЗИЛа». В среднем сидел сам «хозяин». Всем своим видом он давал понять, что намерения у него крайне серьезные и просто так от него не отделаешься. Это было начало тяжелых и сложных отношений. Булганин ежедневно приглашал чету то к себе, то на дачу. Все это сопровождалось бесконечными пьянками. Сам Николай Александрович это дело очень любил. Слегка подвыпив, он начинал рассказывать Ростроповичу о том, как любит его жену, о том, что она его «лебединая песня», и намекал на то, что его время обладания этой женщиной еще не пришло. Булганин вел себя так, будто Ростропович и не был мужем Вишневецкой. Он постоянно говорил ему о том, что любое желание Галины может быть исполнено, так как он ее обожает. На одном из таких увеселительных мероприятий встал вопрос о квартире. Мстислав попытался убедить Булганина в том, что скоро построится кооперативный дом, где у них уже оплачена жилплощадь. Он сказал, что потратил на эту покупку всю Сталинскую премию. Николай Александрович попытался было убедить Ростроповича воспользоваться его услугами: «Я вам в любом доме квартиру устрою, какую только пожелаете!» Мстислав вежливо отказался, говоря о том, что эта квартира им честно заработана, и она его собственность — так спокойней. Вероятнее всего, Булганин часто сожалел, что вся эта история случилась не несколькими десятками лет раньше, когда у власти был Сталин и можно было с легкостью избавиться от соперника. Николай Александрович иногда пускался в воспоминания и рассказывал о похождениях Берии, который насиловал несовершеннолетних девочек.

После того как Берия выбирал жертву, кегебешники просто хватали ее на улице, заталкивали в машину и привозили «хозяину». Больше всего возмущало в этих рассказах то, что такие негодяи десятилетиями правили страной. Булганин был выходцем из той же среды. Наследник Сталина, сумевший несколько смягчить политический режим учителя, внешне выгодно выделялся среди других членов правительства. Он имел действительно интеллигентный вид, довольно приятные манеры, в его осанке чувствовалась «голубая кровь». Общаясь с Галиной, он всегда был подчеркнуто вежлив, но излишне напорист и даже нагловат. Иногда он даже мог внушить жалость к себе со стороны Мстислава и тот, несмотря на обстоятельства, начинал мягко отзываться о Булганине: «Ведь он очень милый человек. Только зачем он за тобой ухаживает? Если б не это — я с удовольствием с ним дружил бы!». Конечно же, не дружбы с Ростроповичем искал Николай Александрович и, вероятнее всего, если бы была такая возможность, он бы вообще избавился от этого юноши, который так лихо опередил его. За глаза Булганин называл Ростроповича «мальчишкой» и не скрывал раздражения. Ростропович, в свою очередь, называл его «кукурузой» и тоже нервничал.

Сначала Ростроповичу даже льстило, что он вышел победителем в поединке с самим «хозяином». Но вскоре двусмысленность его положения стала пугающей. Круг знакомых Мстислава резко расширился. Его считали счастливым и норовили поздравить при встрече. Никто и не думал осуждать чету за столь необычную связь с Булганиным. В рабском подхалимаже и лживом восхищении с ними искали знакомства. И все это делалось для того, что-

бы через них решить свои насущные проблемы: звание, квартира, установка телефона. Мстислав в такой ситуации не выдержал. Он вдруг ощутил себя униженным и подавленным. После очередной попойки, под хмельком, раздевшись до трусов, влез на подоконник и пригрозил выброситься вниз, если Галина не предпримет никаких попыток умирения престарелого ухажера. Высота, конечно, там была небольшая, метра четыре, но ноги переломать можно было запросто. От необдуманного поступка его отговорила жена, крикнув на весь дом: «Куда ты прыгать собрался? Я беременна!..» Таким образом он узнал о том, что у них будет ребенок. Забыв про все на свете, пьяный от счастья Ростропович схватил книгу Шекспира и с упоением стал читать великие сонеты. Он хотел, чтобы Галина прониклась гениальностью этих произведений и зародившаяся в ней новая жизнь наполнилась прекрасным высоким смыслом.

С тех пор он с этой книгой не расставался. Каждый день заканчивался чтением сонетов. Отношения с Булганиным надо было как-то сводить к минимуму, но это было слишком опасное решение. Чтобы избавиться от Булганина, нужна была серьезная причина. И что бы они ни предприняли в тот момент, они рисковали нажать себе всесильного врага. Под разными предложениями Галина стала отказываться от приглашений домой или на дачу. Тогда Булганин пошел другим путем. Он попытался воздействовать на Вишневскую через Министерство культуры. Потянулась череда приглашений петь на приемах в Кремле. Срывались репетиции, спектакли, а если Галина отговаривалась тем, что устала, этого вообще не хотели слушать. В министерстве были убеждены, что оказывают ей большую честь,

а значит, ни о какой усталости не может быть и речи. После звонков из министерства следовали приглашения от самого Булганина. Вскоре Галине надоело эти бесконечные звонки-приглашения, надоело подбирать слова для отказов, и она, «...стоя в вонючем коридоре коммунальной квартиры, в ярости орала в телефонную трубку: “Что вы валяете дурака! Звоните по нескольку раз на день, будто не понимаете, что мы не можем бывать у вас дома! Мне надоело сплетни вокруг меня! Я не хочу петь на ваших приемах. Почему? Потому, что мне противно! Я не желаю во время пения видеть ваши жующие физиономии... Меня это унижает! И хотя по вашим понятиям, это большая честь, я прошу вас раз и навсегда избавить меня от подобной чести...”» Булганин выслушал тираду Галины и, перезвонив через какое-то время, извинился и тут же пригласил их вечером на ужин. Все началось сначала за исключением правительственных приемов: туда ее больше не приглашали никогда. Для Галины Вишневской Булганин сделал еще одно доброе дело: избавил ее от необходимости общения с Василием Ивановичем Серовым, который неоднократно предлагал Галине Павловне заняться написанием доносов. На одном из обедов у Булганина Вишневская решила пожаловаться ему на шефа КГБ. Николай Александрович был возмущен. «Что?! С ума они сошли, что ли? Федька! — позвал адъютанта. — Соедини меня с Васькой Серовым!» Разговор с председателем КГБ был далеко не лицеприятным. Обрывки грубых фраз доносились и до обедающих, но после этого Галину оставили в покое. В этот период ее жизни это была большая поддержка. В конце концов даже слухи о ее высоких связях делали людей в общении с ней более осмотрительными. Булганин оказал че-

те Ростропович-Вишневская еще одну услугу, и сделал это, сам того не подозревая. В 1956 году был достроен дом, где Мстислав купил квартиру. Молодые впервые ощутили себя хозяевами собственного жилья. Квартира была большая: четыре комнаты, ванная, кухня. После тесноты коммуналок она была просто дворцом. У них не было ничего — ни мебели, ни посуды, но они были счастливы. Через три месяца должен был родиться их первенец — и произойдет это событие в их собственном доме. Новоселье справляли, устроившись по-турецки на полу. За несколько часов до этого Галина купила в свой дом первые вилки, ножи и тарелки. Кроме них в квартире поселилась домработница Римма. С большим трудом удалось купить столовый гарнитур. Как часто бывало в жизни у Галины, радость не шла отдельно от печали. Не успели молодожены привыкнуть к мысли о том, что у них есть собственная квартира, как выяснилось, что ордер на нее им никто не даст, несмотря на то, что деньги были заплачены заранее. По законодательству Советского Союза норма жилплощади на одного человека — 9 квадратных метров, а у них оказалось 100 квадратных метров на двоих. Мстислав пытался решить этот вопрос в райсовете, Моссовете, но везде он слышал решительный отказ. Он пытался убедить чиновников в том, что намеревается иметь много детей и, в конце концов, заполнит все лишние метры. Но чиновники и слушать его не хотели. Предлагалось немедленно освободить квартиру и въехать в двухкомнатную в том же доме. Галине Вишневской не хотелось обращаться к Булганину, но все получилось само собой. Под Новый год Ростропович и Вишневская были приглашены в Кремль, но Галине вот-вот надо было рожать, и поэтому они решили остаться дома.

После боя курантов, поздравив друг друга, они легли спать. В два часа ночи их разбудил Булганин и попросился в гости. Булганин приехал не один. Гости, прибывшие прямо с кремлевского банкета, шумели и разбудили весь дом. Лифтерша чуть не упала в обморок, увидев в подъезде самого Булганина. Двор был забит машинами с охраной. Не один день после этого весь дом гудел разговорами о том, как в квартире Ростроповича встретил Новый год сам Николай Александрович. Не прошло и двух дней, как из Моссовета им принесли ордер на квартиру. Извинились и пообещали отныне во всем сотрудничать.

Но ничто не смогло защитить их от произвола властей, когда они позволили жить у себя на даче Солженицыну.

В 1974 году они покинули пределы Советского Союза и были лишены гражданства. В эпоху перестройки и гласности Указом Президиума Верховного Совета СССР Мстислав Ростропович и Галина Вишневская восстановлены в советском гражданстве. Одновременно признан утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении их государственных наград и почетных званий народных артистов СССР.

ЛЮБОВЬ И БЕЗУМИЕ

Загадка сумасшествия всегда интересовала людей. Некий мистический ужас по отношению к психически больным, как правило, сочетается с интересом, любопытством.

Мировая литература посвятила психически больным много поразительных страниц. Постигание извивов сломанной души и парадоксальной логики сумасшедшего — с давних пор трудная и непостижимая задача.

Сходят ли с ума от любви? Или безумная любовь только следствие расстройства нервной системы?

Галина Бениславская была дочерью французского студента и грузинки. Родители вскоре расстались, мать тяжело заболела психически, и девочку удочерили родственники, жившие в латвийском городе Резеке. Галина с золотой медалью окончила Преображенскую гимназию в Петербурге, в 1917 году поступила в Харьковский университет на факультет естественных наук, но революционные события помешали закончить учебу. Работала в секретариате ВЧК, в это время жила в Кремле. С 1923 года — секретарь в газете «Беднота».

Унаследованная от матери неврастения иногда давала себя знать, Галина дважды лечилась в санаториях для невротиков.

Это было смутное и безумное время.

В советских карательных органах царило моральное разложение.

Как свидетельствовал бежавший на Запад чекист Георгий Агабеков: «Ягода окружил себя хотя и бездарной, но преданной публикой... Одним из таких прихлебателей является его секретарь Шанин, уголовная личность с явно садистскими наклонностями. Этот Шанин устраивает частенько для Ягоды оргии с вином и женщинами, на которые Ягода большой охотник. Девочки на эти вечера вербуются из комсомольской среды» (Агабеков Г. С. «Г. П. У. Записки чекиста», Берлин, 1930). Здесь Ягода вполне мог соперничать с другим оберчекистом — Яковом Христофоровичем Петерсом, о котором Агабеков писал: «Петерс — фигура окончательно разложившаяся. Женщины и личная жизнь интересуют его больше, чем все остальное. Еще будучи полномочным представителем ОГПУ, он, разъезжая по окраинам, всегда имел при себе в вагоне двух-трех личных секретарш, которых, по мере надобности, высаживал из поезда по пути следования».

Что же представляли из себя эти личные секретарши и девочки из комсомольской среды? Большинство из них сгинуло без следа, растворилось в потоке времени. Никому и ничего они уже не расскажут, а ведь как интересно... Вспоминаю о своем. Москва, Ваганьковское кладбище. Мне 13 лет, мы с мамой пришли на могилу Есенина. Смотрю на памятник Есенину.

— А рядом похоронена Галина Бениславская, которая застрелилась на его могиле. — говорит мне мама.

— Зачем? Почему?

— Любила его. Потом многие стрелялись на этой могиле, но она первая. Одно время стреляться

на могилах было модно. На самоубийства тоже бывает мода. Эпидемию самоубийств может породить талантливое произведение искусства. Появление в 1774 году «Страданий молодого Вертера» Гете гениального описания жизни и смерти юноши от несчастной любви, вызвало целую волну самоубийств среди молодежи в подражание любимому герою. Примерно такой же эффект на русское общество начала XIX века оказала «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. Сотни американцев в свое время последовали примеру кинозвезды Мэрилин Монро...

Все это я узнала на могиле Есенина. Звучало это убедительно. Но не могла я знать в свои 13 лет, что женщина, убившая себя на могиле поэта, работала в секретариате ВЧК и некоторое время жила в Кремле. А сам Есенин имел друзей среди чекистов и даже ходил смотреть, как расстреливают людей. По одной из версий, эти же друзья-чекисты «помогли» поэту уйти из жизни.

Галина Бениславская безумно любила поэта и свела счеты с жизнью после его смерти. Несмотря на безумную страсть к Есенину, ее сексуальная жизнь была разнообразной. Среди любовников Галины Бениславской были и видные чекисты. Это классический пример невротической потребности в любви. Как все это сочеталось с работой в ВЧК? Очень просто: нормальных людей там было мало. Примесь элемента страсти к истинной любви вносит в душевное состояние человека новый элемент — элемент побуждения к обладанию предметом, элемент эгоистический, требующий удовлетворения и взаимности. Чрезмерная страсть, присоединяющаяся к любви, тушит альтруистическое чувство, часто затемняет светлую сторону идеального уважения. Удовлетворение страсти усиливает жажду ее.

Галя Бениславская впервые увидела Есенина во время его выступлений в 1916 году. Судьба свела их в 1920-м. Галина влюбилась без памяти, некоторое время жила с Есениным, а с осени 1923-го и вплоть до 1925-го занималась его издательскими делами.

По официальной версии Есенин лежал в сумасшедшем доме, зимой 1925-го приехал в Ленинград и, обуреваемый хандрой, повесился в гостинице «Англетер» четверо суток спустя... Было ему 30 лет.

Мариенгоф вспоминал: «В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки.

От первой, утренней, рюмки уже темнело его сознание.

А за первой, как железное правило, шли — вторая, третья, четвертая, пятая...

...К концу 1925 года решение «уйти» стало у него маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом».

Когда Есенин стал много пить и болел, Бениславская, бесконечно преданная поэту, делала все возможное (как ей казалось), чтобы спасти его. «Милый, хороший Сергей Александрович! Хоть немного пощадите вы себя. Бросьте эту пьяную канитель», — писала она в одном из писем. Не понимая самого явления похмельного синдрома, говорила Галина о последствиях «пьяной канители». «Вы сейчас какой-то «не настоящий». Вы все время отсутствуете. И не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя, все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Посмотрите, каким вы стали нетерпимым ко всему несовпадающему с вашими

взглядами, понятиями. У вас это не простая раздражительность, это нетерпимость», — писала Галина. Всем своим существом Бениславская привязалась к Есенину и его родным. Через год после смерти поэта — 3 декабря 1926 года — она застрелилась на его могиле и завещала похоронить ее рядом с ним. Она оставила на могиле две записки. Одна — простая открытка: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя я знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина... Но ему и мне все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое». У нее были револьвер, финка и коробка папирос «Мозаика». Она выкурила всю коробку и, когда стемнело, отломала крышку коробки и написала на ней: «Если финка после выстрела будет воткнута в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль — заброшу ее далеко». В темноте она дописала еще одну строчку, наехавшую на предыдущую: «1 осечка». Было еще несколько осечек, и лишь в шестой раз прозвучал выстрел. Пуля попала в сердце. Осознав невозможность своего существования без Него, она ушла из жизни, застрелив себя на его могиле. Ответное чувство Есенина не просматривается. Это не случайно: его захватила страсть к алкоголю. Неврастеническая любовь никогда не обвиняет любимого, не замечает его недостатков. «Если бы для него надо было умереть. И при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнется, узнав про меня, смерть стала бы радостью».

Не узнал. Да и не интересно все это ему было. Е. А. Устинова, которая часто бывала откровенна с поэтом, после его смерти вспоминала: «Помню, заложив руки в карманы, Есенин ходил по комнате, опустив голову, и изредка поправлял волосы.

— Сережа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил? — спрашивала я.

— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так скучно!

— Ну, а творчество?

— Скучное творчество! — Он остановился, улыбаясь смущенно, почти виновато. — Никого и ничего мне не надо — не хочу! Шампанское, вот, веселит, бодрит. Всех тогда люблю и... себя! Жизнь — штука дешевая, но необходимая. Я ведь «божья дудка».

Я попросила объяснить, что значит «божья дудка». Есенин сказал:

— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же».

Из дневника Галины Бениславской:

1921 год. 23.12. Я не знаю, хорошо это или плохо. Сначала... было дорогое, но милое воспоминание и одно из сердечных свиданий с Ним, таким большим. А теперь опять шквал. Теперь он небрежен, но это не важно. Внутри это ничего не меняет. А по временам вспыхивает и охватывает то — стихийное.

1922 год. 01.01. Хотела бы я знать, какой лгун сказал, что можно быть неревнивым! Ей-Богу, хотела бы посмотреть на этого идиота! Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подавать вида, больше того, — можно разыгрывать счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты — вторая; можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки если любила так, по-настоящему, — нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую. Иначе, значит, — мало любишь. Нет, нельзя спокойно знать, что Он кого-то предпочитает тебе, и не ощущать боли от этого сознания. Как будто тонешь в этом чувстве... И все же буду любить, буду кроткой и преданной,

несмотря ни на какие страдания и унижения.

31.01. ...он проводил нас (и поехал к Дункан)... когда я поборю все в себе, все же останется это теплое и самое хорошее к нему. Ведь смешно, а когда Политехнический взывает, гремит: «Е-се-нин» — у меня счастливая гордость, как будто это меня. Как он «проводил» тогда ночью, пауки ползали, тихо, нежно, тепло. Проводил — забыл, а я не хочу забывать. А как опустошенно все внутри, нет ведь и не найдешь ничего равного, чтобы можно было все опустошенное заполнить.

Утро 01.02. Вчера заснула, казалось, что физическая рана мучит, истекает кровью. Физическое ощущение кровотечения там, внутри. Сейчас пришла Яна и все испортила, было успокоение и ощущение своей молодости, задора, сознание, что если и люблю так, как никого, то все же есть еще жизненные силы. А она из всяких «соображений» грубо сказала, что я опять с С. и т. д., и все, все испортила. Успокоение, завоеванное таким усилием, — даром это не дается — нарушено. (Яна — Янина Козловская, близкий друг Гали, дочь известного революционера М. Ю. Козловского. — Прим. ред.) Что же делать, если «мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его». Но я справлюсь с этим. Как странно определять и измерять его отношение по отдельным движениям не его, а окружающих. И так грустно, грустно.

14.03(?). Сейчас прошли две соседки по комнате, «любовались» моими волосами (я сижу распущенная — мыла их), и мне опять делается невыносимо грустно. Я теперь совершенно не выношу, когда мне говорят, что у меня красивые глаза, брови, волосы. Ничем мне нельзя сделать так мучительно больно, как этим замечанием. Боже мой, да за-

чем мне все это, зачем, если этого оказалось мало!..

21.03. В четверг начался очередной приступ тоски, а на следующий день я боролась, вспоминая, что было ведь все очень хорошо — чего же больше? А с другой стороны, тошнота при мысли, что он там со своей старухой-женой и день и ночь. Со всем этим багажом поехала на лыжах далеко. Ничего не хотелось, только жить вместе с лесом. Я стояла, глядя на зеленые верхушки сосен, на небо, такое голубое, и казалось, что это лето: птицы поют, солнце ласково греет; конечно, лето. И вдруг — неожиданная мысль о... Я испугалась, думала, будет больно. Захочу видеть. Нет, захотелось только, чтобы он тоже смог увидеть всю эту красоту. Я раньше частенько думала... что, сохранив «физическую невинность», я принесу самую трудную жертву любви к Есенину. Никого, кроме (него). Но не было бы это одновременно доказательством того, что я жду и моя преданность вызвана именно этой искусственной верностью. А нарушение этой «верности», с одной стороны, устранил невольные требования к Есенину, а с другой стороны, может дать хорошие, ничего не обязывающие отношения с другими. Если я хочу быть именно женщиной, то никто не смеет мне запретить или упрекнуть меня в этом! Пожара уже нет, есть ровное пламя. И не вина Есенина, если я среди окружающих не вижу людей, все мне скучно, он тут ни при чем. Я вспоминаю, когда я «изменяла» ему с И., и мне ужасно смешно. Разве можно изменить человеку, которого любишь больше, чем себя? И я «изменяла» с горькой злостью на Есенина, и малейшее движение чувственности старалась раздуть в себе, правда, к этому примешивалось любопытство.

08.04. Так любить, так беззаветно и безудержно

любить. Да разве это бывает? А ведь люблю, и не могу иначе: это сильнее меня, моей жизни. Вот сегодня — Боже мой, всего несколько минут, несколько минут нетерпеливого внимания, — и я уже ничего, никого, кроме Него, не вижу. Вот как будто уляжется, стихнет, но стоит поманить меня, и я по первому зову — тут. Смешно, обреченность какая-то. И подумать — я не своя, во власти другой воли, даже не замечающей меня. А как странно: весна в этом году такая, как с Ним, — то вдруг совсем пересилит зиму, засверкает, загудит, затрепещет, то — зима расправит свои мохнатые крылья и крепко придушит весну. Так и с ним: радость, как птичка, прилетит, и тут же снова выпорхнет — не гонись, не догнать все равно. Жди, может, вернется.

12.04. Была с Яной на диспуте. Был и он с Айседорой, и никого не видел, никого, кроме нее. Айседора — это другой берег реки, моста и переправы обратно нет! Айседора, именно она, а не я предназначена ему, и я для него — нечто случайное. Она — роковая, неизбежная. Встретив ее... он должен был все, все забыть. Ее обойти он не мог. И что бы мне ни говорили про ее старость, дряблость и проч., (Айседора Дункан была на 15 лет старше Есенина.), я же знаю, что именно она, а не другая должна была взять его. Я осталась далеко позади, он даже не оглянется, как тот орел, даже если бы я за ноги стала его хватать. Не физическая близость! От него мне нужно больше: от него нужна та теплота, которая была летом. И все!!!

27.04. Так грустно, как будто дочитываю последние страницы хорошей книги. Вот закрою, и все как сон, будет опять обыденная жизнь. И он никогда не оглянется на меня, мимоходом сломанную им. И все же мне до боли радостна эта обреченность, и я ни на что ее не променяла бы.

22.05. Уехал. Вернее, улетел с Айседорой. «Сильнее, чем смерть — любовь». Страшно писать об этом, но это так: смерть Есенина была бы легче для меня. Я была бы вольна в своих действиях. Я не знала бы этого мучения — жить, когда есть только тяга к смерти. Ведь что бы ни случилось с Есениным и Айседорой, возврата нет. После Айседоры — все пигмеи, и, несмотря на мою бесконечную преданность, я ничто после нее (с его точки зрения, конечно). Я могла бы быть после Л. К., З. Н., но не после нее. Здесь я теряю.

16.07. «Она вернется через год. Сейчас в Бельгии...» — так ответили по телефону. Значит, и Он тоже. А год иногда длиннее жизни. Как ждать, когда внутри такая страшная засуха?..

1924 год. Я опять больна, и, кажется, всерьез и надолго. Неужели возвращаются такие вещи? Казалось, крепко держу себя в руках, забаррикадировалась, а ничто не помогло. И теперь хуже. Тогда... я верила в счастье любви, а теперь знаю, что «невеселого счастья залог сумасшедшее сердце поэта». И все же никуда мне не деться от этого...

26.08. Крым, Гурзуф. Вот, как верная собака, когда хозяин ушел, — положила бы голову и лежала, ждала возвращения.

1925 год. 11.07(?). Прошло, по-моему, много-много лет. Это последняя глава первой части. Авось на этом моя романтика кончится — пора уж. Сергей — хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. Обозлился за то, что я изменяла? Но разве не он всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было испы-

тание?! Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли? Сергей понимал себя, и только. Всегдашнее — «я как женщина ему не нравлюсь» и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем! Чтобы это льстило ему! Пускай бы Сергей обозлился, за это я согласна платить. Мог уйти. Но уйти не так, считая столы и стулья — «это мое тоже, но пусть пока останется», — нельзя такие вещи делать и... Почему случилось? — знаю. Клевета сделала больше, чем было на самом деле, — факт, Сергею трудно было не взбеситься, и не в силах он был оборвать это красиво... Боже мой, ведь Сергей должен был верить мне и хоть немного дорожить мной. Я знаю, другой такой, любившей Сергея не для себя, а для Него, он не найдет. И если я себя как женщину не смогла бросить ему под ноги, — то разве ж можно было такое требовать от меня, ничего не давая?..

16.11. Я оказалась банкротом. Не знаю, стоил ли Сергей того богатства, которое я так безрассудно потратила? Я думала, ему правда нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник. Не хочется идти к Толстой, ну, а сюда просто, как домой: привык, что не ругаю пьяного и т. д. То, что было, было не потому, что он известный поэт, талант. Иногда я думаю, что он мещанин и карьерист... Погнался за именем Толстой — все его жалеют и презирают: не любит, а женился. Даже она сама говорит, что будь она не Толстая, ее никто не заметил бы даже. Он сам себя обрекает на несчастье и неудачу. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. А я знаю, отчего у меня злость на него, — оттого, что я обманулась, идеализировала и отдала своей дуростью и глупым самопожертвованием все во мне хорошее

и ценное. И поэтому я сейчас не могу успокоиться...

Декабрь 1926 года. Да, Сергунь, все это была смертная тоска. Оттого и был ты такой, оттого и так больно мне. И такая же смертная тоска по Нему у меня.

1926 год. Вот, мне уже наплевать. И ничего не надо, даже писать не хочется... постоянно продолжающаяся болезнь. Сергей, я тебя не люблю, но жаль «То до поры, до времени...» (писала пьяная).

Дневник, в котором столько эмоций, желания устоять и выстоять, несмотря на испытываемые муку и униженность, на этом обрывается. Неотвратимо сознание невозможности жизни без Него: «Так любить, так беззаветно и безудержно любить. Да разве это бывает?» Бывает и не такое у психически неуравновешенных людей. Год спустя после смерти Есенина она застрелилась на его могиле. Самоубийства вдов во многих странах являлись доказательством верности мужу. В римской истории известен случай, когда Порция, жена Брута, узнав о смерти супруга, немедленно проглотила горсть горящих углей. Это было давно, а позже самоубийство стало считаться преступлением против Бога и приравниваться к убийству. Ведь жизнь человеку дана Богом, и только он вправе забрать ее. Попытка избежать страданий, ниспосланных Всевышним, объявлялась религиозными теоретиками христианства грехом, лишаящим удавленника или утопленника прощения и спасения души. Им отказывали в погребении на кладбище, их позорно хоронили на перекрестках дорог. Страдала и семья грешника, лишаясь законного наследства. А чудом оставшийся в живых приговаривался к заключению и каторжным работам как за убийство. В Военном и Морском артикуле Петра I имелась довольно суровая за-

пись: «Ежели кто себя уььет, то мертвое тело, привязав к лошади, волочить по улицам, за ноги повесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собой чинить не отваживались».

Но человек душевнобольной не отвечает за свои поступки, а Галя Бениславская была именно такой — невеняемой. Выдающийся русский психиатр П. И. Ковалевский писал: «Я убежден, что по историям болезни умалишенных можно с большой точностью написать историю волнений и переживаемых умственных колебаний данного общества». И то, что относится к Бениславской непосредственно: «Неврастеники очень легко подчиняются чужому мнению: утром они подчиняются одному, вечером другому, совершенно противоположному мнению. Своего взгляда, собственной критики, собственного разбора того или другого мнения у них нет и они постоянно у кого-нибудь под башмаком. Но рядом с этим у неврастеников проявляются отдельные мысли и поступки, выходящие из ряда обыкновенного. Больные эти мало склонны к строгому мыслительному процессу, — они с большим наслаждением и большим удовольствием живут образами чувств, мечтаний и фантазий».

Несомненно, что в состоянии безумия появляются иногда проблески мысли и поэтические способности. Причина этому лежит в повышенной возбудимости нервной системы, к которой, конечно, сводится и замечаемое часто, как при гениальности, так и при безумии, предрасположение к внезапным, сильным аффектам.

ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

М. ГОРЬКОГО

Максим Горький в глазах прекрасного пола считался мужчиной привлекательным и загадочным. Одна из причин — развитая фантазия и воображение, страстные желания и неосознанные комплексы. Натура Горького не могла примириться с суровой прозой жизни, это глубокое противоречие постоянно оказывало влияние на его личные дела.

У Горького было много женщин, которые его любили, но были и женщины, которые очень не любили его.

«Опять там Максим Горький. Он действительно делает дурное дело. Он — Суворин при Ленине. Оказывается, Ленин был у него перед отъездом. И Горький с ним беседовал, и руку пожимал!

Горький продолжает в «Новой жизни» свое худое дело. А в промежуток скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», буквально умирающих с голоду. Впрочем, он не негодяй, он просто бушмен. Но уже не с «бусами» невинными, как прежде, а с бомбами в руках; и разбрасывает их повсюду, для развлечения», — так писала Зинаида Гиппиус в 1918 году.

Горький уже в 13 лет влюбился в красавицу вдову, которая давала ему книгу из своей библиотеки, вела разговоры о вечной женственности и добре. Алеша мысленно называл ее «королевой Марго»,

поверял ей все свои секреты. Алеша ходил к ней на квартиру вместо церковной службы. Иногда она принимала его, попивая кофе в постели, а однажды ему посчастливилось: «королева Марго» начала при нем одеваться. «Она надела чулки в моем присутствии, и я не почувствовал никакого смущения — было нечто чистое в ее наготе». Вскоре последовал удар: прибыв на очередное свидание, юный Алеша с удивлением обнаружил в постели Марго мужчину. «Честно говоря, я не поверил, что моя королева могла дарить любовь, как все другие женщины», — признавался Горький. Рана была жестокой и не заживала долго.

В юности Алексей, по его признанию, бывал свидетелем оргий, однако участия в них не принимал, а стоял, прислонясь к стене, и пел народные песни, надеясь, что хоть это сбавит пыл окружающих. Тем не менее глубокую потребность в любви он испытывал постоянно. В 1887 году у девятнадцатилетнего Алексея развилась острая депрессия. Мучаясь от одиночества, он пытался покончить жизнь самоубийством, однако пуля попала не в сердце, а в легкое, и он остался жив. А депрессия не проходила, и Горький вынужден был обратиться к психиатру, давшему простой, но полезный совет. «Вам, голубчик, нужна знающая дело бабенка, — и все ваши депрессии как рукой снимет!»

Судьбе было угодно вывести молодого человека из кризиса — Горький влюбился в замужнюю даму Ольгу Каменецкую, красивую и остроумную, к тому же некоторое время пожившую в Париже, что придавало ей некий шарм. Ольга была старше на десять лет и не собиралась разводиться с мужем, на чем упорно настаивал ее возлюбленный, страдавший оттого, что кто-то еще делит с ней ложе. Он умолял

ее навеки соединить с ним судьбу или грозил разрывом. Однако рассудительная Ольга предпочла сохранить семью, и они драматически расстались. Прошло два года, и в 1892 году бывшие любовники встретились. Ольга уже жила одна, и Горький, не перестававший любить ее, был на вершине блаженства. Они поженились и, оправдывая пословицу «с милым рай и в шалаше», сняли баню на задворках дома одного сильно пьющего попа, счастливо прожив там два года. Горький не переставал обожать свою избранницу, особенно его волновала ее фигура — стройная, как у девушки. Однако «сердце красавиц склонно к измене». Горький этого вынести не смог и ушел от Ольги.

В 1896 году 28-летний Горький влюбился в газетного корректора Екатерину Волжину, потом Пешкову, убежденную революционерку. Казалось, их брак будет удачным: Катя была младше мужа на 10 лет, родила ему двоих детей. Но жизнь опрокинула все расчеты, и вскоре они разъехались, не сочтя нужным оформить развод. Они остались друзьями на всю жизнь, хотя Горький и считал Катерину «слишком умной и с тяжелым характером» и даже в шутку называл ее «разгневанной канарейкой». Екатерина Павловна после смерти писателя преследовалась советским режимом.

После этого писателя потянуло к простоте: некоторое время он прожил с проституткой, пытаясь направить ее на путь истинный. Однако из этой затеи ничего не вышло, и «инженер человеческих душ» испытал очередное разочарование. Но вскоре новый роман, новая любовь к замужней женщине — актрисе Марии Андреевой. Это произошло в 1901 году, а в 1906-м он уже представлял ее как свою жену во время поездки в Соединенные Штаты,

где русского писателя чествовали президент Теодор Рузвельт и Марк Твен. Горький использовал свою поездку для сбора средств на революционные цели, и царское правительство решило дискредитировать его. Через русское посольство в американскую прессу просочился слух, что Горький путешествует со своей любовницей (ни он, ни она не были разведены).

Жизнь Марии Андреевой, казалось, была предопределена служению Мельпомене. Отец, из дворян Харьковской губернии, — главный режиссер Александринского театра. На той же сцене, актрисами, и ее мать, и старшая сестра. С мужем, действительным статским советником, видным чиновником Министерства путей сообщения, связывает только сын. Вся жизнь — только в театре, для театра. Мария Федоровна создавала, вместе со Станиславским, Немировичем-Данченко, Книппер, Москвиным, Лужским, Мейерхольдом, Лилиной, Артемом, Московский художественный театр. Сыграла там Леля в «Снегурочке», Ирину в «Трех сестрах», Наташу в «На дне». Тогда же познакомилась с Максимом Горьким, дружба с которым вскоре перешла в любовь.

...Океанский гигант «Кайзер Вильгельм Гроссе» уже давно покинул немецкий порт и приближался к берегам Америки. Еще день, и пароход бросит якорь у Нью-Йоркской пристани. Мария Федоровна Андреева сидела на палубе в шезлонге. Это был редкий час, в который она позволила себе отдохнуть. Алексей Максимович в пути писал роман «Мать». Отдельные главы, страницы давались ему нелегко. Он переделывал их по нескольку раз. И вновь и вновь садилась за пишущую машинку Мария Федоровна и переписыва-

ла строку за строкой. Переписывала даже тогда, когда ее мучила морская болезнь. Но устала она не от работы на машинке. В Америке, как и везде, М. Ф. Андреева была незаменимой помощницей А. М. Горького. Но этим ее деятельность не ограничивалась. Алексей Максимович и Мария Федоровна не состояли в браке. Одного этого уже было достаточно, чтобы обвинить их в смертных грехах и подорвать доверие к ним. Ей было отказано от гостиницы, в которой она, Горький и Буренин поселились.

Даже молодые американские писатели, приютившие их на короткое время в своем общежитии, отнюдь не афишировали своей «смелости», предпочитая, чтобы поступок их оставался в тайне. Мария Федоровна была потрясена тем, что ее воспринимают в Америке совсем не так, как ей того хотелось. Но что можно сделать в такой ситуации? Только хорошую мину при плохой игре. Она быстро взяла себя в руки. С гордо поднятой головой появлялась любовница Горького на митингах и собраниях, как бы бросая вызов всем. В ответ на поднявшуюся кампанию Алексей Максимович направил в редакции газет письмо, в котором заявил решительно, но маловразумительно: «Моя жена — это моя жена, жена М. Горького. И она, и я — мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-либо объяснения по этому поводу. Каждый, разумеется, имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается наше человеческое право — игнорировать сплетни».

Американское общественное мнение в то время было достаточно пуританским — разразился грандиозный скандал. Горького называли «анархистом и распутником». Спонсоры, на которых он рассчитывал, отказали ему в материальной поддержке. Дело дошло до того, что Горького и Андрееву не пус-

кали в отели, а один возмущенный менеджер выставил их со словами: «Это вам не Европа!» Газета «Индепендент» писала о «респектабельных леди», которые собирают деньги для убийств, но не в состоянии решить свои личные проблемы.

С первого же дня их пребывания в Америке в центре событий оказался не только Алексей Максимович, но и Мария Федоровна. Горького осаждали репортеры газет, к нему приходили люди, сочувствовавшие его политическим убеждениям, поклонники литературного таланта. Мария Федоровна всегда была с Алексеем Максимовичем, неустанно оберегала его от ненужных, по ее мнению, встреч и переводила речи Горького на митингах. С русского на английский, с английского на русский — ох, как это было утомительно!.. Казалось, что вот-вот иссякнут силы. Но они у любовницы Горького были как будто бы неисчерпаемы. Горькому нужно было так много выступать, а иногда в один и тот же день в разных городах, что Мария Федоровна превращалась в «доверенное лицо» — читала собравшимся на митинге текст речи, написанный Алексеем Максимовичем. Читала она так вдохновенно, взволнованно, что в восприятии слушателей сама превращалась в оратора и вызывала гром рукоплесканий.

Трудно даже представить себе, сколько ей пришлось пережить за последние два-три года! Как круто повернулась ее жизнь! Сравнительно еще совсем недавно жила Мария Федоровна Андреева в кругу высшего московского чиновничества, была для всех, ее знавших, красивой, прекрасно воспитанной, любезной светской дамой, женой действительного статского советника А. А. Желябужского и одной из самых популярных артисток Московского Художественного театра, любимицей публики, из-

балованной восторженными отзывами прессы. Это та ее жизнь, которая шла у всех на виду. И никто из ее светских знакомых, почти никто из товарищей по театру не мог предполагать, что есть у нее совсем другая жизнь, ничем не похожая на ту, которую она вела на глазах у всех своих многочисленных знакомых и поклонников.

В доме своего мужа Мария Федоровна хранила паспорта, которыми снабжала профессиональных революционеров. Сюда как-то пришла нижегородская социал-демократка Вера Кольберг и по записке Горького получила документы для двух своих товарищей. Еще в апреле 1903 года М. Ф. Андреева ездила в Нижний Новгород. Жандармам было невдомек, что в эту свою поездку она привезла нижегородским социал-демократам первомайские листовки, которые и передала им через Горького. Изобретательна была Мария Федоровна в изыскании средств для партии. Под легальными вывесками она устраивала всевозможные лотереи, концерты, сборы пожертвований. Деньги же передавала в кассу большевиков. Финансовый агент партии! В этом качестве Мария Федоровна проявила себя еще до того, как официально стала ее членом.

И вот жизнь М. Ф. Андреевой резко изменилась. Не стало светской дамы, дом которой посещали и крупные чиновники, и цвет московской интеллигенции. Былые знакомые отвернулись от нее. «Сегодня я провожала Л. Л., — писала она Алексею Максимовичу, — и на вокзале семейство Жедринских не удостоило меня узнать и прошло мимо особенно строго. Я чуть было не упала в обморок от «отчаяния», но удержалась ввиду многочисленной окружавшей меня публики. Вот оно, возмездие за дурное поведение! О-о-о! И, как мне было весело и смешно.

Весело, что я ушла от всех этих скучных и никому не нужных людей и условностей...» Читаешь это письмо, и встают в памяти те страницы романа Л. Толстого «Анна Каренина», где рассказано, как отвернулось от его героини светское общество, когда она пошла навстречу своему чувству к Вронскому. И все-таки какая огромная разница между Анной Карениной и реальной женщиной другого времени, другого характера — Марией Федоровной Андреевой! В конце 1903 года она совершила поступок не менее решительный, чем героиня романа Л. Толстого. Молодая женщина ушла из дома мужа, фактические супружеские отношения с которым были уже давно разорваны, к Алексею Максимовичу Горькому. От нее, так же как от Анны, отвернулись люди, в кругу которых она жила многие годы.

Но на этом сходство кончается. Анна страдала не только от разлуки со своим маленьким сыном Сережей, но и от того презрения, которым ее окружило светское общество. А Мария Федоровна Андреева от разрыва с этим обществом почувствовала только облегчение. Она презирала его сама. В 1904 году Андреева, уже работавшая для партии большевиков, официально вступила в ее ряды. Шел 1905-й год. Можно представить себе, что творилось в душе Андреевой, тяжело заболевшей, прикованной к постели, когда Горький был арестован в Риге, препровожден в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Еще не окрепнув, она ринулась в бой за него и сделала все для освобождения своего любовника. Она выкупила его, внесла крупную сумму — десять тысяч рублей. Горького выпустили под залог до суда, который не сулил ему ничего хорошего.

Казалось бы, теперь Мария Федоровна должна была «спрятать» любимого человека. Но в жизни все

пошло не так. Осенью 1905 года Горький и Андреева переехали в Москву, поселились в самом центре города, на углу Воздвиженки и Моховой, рядом с университетом. Квартира их стала одним из центров, из которого протягивались нити во все уголки Москвы. Отсюда они вели и в Питер. Здесь в дни Декабрьского вооруженного восстания в комнате за кабинетом Горького была организована лаборатория по изготовлению бомб, «македонок». Сюда пришел весь обмотанный бикфордовым шнуром нижегородец Митя Павлов. Он доставил шнур и тут же свалился в тяжелом обмороке. В этой квартире появлялась связная из Питера, член боевой технической группы Наташа, Феодосия Ильинична Драбкина, доставлявшая взрывчатые вещества.

Потом была та самая скандальная поездка в Америку. В Европу М. Ф. Андреева и А. М. Горький возвратились в октябре 1906 года. Они поселились в Италии, на острове Капри. Именно об этих годах Мария Федоровна напишет впоследствии в официальных документах: находилась «лично в распоряжении товарища Ленина». Через много лет она будет вспоминать о том, как организовывала доставку в Россию нелегальной литературы, как изыскивала новые и новые средства для партии, как устанавливала связи.

«Дорогая Мария Федоровна!» — неизменно обращался к ней Ленин. А вслед за этим обращением шли поручения. Вот одно из таких поручений. Перед нами письмо В. И. Ленина от 15 января 1908 года. Адресовано оно Горькому и Андреевой: «Дорогие А. М. и М. Ф.! Получил сегодня Ваш экспресс. Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к Вам на Капри! Так Вы это хорошо расписали, что, ей-богу, соберусь непременно и жену по-

стараюсь с собой вытаскать. Только вот насчет срока еще не знаю: теперь нельзя не заняться «Пролетарием», и надо поставить его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой, *minimum*. А сделать это необходимо... Ну, а насчет перевозки «Пролетария» это Вы на свою голову написали. Теперь уже от нас легко не отвертитесь! М. Ф-не сейчас же кучу поручений приходится дать: 1. Найти непременно секретаря союза пароходных служащих и рабочих (должен быть такой союз!) на пароходах, поддерживающих сообщение с Россией; 2. Узнать от него, откуда и куда ходят пароходы, как часто. Чтобы непременно устроил нам перевозку еженедельно. Сколько это будет стоить? Человека нужно найти аккуратного (есть ли итальянцы аккуратные?). Необходимо ли им адрес в России (скажем, в Одессе) для доставки газеты или они могли бы временно держать небольшие количества у какого-нибудь итальянского трактирщика в Одессе? Это для нас крайне важно.

3. Если невозможно М. Ф-не самой это все наладить, похлопотать, разыскать, растолковать, проверить и т. д., то пусть непременно свяжет нас непосредственно с этим секретарем: мы с ним тогда спишемся. С этим делом надо спешить: как раз через 2—3 недели надеемся выпустить здесь «Пролетарий», и отправить его надо немедленно...»

Встречавшаяся с ней за границей в 1925 году И. А. Луначарская-Розенель так вспоминает о М. Ф. Андреевой: «Сквозь расступившуюся толпу гостей, — пишет она, — к нам приближается женщина, немного выше среднего роста, с коротко стриженными рыжеватыми волосами, в очень изящном и скромном светло-сером платье. Она еще издали приветливо улыбается Луначарскому. Но по дороге ее останав-

ливаает советник французского посольства. Сделав знак Анатолию Васильевичу, она задержалась, свободно и непринужденно беседуя с дипломатом... В огромном переполненном зале Мария Федоровна раскланивалась направо и налево, у нее были десятки знакомых; она переходила с русского на французский, английский, немецкий, итальянский без всяких усилий; она умела сказать каждому любезное приветливое слово и в то же время была полна чувства собственного достоинства. Вслед за ней доносился шепот: «Фрау Андреева! Ну да, знаменитая фрау Андреева!» Иногда произносилось «Gorky». Видно, берлинцы хорошо знали Марию Федоровну». После октябрьского переворота Андреева живет за границей. В Ленинград после пятилетнего отсутствия она приехала в отпуск, отдохнуть.

Получивший доверие новой власти Алексей Максимович Горький в феврале 1919 года возглавил Экспертную комиссию при Наркомвнешторге, которая «работала по созданию фонда из предметов искусства и роскоши, могущих быть использованными для товарообмена с заграницей». В этом деле пролетарскому писателю помогала его любимая женщина — М. Ф. Андреева, осуществлявшая функции курьера и партнера на переговорах с иностранными торговцами. В январе 1922 года для многих стало неожиданным назначение заведующей киноподотделом Торгпредства РСФСР в Германии Марии Федоровны Андреевой, урожденной Юрковской, по мужу — Желябужской.

В 1917 году Андреева переехала в Петроград. После Октября работала заведующей местным театральным отделом, художественным подотделом. И вот вдруг — торговля. Душа к новому делу не лежала. Все сильнее и сильнее тянуло домой. Очень хоте-

лось назад, в театр. На сцену. Но приходилось себя пересиливать. В 1925 году М. Ф. Андрееву повысили в должности. Назначили заведующей художественно-промышленным отделом торгпредства. Поручили уже не покупать немецкие кинофильмы, а продавать изделия кустарей России и Украины, Закавказья и Средней Азии: ковры, холстины, рогожки, вышивки, игрушки, изделия из бересты и кости, бочонки... А заодно и антиквариат. Точнее, контролировать выполнение долгосрочного соглашения, заключенного еще в октябре 1923 года с одной из ведущих берлинских фирм, проводившей аукционы произведений искусства — «Рудольф Лепке».

Николай Семенович Ангарский вместе с Марией Федоровной Андреевой сделал первый шаг на том роковом пути, который через несколько месяцев привел к распродаже культурного достояния. К разграблению Эрмитажа. А помог им Наркомфин РСФСР, также внесший собственный «вклад» в развитие трагических событий. Жена Горького Екатерина Павловна оставалась гордой и держала себя достойно и тогда, когда произошла семейная драма и муж оставил ее, уехав с Андреевой. Ее интимным другом стал Михаил Константинович Николаев — руководитель акционерного общества «Международная книга». Незадолго до начала первой мировой войны Екатерина Павловна ездила в Италию. Там она сказала Горькому, что собирается замуж. «Он встал на дыбы». Горький был решительно против этого естественного намерения оставленной им женщины. Однажды к ней на квартиру явились послы нескольких стран, это было тогда, когда Екатерина Павловна возглавляла Красный Крест. Вышел Михаил Николаев и сказал собравшимся, что Екатерина Павловна извиняется за опоздание, но вот-вот

будет. Приехав, она прошла к себе в будуар, чтобы переодеться. Затем раздвинулась портьера и появилась Екатерина Павловна с царственной осанкой. Английский посол наклонился к французскому послу и сказал по-французски: «Вот бы кого в русские императрицы!» Ее ум мог показаться холодным, но это происходило от того, что она умела скрывать и никому не показывать своих чувств.

Андрееву она, конечно, ненавидела и была довольна, когда нашлась женщина, ради которой Горький оставил стареющую актрису. Этой женщиной была Мария Игнатьевна Будберг. Горький познакомился с ней в 1919 году, она была его секретарем и переводчиком, когда он занимался вопросами «Всемирной литературы».

Между Марией Андреевой и идеологом «свободной любви» Коллонтай завязывается переписка, после того, как Коллонтай рассталась со своим «гражданским мужем» — Павлом Дыбенко, который был младше ее на 17 лет.

М. Ф. АНДРЕЕВОЙ

5 июля 1923. Милая, близкая Мария Федоровна, да, как это ни странно, но мы с Вами совсем не «чужие». Ближе, чем с многими, кого видишь ежедневно. Несколько вскользь брошенных Вами фраз в Вашем письме, и я уже угадываю, чувствую, понимаю, что за этим кроется... Сердцем чую Ваши мысли, переживания. Всю путаную, часто дисгармоничную гамму жизни. Слов, объяснений нам с Вами не надо.

Я Вам скажу кратко: тов. Дыбенко сейчас не один в России; с ним юное, очаровательное существо... Вы за этим кратеньким сообщением прочтете целую повесть, которая разворачивается за кулисами дея-

тельно-ответственной работы «на виду». Улыбнитесь и скажете: знакомо! А когда я прибавлю к этому: но вместе с тем т. Дыбенко ни за что не хочет меня терять, и мы очень близки, и я уже восприняла девочку и даже забочусь о ней, Вы покачаете головой и скажете: банально до скуки! Верно или нет?

Два слова Вашего письма, и в ответ хочется ответить моим сообщением. Будто так Вы, милая, нежная и сильная в то же время Мария Федоровна, еще мне ближе и еще милее...

Прорезая пространство, моя мысль летит к Вам для молчаливой беседы. Я вижу Вас. Облик, полный непередаваемого очарования... Я вспоминаю Вас с первой встречи на банкете в честь МХТ в Петрограде, давно, давно... И дальше... Я радовалась, узнавая о Ваших удачах, и как-то органически болела, когда узнавала, что Вы переживаете темную полосу. Знаю, что Вы человек — крепкий. Но Вы вместе с тем и женщина, а значит, и у Вас бывают часы, когда надо чье-то тепло, чьи-то нежно жалеющие глаза, чей-то душевный отклик... В такие часы — вспомните обо мне. Больше слов не надо. Верю, что поверите в мою искренность и поймете, что к Вам протянута рука друга.

Нежно Вас целую. Была бы так рада встретиться!
Ваша А. Коллонтай, 5 июля, Христиания.

МЫ МОЛОДЫ, ПОКА НАС ЛЮБЯТ!

Подруга первой в мире женщины-дипломата Александры Коллонтай Зоя Леонидовна Шадурская (они познакомились в Софии в семилетнем возрасте) писала 23 декабря 1935 года: «В жизни таких великих женщин, как Цеткин, Софья Ковалевская, мадам Кюри, Жорж Санд, много богатства, творчества и даже женских драм, но нет тех контрастов и запутанных психологических узлов, какими интересна твоя жизнь. А если кому захочется написать о тебе в духе приключенческой повести, то на это имеется богатый материал».

Александра Коллонтай выросла в очень почтенной, но не совсем семье — ее мать была второй раз замужем. Она развелась и вышла замуж за человека, которого любила. Это был скандал в обществе. Вслед за скандалом, как это часто бывает, произошла трагедия.

Первый муж матери Александры — инженер Мравинский был арестован и осужден, как сообщник революционеров, намеревавшихся совершить покушение на царя. Мравинский в качестве эксперта обследовал подкоп под зданием, где позднее произошел взрыв во время проезда Александра II.

Позже Коллонтай напишет о себе:

«Девятнадцатого марта 1872 года в Санкт-Петер-

бурге на Средне-Подъяческой улице в доме-особняке номер 5, во втором этаже в семье офицера Михаила Алексеевича Домонтовича родилась девочка, голубоглазая, как ее мать. Девочку хотели назвать Марией, потом передумали и назвали Шурой.

Эта девочка — я.

Девочка как девочка, но если внимательно взглядеться, то замечаешь настойчивость и волю. Старшие сестры говорили: «Что она захочет, того всегда сумеет добиться».

Живу я благополучно в обеспеченной семье, где не знают ни бедности, ни голода».

А теперь прочитаем письмо, отправленное подруге из Санкт-Петербурга со Средне-Подъяческой улицы в Гельсингфорс (Хельсинки) в 1890 году: «Дорогая Эльна! Я неплохо развлекаюсь. В январе я была представлена императрице и побывала на двух придворных балах. Большой бал, на котором было более трех тысяч приглашенных, мне не очень понравился, хотя там все было пышно и элегантно. Малый бал, бал-концерт, отличался большим блеском. На нем присутствовало четыреста человек. Я встретила там много знакомых, танцевала и веселилась вовсю.

Самым примечательным на балу-концерте был ужин. В трех больших залах дворца, обрамленных цветущими деревьями, благоухало море цветов. Я ужинала за одним столом с наследником царя (то есть с будущим императором Николаем II — Г. К.) Да, я забыла тебе сказать, что мама обещала мне купить верховую лошадь. В Куузе, куда, я надеюсь, ты скоро приедешь, мы будем вместе совершать верховые прогулки и веселиться».

Автор этого письма — «девочка Шура» — Александра Михайловна Домонтович (по первому мужу — Коллонтай).

У очень красивой девочки с голубыми глазами было ничем не омраченное детство с нянями, прислугами, кучерами, поварами, лучшими в Санкт-Петербурге педагогами, которые обучали английскому, французскому и немецкому языкам.

В августе 1889 года ее отец генерал Домонтович принял приглашение своего бывшего начальника по службе в Софии князя Дондукова и, взяв с собой младшую дочь, выехал в Ялту в его поместье.

Поездка была предпринята не только с целью отдыха. Шуре уже семнадцать лет — возраст, когда девушка уже на выданье.

В Ялту приехали погостить молодые офицеры Генерального штаба. Там находится его превосходительство генерал Тутолмин, адъютант императора Александра III.

Он еще в Петербурге дал понять, что имеет вполне серьезные намерения. Сватовство в Ялте не состоялось. Шура решительно отвергла этот вариант замужества.

— «Папа, что ты придумал? Неужели ты хочешь продать меня этому старику?»

— Но Тутолмин вовсе не стар. Он самый молодой генерал.

— Мне это безразлично, папа. Мне безразлично его положение. Я выйду замуж за человека, которого полюблю». — Это строки из семейной хроники.

В балах, выездах, посещениях императорских театров протекали девичьи годы Шуры Домонтович.

В гимназии она не училась, получила домашнее образование. Родители замечали ту страстность

и сексуальность, которой наградила их дочь природа. Родители видели только один способ для того, чтобы дать выход энергии Александры — удачное замужество.

В 1891 году в Тифлисе Шура знакомится с Владимиром Коллонтаем. Чувство симпатии перерастает в любовь.

О своем первом браке Коллонтай рассказывала следующее: «День моей свадьбы вышел бестолковый и не праздничный. В течение двух лет я боролась с родителями, чтобы получить их согласие на брак с моим троюродным братом, веселым и красивым Владимиром Коллонтай. Мы все, молодые девушки, очень любили его: он необыкновенно хорошо танцевал мазурку и умел веселить и смешить нас в течение целого вечера. Хотя Коллонтай был моим троюродным братом, но его жизнь протекала в совершенно других условиях. Отец его был сослан на Кавказ царскими властями, и он с детства познал бедность и лишения. Воспитала его мать-учительница; она содержала всю семью.

Мое сердце переполнялось нежностью и сочувствием, когда Коллонтай рассказывал о своем тяжелом детстве и всех лишениях. Мне хотелось, чтобы он забыл все тяжелое, перенесенное им, и стал бы счастливым. Тиранию царского самодержавия я ощущала особенно остро, когда это отражалось на таком славном юноше, как Владимир Коллонтай. Коллонтай иногда надо мной смеялся:

— Это было так давно; я уже это все забыл.

Он был весел и счастлив и верил в свои силы. Он ставил себе задачей, стать хорошим инженером, строить мосты и помогать своей старой матери.

Но я продолжала думать — это счастье, что Коллонтай больше не подвергается преследованию ца-

ря и больше не голодает, но ведь в России остаются все те ужасы, от которых страдал Володя, несправедливость, преследования и муки. Другие голодают, других ссылают, другие страдают.

Как мог он с его добрым сердцем забыть, что в России царит самодержавие и угнетение народа? Но Коллонтай не любил разговаривать на «философские темы». Сколько ни говори, практических результатов не получится. Он дразнил меня, что я просто люблю повторять слова моей учительницы.

— Ну, не сердись на меня, — заканчивал он, — давай сделаем еще круг на катке.

Я, конечно, охотно делала с ним не один, а два круга. Я была очень влюблена. Я давно решила выйти за него замуж. Мне нравилось, что у него нет «ни гроша», что ему самому придется зарабатывать на жизнь и что мне тоже, может быть, предстоят лишения и трудности. Если бы я жила в роскоши, я была бы очень несчастна и чувствовала бы еще большую несправедливость.

Но мама и слушать не хотела об этом браке. Она считала это величайшей глупостью: Коллонтай ведь еще даже не закончил учебу.

— Все это хорошо, пока папа жив, — говорила мать. — Но если твой отец умрет, а у вас будет семь-восемь детей, как вы будете жить?

Я только пожимала плечами. Коллонтай будет хорошим инженером, и потом я буду сама работать.

— Воображаю, как ты будешь работать, — говорила моя мать. — Ты, которая не помогаешь мне и прислуге даже по хозяйству, ты даже свою собственную постель убираешь небрежно. Ты, которая, по примеру твоего отца, ходишь по дому и думаешь о чем-то другом.

Родители и слушать не хотели о моей «новой

фантазии». И было время, когда Коллонтай запретили бывать в нашем доме. Это было большое оскорбление для моего самолюбивого брата, и я еще тверже решила стать его женой.

Отец пытался убедить меня, что Коллонтай для меня неподходящий муж:

— Он хороший мальчик, я не спорю, но что он ждет от жизни? Его цель стать инженером. Но ты посмотри, он, наверное, не читал даже твоего любимого Добролюбова. А ведь ты любишь разглагольствовать на высокие темы. О чем же вы будете говорить? У вас не будет духовной близости, и ты скоро к нему охладеешь.

При следующей же встрече с Коллонтай я дала ему много добрых советов. Я сунула ему в руку первый том Добролюбова. (Открыл ли он его когда-нибудь?..)

Родители упорствовали, но я решила не уступать.

— Если я не получу вашего согласия на этот брак, ну что же, я поступлю, как Елена из «Накануне» Тургенева.

Моя мать на это заметила:

— От тебя всего можно ожидать.

Но понемногу мама начала готовить солидное приданое. Никакой роскоши, вещи простые и ноские. Меня вопрос о приданом нисколько не интересовал. Но факт приданого был уже уступкой со стороны моих родителей. Теперь Владимиру позволили приходить почти ежедневно. Мы весело проводили вечера. Мы играли в разные игры, смеялись и веселились втроем — я, Владимир и моя подруга Лидия. Но вдруг неожиданное препятствие. Для бракосочетания потребовалось получить метрическое свидетельство. Но каково же было удивление родителей, когда в моем метрическом свидетельстве было указа-

но, что крестился мальчик Александр. День и час — все было верно, но только это была не я, не девочка, а мальчик. Удивление и полная растерянность. Я чуть не плакала и подозревала, не подстроила ли все это мама, чтобы помешать нашему браку. Но и родители были встревожены путаницей. Начались хлопоты, поездки в консисторию и вообще большая возня. Отец смеялся, особенно, когда он установил, что ошибка произошла потому, что крестивший меня священник раньше, чем заполнить метрическое свидетельство, хорошо позавтракал и выпил у нас в доме. Опросили восприемников, они дали свои показания, и в конце концов свидетельство было исправлено. Наконец, все бумаги были в порядке. Теперь я могла выйти замуж... Решили день свадьбы назначить в конце апреля.

Мама до самого последнего дня надеялась, что я в последний момент одумаюсь и свадьба расстроится. Моя мать на французском языке упрекала меня, что у меня неустойчивые чувства. Я не любила этих упреков, но по-французски они звучали мягче. Мама со всеми нами говорила по-французски для практики. Сама она владела языком в совершенстве. Я тогда думала, что никого я так не любила, как Володю. Все юноши, мои бальные кавалеры, были просто детские глупости.

У меня была канарейка, которую я очень любила. Канарейку звали Макс. Но у меня также была маленькая желтая собачка, без особой породы. Собачка почему-то терпеть не могла канарейки, а канарейка была ручная, и я ее выпустила летать по комнатам. Моя комната была небольшая, но светлая. Здесь я учила свои уроки, писала романы и повести и мечтала «о великих подвигах», которые совершу. Канарейка Макс любила сидеть на чернильнице,

а желтая собачка садилась на стул и впивалась в нее глазами. В этот момент собачка была похожа на кошку, которая выслеживает свою жертву. Поэтому, выпуская канарейку полетать по комнатам, я всегда выгоняла собаку. Но в день свадьбы я, по-видимому, забыла о вражде, существовавшей между ними. И тогда это случилось. Макс летал по комнате, и почему-то ему вздумалось сесть на подушку и пощипать вышивку. Его лапки запутались в этой вышивке. Враг использовал это положение. Когда я неожиданно вошла в комнату, то увидела только, что на подушке лежало маленькое желтое неподвижное тельце канарейки. Я пришла в такой ужас, что стала кричать так, как кричат во время большой катастрофы. Мама прибежала в комнату взволнованная и испуганная.

— Боже мой, что случилось? Пожар, что ли? Я стала плакать, протягивая маме маленький желтый комочек.

— Бессовестная, подлая собака! Я ей этого никогда не прощу. Пожалуйста, бери себе эту собаку... Она мне больше не нужна.

Но мама стала бранить меня:

— Как тебе не стыдно! Ты кричала, точно ребенок, который ушибся. Из-за чего? Из-за какой-то канарейки в день своей свадьбы. Это твоя собственная вина. Я тебе всегда говорила: если ты не умеешь смотреть за животными, как же ты будешь ходить за своими собственными детьми?

— Какое мне дело до каких-то детей!

Но вот настало время надевать белое атласное платье с длинным шлейфом, как у королевы Маргариты Наваррской. Я стала переодеваться. И вдруг начала чихать. У меня начался самый настоящий насморк. Что это будет за невеста с красным носом

и притом чихающая? Пришлось обратиться к маме за помощью. Мама рассердилась и меня же выбрала.

— Ты, вероятно, наелась мороженого или простудилась, когда вздумала кататься верхом в такую холодную погоду. Зачем тебе и Коллонтай потребовалось вдвоем скакать на острова?

Мама предложила отложить свадьбу, но тут я запротестовала:

— Что решено, то решено.

На помощь мне пришла Женя. Она дала мне какое-то лекарство, намазала лицо кремом и попудрила нос. Женя соорудила мне сложную прическу и посадила на голову веночек из искусственных цветов вместе с длинной вуалью.

Мама в церковь не поехала. К счастью, во время венчания я не чихала, но зато, когда вернулись в теплую комнату после холодной церкви, насморк разыгрался всерьез. Моя мать заставила померить температуру и, убедившись, что у меня жар, категорически запретила мне танцевать и велела тотчас же лечь в постель. Коллонтай попробовал запротестовать:

— Ведь мы решили с первым утренним поездом уехать.

Но об этом мама и слышать не хотела.

— Неужели вы не понимаете, что теперь вы отвечаете за жизнь Шуры? Если застудить насморк, у Шуры может сделаться воспаление легких.

Когда гости разошлись, Коллонтай поцеловал руку у мамы и ушел вслед за гостями, а я и Лидочка, как обычно, пошли ночевать в мою спальню. Лидочка улеглась на диван, а я на свою постель и на ту подушку, на которой утром погибла канарейка. Мы с Лидой начали обсуждать события дня и скоро на-

чали хохотать и болтать, как обычно, будто никакой свадьбы и не было.

Мое недовольство браком началось очень рано. Я бунтовала против «тирана», как называла я моего красивого и любимого мужа.

Всего три года прошло с тех пор, как мы повенчались и поселились в отдельной маленькой квартирке недалеко от моих родителей. У нас был маленький сын Миша. Он только что начал ходить по комнатам и разговаривать на своем смешном детском жаргоне. Когда я была подростком, я часто мечтала: когда я выйду замуж, у меня будет две хорошеньких девочки. Я им не буду заплетать косички, а буду делать локоны, как на английских картинках.

Теперь я действительно была замужем. Любила своего красивого мужа и говорила всем, что я страшно счастлива. Но мне все казалось, что это «счастье» меня как-то связало. Я хотела быть свободной. Что я под этим подразумевала? Мне не хотелось жить, как жили все другие мои друзья и знакомые молодожены. Муж уходит на работу, а жена остается дома, занимается либо на кухне, либо подсчитывает счета из лавок иди одевалась, чтобы ехать в гости. Эти все маленькие хозяйственные и домашние заботы заполняли весь день. Я не могла даже больше писать повести и романы, как делала, когда жила у родителей.

Я представляла себе замужнюю жизнь совершенно иначе. Я думала, что как только я избавлюсь от нежных забот и от тирании матери, я по-своему устрою свою жизнь. Хозяйство меня совсем не интересовало, а за сыном могла хорошо ухаживать няня Анна Петровна, которую моя мать приставила к нам не столько смотреть за маленьким Мишей, сколько вести все хозяйство. Аннушка требовала, чтобы я

училась хозяйству. Только засядешь за книгу и начнешь делать заметки по поводу «Монизма» Плеханова, тут Аннушка: «А белье вы отдали в стирку? Небось не переписали?» Или: «Почему вы не пойдете с мальчиком погулять? Второй день он не был на воздухе!»

Вечером Коллонтай мог вернуться домой не один, а с товарищами. Надо было заботиться о том, чтобы к чаю была какая-либо закуска. Это все очень приятно. Но как же насчет занятий? Моя лучшая подруга Зоя жила теперь у нас. Ее отец умер, и она приехала в Петербург, чтобы учиться петь. Я завидовала ей: никакого хозяйства, никаких хлопот со счетами. Зоя постоянно уходила то на концерт, то слушать лекцию, то на совещание с учителем пения. А я все сидела дома и должна была учиться стать хорошей женой и матерью, как говорила моя мать. Но из этого получалось мало толку. Иногда я жаловалась Зое:

— Мне замужняя жизнь совсем не нравится. Я хочу стать писательницей. Мне иногда хочется взять да убежать отсюда.

— Если тебе твоя жизнь не нравится, — говорила Зоя, — возьми и разведись с Коллонтай. Устрой жизнь по-своему.

На это я горячо возражала:

— Ты не понимаешь меня. В том-то и горе, что я люблю Коллонтай, я его страшно люблю. Я никогда не буду счастлива без него.

— Ну, тогда бразды правления домом передай Аннушке, а сама запишись в своей комнате и пиши, сколько угодно. Запрети кому-либо входить в твою комнату, когда ты пишешь.

Но такие правила никогда не соблюдаются в семейном быту. Только запрешься, а тут слышишь:

Миша бежал, да свалился и громко плачет. Конечно, я бросаю свою работу и бегу помочь маленькому сыну. Зоя пробовала убедить Коллонтай, что мне надо предоставить больше свободы.

— Шура хочет быть писательницей, и ей нужно предоставить полный досуг.

Коллонтай очень обижался:

— Чем я ей мешаю?

Иногда он меня спрашивал:

— Ты что же, меня разлюбила?

Я, конечно, протестовала, но объяснить, чем я недовольна, не могла и не умела.

В момент появления статьи в «Образовании» Коллонтай находился в командировке в Люблине, а сын гостил у родителей в Куузе. Это облегчало приведение моего плана в исполнение. Я решила все рассказать отцу, когда он приехал в город.

Разумеется, отец не пришел в восторг от такого плана. Но, выслушав доводы, он обещал ежемесячно высылать мне денежное пособие, поставив условием, чтобы мы матери не говорили, почему, куда и зачем я еду. Многие дамы в те годы уезжали на зиму за границу, в Италию, во Францию, якобы для поправки здоровья. Мы скажем маме, что врачи требуют моего пребывания в швейцарских горах. Это успокоит ее...

Я предполагала, что, когда скорый поезд будет увозить меня из Петербурга за границу, где меня ожидает новая жизнь и где я буду освобождена от всех пут, я буду необычайно счастливой и свободной. Но на деле оказалось иначе. В вагоне я сразу почувствовала себя одинокой и с тоской начала думать о моем добром, нежном и любящем муже. Я тосковала о мягких маленьких ручках сына.

Зачем я вздумала уехать? На что мне эта свобода,

о которой я столько тосковала? Даст ли мне эта новая жизнь то, что я от нее жду?

Ночью я горько плакала, обливая слезами твердую вагонную подушку, и мысленно звала мужа. За что я наношу ему такую обиду и такой удар! Ведь он не может не упрекать меня за то, что я бросила и сына и его для какого-то профессора Геркнера. Я знала, что я еду не на время и что мой отъезд означает действительно конец нашего брака. Коллонтай не поймет, что я уходила не только от него, но и навсегда порывала с той средой, которая мешала мне стать полезным человеком. Я понимала не без страха, что он не будет годами ждать моего возвращения. Я вспомнила про сестру Зои, красавицу артистку Веру Юреневу. Что, если он в нее влюбится? Мне становилось жутко и горько. На одной из узловых станций, недалеко от границы, я чуть не выскочила из вагона с намерением пересесть во встречный поезд, который мог привезти меня к мужу. Но это значило бы полный отказ от всех моих желаний и намерений. Такого случая может больше не представиться.

Я решила написать Коллонтаю длинное и теплое письмо тут же в вагоне. Я уверяла в этом письме, как горячо и глубоко я его люблю...

Запечатав письмо мужу, я написала второе письмо Зое. Ей я писала, что решение порвать с прежней жизнью неизменно. Больше я к этой жизни не вернусь. Пусть мое сердце не выдержит от горя, что я потеряю любовь Коллонтая, но ведь у меня есть другие задачи в жизни, важнее семейного счастья. Я хочу бороться за освобождение рабочего класса, за права женщин, за русский народ. Пусть Зоя верит, что я высоко держу наше знамя и никогда его не опущу. Но при этом я горько плакала и думала с тоскою о Коллонтае.

На пограничной станции Вержболово я поискала почтовый ящик, чтобы опустить в него оба письма. Когда я услышала, как письма ударились о дно ящика, я знала, что пути к прежней жизни отрезаны. Сердце сжалось на минуту — значит, конец? Но утром, при солнце, будущее представилось мне в другом свете, чем ночью. Я уже не оглядывалась назад, меня уже не страшило, а, напротив, манило будущее».

Формальное расторжение брака произошло много позже. Владимир женился второй раз. Об этом выписка из архива генерального штаба: «Брак с Александрой Михайловной урожденной Домонтович расторгнут определением святейшего синода от 5 мая 1916 года № 3142 с дозволением (В. Л. Коллонтаю) вступить в новое супружество».

Сама Александра в ближайшее время не собиралась «вступать в новое супружество», только после октябрьского переворота она сочетается гражданским браком с Павлом Дыбенко.

Всю свою жизнь она будет жить по законам «свободной любви».

В то время, когда Владимир Коллонтай вступает в новый брак, Александра Михайловна живет Швейцарии, где совершенствует свои знания в Цюрихском университете в семинаре профессора Геркнера. По совету профессора она побывала в Англии, познакомилась с Сиднеем и Беатрисой Веббами — основателями Фабианского общества.

В это время умирает ее мать. 24 декабря 1900 года Шура пишет подруге Эльне в Гельсингфорс: «Дорогой друг! Шлю тебе мои искренние поздравления и тысячу наилучших пожеланий к Новому году. Я

желаю от всего сердца, чтобы он был счастливым для тебя и твоей семьи. Не удивляйся, дорогая, моему длительному молчанию. Прошедшая осень принесла нам много горя, так что я даже не могла писать тебе. Моя мать, после месяца ужасных страданий, обрела вечный покой. С тех пор я не отхожу от моего бедного отца. Он ужасно постарел и убит горем. Прости, что я не послала тебе обещанный мой труд о Финляндии. Причина состоит в том, что все, посланное тебе по почте, было конфисковано русской цензурой. Придется подождать okazji, с которой я тебе перешлю мою работу...

Как ты поживаешь, моя дорогая, что поделявают твои очаровательные дети? Мой Миша уже бегло говорит по-немецки и даже начинает понимать по-французски... Мой адрес тот же: Таврическая, 23. Преданный тебе друг Шура».

Значительную часть своей жизни Александра посвятила тому, чтобы доказать, что «не сексуальные отношения определяют нравственный облик женщины, а ее ценность в области труда, общественно полезного труда».

В 1917 году Александра Коллонтай делает запись в своем дневнике: «Заседание в Александровском театре. Выступал представитель Центробалта — Дыбенко, большевик... В Гельсингфорсе (Хельсинки) матросы Керенского не любят. С восторгом рассказывают, как Дыбенко однажды его чуть не спустил с корабля. Дыбенко — это душа Центробалта, крепкий и волевой. Оборонцы его боятся».

Александра Коллонтай любовалась молодым матросом, еще не зная об их общем будущем. Он ей понравился, а характер у Александры с детства был

волевой — она добивалась всего, чего хотела. Так сумела она очаровать и матроса — «душу Центробалта».

Эта связь шокировала ее друзей и знакомых. Она же была уверена, что имеет право любить того, кого хочет! Он был красив и полон жизненным сил. Кажалось, его нельзя убить, ибо он — это и есть полное воплощение самой жизни. Он оказывал неизгладимое впечатление на всех, знавших его. Даже непримиримый борец с большевикам, один из активных деятелей белого движения генерал Краснов, возглавивший в октябре 1917 года то, что в советских учебниках истории называли «мятеж Керенского-Краснова» признал личное обаяние Павла Дыбенко. В своих личных записях генерал Краснов отмечал: «Наше перемирие было принято, подписано представителем матросов Павлом Дыбенко, который и сам пожаловал к нам. Громадного роста, красавец-мужчина с вьющимися черными кудрями, черными усами и юной бородкой, с большими томными глазами, белолицый, румяный, заразительно веселый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющихся губах, физически силач, позирующий на благородство, — он очаровал в несколько часов не только казаков, но и многих офицеров».

Ей было уже за сорок, когда она встретила Павла, и дела ее были запуганы. Она выступала в качестве большевистского пропагандиста и агитатора на кораблях.

После переезда Советского правительства в Москву Александра Коллонтай объявляет:

— Мы соединили свои судьбы первым гражданским браком в Советской России. Мы решили так поступить на тот случай, если Революция по-

терпит поражение, мы вместе взойдем на эшафот!

Шесть лет проведут они вместе.

Первые слухи об измене любимого человека безумно ранят даже женщину, которая всю жизнь проповедовала «свободную любовь».

Первый раз узнав об измене Дыбенко, Александра Коллонтай тяжело заболевает. Брюшной тиф и заражение крови после перенесенного острого нефрита почти на год вырывают ее из активной жизни. Лишь в конце 1920 года она более-менее приходит в себя.

После смерти Инессы Арманд — она умерла от холеры — Коллонтай была назначена заведующей Отделом ЦК по работе среди женщин.

В июльские дни 1921 года Коллонтай в смятенном состоянии уезжает в Одессу. Она узнает, что Дыбенко ей неверен. Вся теория «свободной любви» отступила перед приступом ревности.

На одной из улиц этого города, в особняке, принадлежавшем изгнанному (или расстрелянному) «представителю старого мира», теперь поселился Дыбенко. После окончания Военной академии в Москве его назначили начальником Черноморского сектора военного округа. Дыбенко приехал в Одессу летом 1921 года.

Внешне отношения Дыбенко и Коллонтай оставались ровными и казались такими же, как в начале их совместной жизни. Но на самом деле все было не так. Александра Михайловна не очень уютно чувствовала себя в Одессе. Все знали, что муж изменяет ей.

Сама она узнала об измене, как это чаще всего бывает, случайно. Поднялась в комнату на первом этаже особняка и нашла на столе записку в конверте. Она подумала, что послание оставил Павел Ды-

бенко. Но записка была адресована не Александре Михайловне, а Павлу. Это было объяснение в любви некоей молодой особы. Земля в очередной раз ушла из под ног. Все бесполезно! Можно читать лекции, можно срывать аплодисменты, можно стать известной на весь мир женщиной. Но приходит время, и ты понимаешь только одно: тебя не любят, ты стала ненужной. И все, что ты делаешь, не имеет смысла.

«Этого не может быть, — записывала Александра в своем дневнике. — Нет, нет, я еще не старуха. И все-таки от своих лет никуда не уйдешь и не убежишь. Семнадцать лет! Куда их деть, куда их сбросить!» И еще одна запись: «Вправе ли я требовать от него верности? Как же так. Ведь всю жизнь я утверждала свободную любовь, свободную от условностей, от ревности, от унижений. И вот пришло время, когда меня охватывает то же самое чувство. Ведь против него я всегда восставала. А сейчас сама не способна, не в состоянии справиться с ним».

Началась дни великих мучений. Александра хотела убить свои чувства и не могла это сделать. Душевные муки усиливались. Назревал разрыв, и был он трагичен. Александра так описала эту трагедию: «Все решилось неожиданно быстро. Я проводила отпуск у моего мужа в Одессе (он командовал корпусом). Жили мы на Большой Фонтанке, в нарядной вилле какого-то бежавшего с белыми богача. Ночь, томительно жаркая ночь.

Удушливо-сладко пахнут розы нашего сада. Лучи луны золотом играют в темных волнах Черного моря и алмазами рассыпаются в брызгах морской пены. Мучительно повторное объяснение между мной и мужем происходило в саду. Мое последнее и решительное слово сказано: «В среду я

уезжаю в Москву». Ухожу от него, от мужа, навсегда.

Он быстро повернулся ко мне спиной и молча зашагал на дачу. Четко прозвучал выстрел в ночной тишине удушливой ночи.

Я интуитивно поняла, что означает этот звук, и охваченная ужасом, кинулась к дому... на террасе лежал он — мой муж с револьвером в руке».

Если эмоции хоть как-то управляемы, то страсть к кому-то внушить нельзя. Как нельзя и вытравить. Влечение зарождается само по себе, его не предусмотреть. Кто же была та, что осмелилась перейти дорогу Александре Коллонтай? Это была девушка Валя!

Когда в 1920 году остатки врангелевских войск бежали из Севастополя за границу, во время давки с одного из пароходов, отошедших от причала, была сброшена в море девятнадцатилетняя девушка, родители которой остались на пароходе. Девушку подобрала рыбаки, и вскоре она оказалась в Одессе. Здесь и встретилась с Дыбенко. У Коллонтай с Валею было общее только одно: и та, и другая по своему социальному положению были выше Дыбенко. Обе эти женщины любили красавца-матроса. Коллонтай нашла Валину записку... Что же она сделала? Вечером после его возвращения домой Александра Михайловна спокойно сказала ему, что невольно узнала о его романе с Валею, что отныне между ней и Дыбенко все кончено, она уходит от него. И посоветовала, если он действительно любит Валу, связать с ней свою жизнь. Александра Михайловна не сразу уехала из Одессы, подождала выздоровления Павла. Потом повторила, что ее решение твердо, она расстанется с ним навсегда.

«Ведь я же вижу, знаю, — писала она Павлу, — что не умею, не могу дать тебе полного счастья. Тебе со

мной с одной стороны, хорошо, близко, а с другой — неудобно, а подчас и тяжело. Я все-таки больше человек, чем женщина. Этим все сказано». В другом письме она пишет: «Ты заброшен, у тебя нет «дома», нет «хозяйки», нет просто близкого человека, который всегда бы был при тебе. Я на это не гожусь, как сам понимаешь. Но зачем же обрекать себя на такую трудную жизнь?»

Кризис отношений был очень тяжелым. Но выбор был сделан. Александра Коллонтай записала в своем дневнике: «Все мучительное, связанное с П. Дыбенко я сумею потопить в работе».

Павел до конца дней будет вспоминать «свою Шуру». Будет с волнением перечитывать короткие газетные сообщения о дипломатических встречах, приемах, посещениях и выступлениях Александры Коллонтай.

Она с головой ушла в работу, но не смогла вырвать Дыбенко из своего сердца. В детстве с ней, дочерью генерала, любил играть бывший у них в доме дипломат. Пройдет много лет, и она встретит его в парке в Тифлисе. Старый дипломат спросит, помнит ли она его фокусы. И когда она ответит, что помнит, он скажет: «Я знал, маленькая девочка угадывала, в чем состоит фокус, но продолжала улыбаться, делая вид, будто ничего не понимает, — сохраняла выдержку и самообладание. Жаль, что женщины не могут быть дипломатами. Из вас бы вышел прекрасный дипломат». Дипломат из нее действительно получился. Александра — первая в мире женщина-полпред. После начала посольской деятельности Коллонтай в Норвегии, туда удалось приехать Павлу Дыбенко. Этот приезд был связан с определенными сложностями. После неудачной попытки самоубийства, Дыбенко искал встречи с Коллонтай,

хотел приехать к ней. Но изменились не только их отношения.

Изменились времена. Появился «великий Сталин» и его воля. Чтобы Дыбенко имел возможность выехать к ней, Коллонтай пришлось писать письмо Сталину. Разрешение было получено, Дыбенко получил отпуск. Не без труда добилась Коллонтай и визы для въезда Павла в Норвегию. Заведующий протокольной частью господин Фосс объяснял ей, что приезд Дыбенко создаст целый ряд сложностей протокольному отделу: «Вы — первая в мире женщина-дипломат, и это уже создает ряд неразрешимых и неустановленных по этикету задач. А тут еще придет ваш супруг! Как мы будем сажать его во время приемов? С кем его знакомить? Кто идет перед ним, кто идет за ним». Александра убедила заведующего протокольным отделом, что Дыбенко придет «инкогнито» и пробудет максимум месяц. Однако визу удалось получить только после долгой беседы с министром иностранных дел Мувинкелем. Александра вспоминала: «Я говорила с ним начистоту, что собственно, я с Дыбенко уже разошлась, у него другая жена, но нам надо повидаться и поговорить окончательно».

Министр иностранных дел посочувствовал, но воспринял все по-своему: «Я понимаю, когда брак расторгается и люди расходятся, есть всякие материальные и юридические вопросы, которые надо урегулировать».

«Я внутренне улыбнулась, — вспоминала Коллонтай, — но не стала разубеждать его». Александра Михайловна написала в ЦК Сталину, просила разрешения Дыбенко приехать к ней. Ему дали отпуск на шесть недель «для лечения легких в горах Норвегии».

Коллонтай была рада приезду Павла, но встретила его настороженно. Да и он чувствовал себя не в «своей тарелке». Александра Михайловна проводила все дни в приемах, переговорах, а он ходил, как неприкаянный.

Через три недели Дыбенко уехал в СССР и, как советовала ему Коллонтай, женился на Вале. Но брак их был недолгим.

«Проводила его с сухими глазами, — записала Александра в личном дневнике. А почтой отправила в Москву письмо Сталину: «Прошу больше не смешивать имен Коллонтай и Дыбенко. Трехнедельное пребывание здесь Дыбенко окончательно и бесповоротно убедило меня, что наши пути разошлись. Наш брак не был зарегистрирован, так что всякие формальности излишни».

Девушке Вале, ставшей женой Павла, Александра написала письмо, пожелав обоим счастья.

Но напряженные отношения с Дыбенко сохранились. Он часто звонил ей в Христианию, а потом и в Стокгольм, когда Коллонтай была назначена послом в Швеции. Отношения остались невыясненными до конца дней Павла, до лета 1938 года. А летом 1938 года Павел Дыбенко был расстрелян.

9 марта 1952 года Коллонтай скончалась на руках у внука в возрасте 80 лет. Ее прах покоится на Новодевичьем кладбище в Москве.

ТАЙНА «КРЕМЛЕВСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

Хорошо быть «звездой»! Да не просто «звездой», а «звездой кремлевской». Слава и почет, безбедная и интересная жизнь, сознание своей значительности и необыкновенных возможностей. Не жизнь, а праздник жизни, «который всегда с тобой».

И кажется, что все жизненные проблемы остаются за кулисами... Но жизнь на сцене не делает актрису свободной от жизни каждодневной, обыденной...

Отец певицы Веры Давыдовой, Александр Давыдов был завидный жених — сын богатых родителей, красавец, дворянин... За таким женихом охотились вовсю. Свахи непрерывно осаждали дом Давыдовых, но Александр оставался холостым.

И вдруг по городу разнесся слух, что первый жених, мечта дворянских невест, решил бракосочетаться с пятнадцатилетней дочкой нижегородского купца Никитина.

Новость взбудоражила всех. Это было невероятно, чудовищно. Мезальянс! Дворянин и купчиха!

Будущий тесть Давыдова — Иван Васильевич Никитин был владельцем крупной бакалейной лавки в городе. Но купец он был не простой. У него хорошо были налажены связи с оптовиками, которые доставляли ему чай высших сортов, привезенный из Китая, Индии и Цейлона. Свой ароматный товар Никитин сам же и расфасовывал. И этикетки накле-

ивал свои — «Чай Никитина». Жена Ивана Васильевича — Евгения Ивановна, была урожденная Пожарская. А быть потомком прославленного воеводы, спасителя России, князя Дмитрия Пожарского, в Нижнем Новгороде значило, да и до сих пор значит многое!

В скором времени общественное мнение обрело вполне определенную форму, а именно, что красавец Александр Давыдов и юная красавица Софья Никитина — пара подходящая, друг друга достойная. И, что главное, они поженились по взаимной любви.

Поначалу Александр оказался примерным семьянином. С первых лет пошли дети: три мальчика и две девочки.

Старшего сына, по традиции рода Давыдовых, нарекли Александром. Далее следовали Софья, Николай, Константин и Вера. Было красиво: старший сын — тезка отца, старшая дочь — тезка матери.

Первые годы совместной жизни молодых супругов протекали по образцу большинства благополучных семей. Но вот до Софьи Ивановны стали доходить слухи о любовных похождениях мужа. Она ревновала, плакала, упрекала его, думала все образуется... Но слухи множились, и, наконец, измена Александра стала очевидной.

После долгих переживаний Софья Ивановна решила покинуть дом и, взяв с собой только младшую дочурку Верочку, уехать тайком в Хабаровск. Там жила ее двоюродная сестра Маша. Она была замужем за кадровым военным — капитаном Кочетовым, служившим воинским начальником Хабаровска. Судя по письмам, у них был хороший дом и жили они в достатке.

— Поеду в Хабаровск... Конечно не «насов-

сем», — рассуждала Софья Ивановна, — пусть Александр почувствует, кого он лишился... пусть образумится... вот тогда я вернусь. А до того он не должен знать, где я нахожусь... и вообще никто не должен этого знать. Уеду тайно... С собой возьму только Верочку, со старшими детьми ничего не случится, гувернантка у них хорошая...

Так она решила, так и поступила.

Деньги Софья попросила у отца.

— Пятьсот целковых? — удивился Иван Васильевич, — неужто зятек в карты продулся?

— Александр здесь не причем, эти деньги нужны лично мне и, если можешь, не спрашивай для чего...

Иван Васильевич не стал спрашивать. Пожав плечами, он достал бумажник и отсчитал купюры. Дочь свою он любил до самозабвения...

— Ну, что же, раз надо — бери. В конце концов в этом доме все твое...

Свой тайный отъезд Софья Ивановна рассчитала до мельчайших подробностей. Заезжать в давидовский дом она уже не будет, нет необходимости. И здесь можно подобрать нужную, на первых порах, одежду и для себя и для ребенка. А дальше видно будет.

В те годы в Хабаровск можно было попасть по железной дороге только через Харбин. Чтобы никто не догадался, каким поездом и в какую сторону она поехала, Софья Ивановна еще в полдень вызвала извозчика, погрузила большую плетеную корзину и вместе с Верочкой отправилась на вокзал.

Там она заранее приобрела билет на отдельное купе первого класса и, притулившись в дальнем углу зала ожидания, опустила на лицо густую вуаль. Верочку покормила захваченными из дому медовыми пряниками и яблоками.

И началась жизнь, полная трудностей и забот.

Софья Ивановна долго бедствовала, работала учительницей в сельских школах. Со своим мужем и старшими детьми отношений не поддерживала, зато все свои силы и все свою любовь отдавала младшей дочери — Вере. Мать второй раз вышла замуж. У Веры обнаружился редкий дар — прекрасный голос. Произошел октябрьский переворот. Власть поменялась...

Кроме японцев, китайцев и корейцев, в Николаевске-на-Амуре можно было встретить представителей еще многих европейских и заокеанских государств. Вскоре в городе, наряду с японскими отрядами, появились отряды белогвардейцев, бежавшие из Сибири. По ночам шла стрельба.

Штаб анархистов, которые приобретали тут все большую власть, расположился в здании Дворянского собрания. Среди командования была одна женщина — некая Нина Киашко. Как потом стало известно, она была дочерью иркутского генерал-губернатора.

Нина Киашко ходила в кожаной тужурке с маузером на ремне, надетым через плечо. Громадный револьвер в деревянной кобуре и грубые армейские сапоги не вязались с ее шупленькой фигуркой.

Никто не знал, какую должность занимала эта женщина в штабе анархистов, но хозяйничала она там, как в собственном доме. Свою деятельность штаб начал с арестов. Были брошены в тюрьмы все бывшие офицеры, священники и чиновники городского управления. Затем пошли обыски. Реквизировали все товары в местных магазинах. Мимоходом расстреляли некоторых представителей интеллигенции. Остальных выслали в деревни. В этой группе оказалась Софья Ивановна. Ей при-

шлось перебраться в сельскую школу за Амуром.

Верочка осталась жить в Николаевске вместе с отчимом. Она продолжала ходить в гимназию, хотя там была сплошная неразбериха, и никаких занятий не велось. Особенно пострадало реальное училище. Почти всех преподавателей погнали в деревню. Некому было проводить занятия.

Школьникам выдали рабочие табели и обязали их по несколько часов в день работать подсобными рабочими в разных мастерских, в хлебопекарнях и на складах.

Верочка тоже получила рабочий табель — она два раза в день подметала в пекарне. Сперва открылись лавки, затем кухмистерские, а дальше пошли трактиры, кабаки и питейные заведения. По приказу начальника штаба анархистов в Дворянском собрании и в клубах опять заиграла музыка, возобновились танцевальные вечера. Киашко не пропускала ни одного такого вечера и танцевала, обычно, допоздна. Она даже здесь не снимала с себя тяжелого маузера.

А однажды она затеяла любительский концерт. Она вызвала всех, кто имел отношение к искусству и предложила срочно подготовить веселую программу. Причем обещала и свое участие.

— Смотрите у меня! — предупредила она, — чтобы все было лучшим образом. Кто провалится — накажу, а кто хорошо выступит — дам сажень дров!

В список участников концерта была занесена и Верочка Давыдова. Она должна была что-нибудь спеть. Девочка радовалась, что попала в число лучших артистических сил города и с ними будет выступать на настоящем «взрослом» концерте, да еще на большой сцене Дворянского собрания.

Верочка ни на минуту не сомневалась в своем успехе.

— Вот увидишь, дядя Миша, — говорила она отчиму, — мы получим дрова!

Верочка спела замечательно. После спетого «на бис» романса «У камина», ее долго не отпускали со сцены.

После концерта Нина Киашко похвалила ее.

— У тебя прекрасный голос. Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

— Ну-у-у?.. А я думала не меньше восемнадцати... Ты почти моего роста. Красавицей растешь...

Киашко окинула взглядом Верочку с головы до ног, и ее взор задержался на высоких ботинках девочки.

— Какие элегантные ботинки... Какой размер?

— Тридцать шестой!..

— Откуда они?

— Японские... Мама подарила.

— Хорошие ботинки... и голос у тебя хороший. Молодец! Завтра получишь сажень дров. Я распоряджусь — тебе домой привезут.

И действительно, на другой день вооруженные хунхузы привезли дрова на квартиру Давыдовой и свалили у порога. А через полчаса те же хунхузы пришли еще раз и по распоряжению Киашко реквизировали у Верочки ее элегантные ботинки.

Софья Ивановна уже давно заметила, что Верочка хорошо успевает по физике и математике и мечтала после окончания средней школы определить девочку в педагогический институт.

— Это очень почетно, когда женщина преподает точные науки, — говорила она Верочке. — Заниматься пением я, конечно, не запрещаю, но в жизни надо иметь и твердую профессию.

— А оперная певица, чем не профессия? — возражала Верочка.

На семейном совете Софья Ивановна даже заплакалась, ей хотелось все же, чтобы Верочка стала учительницей, но «большинством голосов» предпочтение было отдано вокальному искусству.

— Если уж ехать, то, конечно, не в Москву, а в Ленинград, — заявила Софья Ивановна, — там мой сын Костя... Есть у кого поселиться.

Действительно, в Ленинграде жил и работал родной брат Верочки. Она, конечно, не помнила Костю, но вот уже два года, как вместе с матерью переписывалась с ним.

По совету Флерова, Косте послали подробное письмо, и, не дожидаясь ответа, стали собирать Веру в дорогу. У Флерова уже был выработан план.

— О консерватории, конечно, и думать не приходится, — говорил он, — но поступить в какую-нибудь музыкальную школу — надо попытаться... А если это не удастся, то поищи хорошего преподавателя пения... Как я понял из писем Кости, он и сам увлекается вокалом, и жена у него певица... И, если не ошибаюсь, оба они занимаются у какой-то крупной специалистки...

Софья Ивановна извлекла из своей шкатулки одно из Костиных писем и нашла в нем интересующие их строки.

— Вот же он пишет «...мы с женой занимаемся на дому у профессора Ленинградской консерватории Елены Викторовны Де-Вос-Соболевой...»

— Вот и хорошо, — обрадовался Флеров, — если сами не смогут, то через Елену Викторовну подыщут тебе педагога. Но ехать надо немедленно, чтобы все успеть за лето, а то, когда начнутся занятия, ни одна учительница пения уже не возьмет...

Веру к отъезду готовили так, точно она ехала на Северный полюс. Покупали теплые вещи, шили теплое белье, приобрели меховую шапку. Все было сложено в знаменитую плетеную корзину, которую Софья Ивановна когда-то привезла из Нижнего Новгорода. Теперь этой корзине предстоял путь еще длиннее — от Благовещенска до Ленинграда.

И вот поезд подходит к перрону Ленинградского вокзала. Поезд остановился. В вагоне поднялась обычная суета. Верочка выскочила в коридор и высунулась в окно. Она искала глазами брата, но как его узнать? На известной ей фотографии он был снят совсем ребенком...

Верочку охватило волнение. На перроне столько встречающих... И вдруг... Неужели ей показалось? Она увидела лицо своей матери!

— Костя!..

— Вера!..

Через мгновение Верочка была в объятиях брата, с которым рассталась 16 лет назад.

— Я бы тебя среди тысячи узнала, — захлебывалась слезами Верочка.

— Не сомневаюсь... Ведь у меня черты Никитиных... Но тебя я тоже сразу узнал — типичная Давыдова, копия отца!

Верочка в первый же день приезда рвалась скорее осмотреть город, но Костя ее не пустил, надо было отдохнуть с дороги. К тому же и Косте, и его жене Марии Федоровне не терпелось послушать Верочкин голос. Об ее успехах они уже знали по письмам Софьи Ивановны.

Весь вечер был посвящен пению. Сперва слушали Верочку, затем пели Костя и Машенька. А затем наперебой говорили друг другу комплименты. Больше всех была довольна Верочка, она и не подо-

зревала, что у ее брата такой приятный баритон и никак не могла понять, почему Костя, обладая таким прекрасным голосом, не хочет сделать пение своей профессией и работает каким-то бухгалтером в Управлении Балтийского флота. Вот Машенька — молодец, серьезно смотрит на пение и твердо решила стать оперной певицей.

— И ты станешь оперной певицей... Хорошо сделала, что приехала сюда. Все лучшие вокальные силы находятся в Ленинграде. Есть у кого поучиться, — говорила Мария Федоровна.

Первым делом было решено показать Верочку профессору Де-Вос-Соболевой.

— Это надо делать скорее, — предупредила Маша, — в консерватории через несколько дней начинаются каникулы, и Елена Викторовна на целое лето уедет отдыхать на юг.

— Правильно, — согласился Костя, — ты, Машенька, завтра на уроке попроси у Елены Викторовны разрешения, и мы сведем к ней Верочку.

Так и поступили. Де-Вос-Соболева согласилась прослушать Веру. В назначенный день и час Костя и Машенька повели к ней Веру.

Де-Вос-Соболева жила возле Екатерининского канала на углу проспекта Майорова. Верочка с трудом поднималась по лестнице. От страха она была ни жива, ни мертва.

Дверь открыла горничная в белоснежном крахмальном чепчике.

— Как в кино... — подумала Верочка и еще больше оробела.

Горничная провела их через столовую в огромный зал-студию. Тяжелый бархатный занавес делил зал на две части.

Никакой мебели, только концертный рояль и не-

сколько золоченых стульев дворцового типа. Елена Викторовна Де-Вос-Соболева была высокая, статная дама. Ее немолодое, но красивое лицо обрамляли пышные седые волосы.

Любезно поздоровавшись, Елена Викторовна пригласила Веру к роялю, и сама села к инструменту. От волнения у Веры пересохло горло — язык прилип к небу. Она вдруг почувствовала, что не только петь, даже слова сказать не сможет...

— Ты не робей! — подбодрил ее Костя.

— Ну-с, что будем петь? — спросила Елена Викторовна, делая вид, что не замечает волнения девушки, — давайте начнем с арпеджио...

Вера вдруг почувствовала необычный прилив сил, и, собравшись с духом, во всю мочь пропела заданное арпеджио от «до» первой октавы до «соль» второй.

Елена Викторовна закрыла уши ладонями.

— Зачем же так громко?.. Вы же не иерехонская труба!.. воскликнула она. — Даже не представляю, что делать с таким большим звуком... Его, прежде всего, надо унять!

— Дорогая Елена Викторовна, — улыбаясь сказал Костя, — звук большой потому, что здесь и Волга-матушка и Амур-батюшка!

— Да-а-а, голосище! — все еще не могла успокоиться Елена Викторовна. По ее указанию Вера исполняла еще несколько упражнений, после чего профессор захлопнула крышку рояля и встала.

— Никаких частных уроков! — решительно заявила она, — с таким голосом надо поступать прямо в консерваторию! На днях я еду в Крым и вернусь только в августе, поэтому поручаю вам, Мария Федоровна — подготовить сию молодую особу к экзаменам.

А вы, Константин Александрович, загляните завтра ко мне в консерваторию... Я узнаю там в канцелярии условия приема на подготовительное отделение и скажу вам, какие произведения ей надо будет подготовить...

В тот же вечер Верочка написала подробное письмо к своим, в Благовещенск, поделилась с ними большой радостью. Шутка ли сказать — «таежная дикарка» будет сдавать экзамен в Ленинградскую государственную консерваторию! В прославленную консерваторию, где ректором великий композитор, любимец Римского-Корсакова Александр Константинович Глазунов!

Костя на другой день повидал Де-Вос-Соболеву и узнал все условия поступления на подготовительное отделение и экзаменационную программу. Кроме того, Де-Вос-Соболева передала Косте записку к проректору консерватории на тот случай, если в ее отсутствие возникнут какие-либо осложнения.

Мария Федоровна решила дать Верочке два дня отдохнуть, акклиматизироваться, освоиться на новом месте, а затем уже начала готовить ее к экзаменам.

В начале августа Костя понес сдавать в консерваторию Верочкины документы. Их было всего три — метрика, свидетельство об окончании средней школы и справка Наробраза о том, что ученица Вера Давыдова в течение двух лет руководила в средней школе детским хоровым кружком.

В канцелярии документы не приняли. Сказали, что согласно действующим законам, в Высшие учебные заведения молодежь зачисляется только по разверстке. Иначе говоря, надо было иметь направление от завода, фабрики или иного предприятия.

У Веры такого направления, конечно, не было. И тут Костя воспользовался запиской Де-Вос-Соболевой, в которой она так расхваливала Верочку, что проректор дал указание канцелярии принять документы Давыдовой под его личную ответственность. Он считал, что справка Наробраза вполне может заменить направление по разверстке.

Тут же в консерватории Костя узнал, что экзамены для поступления на подготовительное отделение вокального факультета назначены на 20 августа.

И состав экзаменационной комиссии был уже известен. В него входили выдающиеся личности: певцы П. З. Андреев и И. В. Ершов, крупнейший музыковед А. В. Оссовский, художественный руководитель государственной капеллы М. Т. Климов, профессора К. Н. Дорлиак, М. И. Бриан, С. Д. Масловская и Е. В. Де-Вос-Соболева. А председателем комиссии был сам А. К. Глазунов. На экзамен Вера пошла без волнения. Накануне ее прослушала Де-Вос-Соболева и осталась довольной.

— Можете не беспокоиться. Вы хорошо подготовлены... Хвалю! — сказала она Верочке.

Эти слова успокоили девушку и внушили ей веру в успех.

И вот она стоит перед авторитетнейшей комиссией, поет арию из «Ринальдо» и чувствует, что голос звучит хорошо, никаких ошибок не допускает...

— Довольно! — громко сказал один из членов комиссии.

Какой-то болью отозвалось это слово в сознании Верочки. Почему довольно? То ли она плохо спела и ее не стоит дальше слушать, то ли очень хорошо...

Верочка уже хотела отойти от рояля, но ее задержал Глазунов.

— Нет, подождите, — сказал он, — спойте-ка нам еще романс Даргомьжского.

Вера спела.

— Очень хорошо, — резюмировал Глазунов и вдруг спросил: — Вы приехали с Дальнего Востока?

— Да.

— А сколько дней вы ехали?

— Четырнадцать.

— Много раз собирался повидать ваш край, да все не решаюсь. Говорят у вас там на улицах тигры и белые медведи разгуливают?..

— Наши звери — это собаки и олени...

Все заулыбались.

Глазунов, неторопливо надев пенсне, внимательно посмотрел на Веру, — ну как такую не принять?

— А разверстка? — спросил кто-то, — ведь она без направления.

— Эх, батенька, причем тут разверстка? Если бы даже не было у этой девушки такого прекрасного голоса, то за одно ее огромное желание учиться она достойна быть зачисленной... Боже мой! Какое у нее стремление к учению!!! Вы только подумайте — ехала четырнадцать дней!.. Из тайги!..

Комиссия единодушно поддержала ректора, и дальнейшая судьба Верочки была решена.

На другой день в Благовещенске получили телеграмму с радостной вестью. В конце телеграммы после слов «крепко целую» стояла подпись «студентка Ленинградской государственной консерватории Вера Давыдова».

Первая консерватория в России была основана в 1862 году в Петербурге Русским музыкальным обществом. Инициатором этого благородного дела

был великий пианист и выдающийся композитор Антон Григорьевич Рубинштейн.

Уже первый выпуск консерватории был украшен именем корифея русской музыки П. И. Чайковского. Здесь получили образование и многие певцы и музыканты, впоследствии прославившие русское, а затем и советское музыкальное искусство.

В 1871 году в состав профессуры консерватории вошел великий русский композитор, общественный деятель Николай Андреевич Римский-Корсаков, воспитавший таких мастеров, как А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, И. Стравинский, А. Гречанинов, М. Баланчивадзе и А. Спендиаров.

Николай Андреевич оказал огромное влияние на всю музыкальную жизнь Петербурга и, прежде всего, консерватории.

В 1918 году вышел правительственный Декрет о национализации Петроградской и Московской консерваторий.

Текст этого исторического документа гласил:

«Совет Народных Комиссаров постановляет:

Петроградская и Московская консерватория переходят в ведение Народного комиссариата по просвещению на равных со всеми высшими учебными заведениями правах с уничтожением их зависимости от Русского музыкального общества. Все имущество и инвентарь этих консерваторий, необходимое и приспособленное для целей государственного музыкального строительства, объявляется народной государственной собственностью.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин), Народный комиссар по просвещению А. Луначарский, Управляющий делами Совета Народных комиссаров Вл. Бонч-Бруевич, Москва, 12 июля 1918 года.»

И цель жизни, которая теперь закипела в старом здании консерватории, была выражена в лозунгах, вывешенных в вестибюле: «Музыку в массы!», «Искусство для народа!»

— Вот, дорогой Ипполит Иванович, наша Вера Давыдова. У нее только вид такой взрослый, а ей нет еще и пятнадцати...

Верочка подняла глаза. Перед ней стоял пожилой мужчина, среднего роста, с весьма респектабельной внешностью.

— Любопытно, любопытно... — сказал Райский, рассматривая Верочку прищуренными глазами и небрежно теребя золотую цепочку на своем жилете. — Мне сказали, что вы в Николаевске-на-Амуре выступали на концертах и исполняли Гурилева... А что вы именно пели?

— «Матушку-голубушку» и «Сарафанчик...»

— Ну давайте попробуем «Матушку-голубушку».

С этими словами Райский сел за рояль и начал играть вступление. Верочка в смущении ломала себе пальцы, ей казалось, что она не сможет даже рта раскрыть.

На помощь пришла Людмила Васильевна. Она ободряюще кивнула Верочке головой, как бы говоря: «Смелее, не бойся!»

И Верочка запела. Голос лился свободно, спокойно... каждая фраза звучала ясно, округленно.

Райский аккомпанировал, не глядя на клавиши. Его взор был прикован к юной певице. И после того, как был взят последний аккорд, он повернулся к Верочке и, как бы отвечая собственным мыслям, прошептал:

— Типичное меццо-сопрано... диапазон полный, тембр замечательный...

1947 год... По всей Москве пестреют плакаты,

с которых смотрит на сограждан красивое лицо выдающейся женщины. Текст под плакатом призывает трудящихся Москвы голосовать за кандидата от блока коммунистов и беспартийных, заслуженную артистку РСФСР и Грузинской ССР, лауреата Государственной премии Веру Александровну Давыдову-Мчедлидзе. Народ действительно восторгается ею как выдающимся мастером оперного искусства, удивительно обаятельной женщиной. И он обязательно изберет ее своим депутатом и сейчас, и в 1951 году. Тем более, что ей покровительствует сам Сталин!

Ей приходилось часто бывать на кремлевских банкетах, на которые «вожди» не брали своих жен. Какому бы событию ни посвящался банкет и каких бы людей он ни собирал, неизменным оставалось одно: блистательные короли и королевы сцены должны были своим присутствием украшать праздник. Приглашались, как правило, артисты и артистки Большого, Малого, Художественного и Вахтанговского театров. Это было очень мудрым решением. Красивые, остроумные люди разряжали обстановку напряженности и скованности. Да и к тому же именитые колхозники, рабочие, инженеры, часто приглашавшиеся на такие вечера, имели возможность увидеть сразу столько знаменитостей. Для них это были незабываемые впечатления. Обставлялись эти банкеты с особой тщательностью.

В приглашениях обязательно указывалась форма одежды. Обычно это были темные костюмы для мужчин и вечерние туалеты для дам. Если же официальная встреча намечалась в Министерстве обороны или иностранных дел — предпочтение отдавалось фраку или черному пиджаку. В приглашении-

ях, рассылаемых гостям, редко делалась пометка о том, что приходиться нужно с супругой (или супругом). Это было не принято. Исключения составляли те случаи, когда оба супруга были достаточно знамениты. Эта практика распространялась не только на гостей, но и на самих хозяев, предпочитавших «холостевать» на пышных банкетах. Зачастую их жен вообще никто никогда не видел. Сталин вел себя на таких приемах достаточно непринужденно, позволял себе короткие беседы с актерами и актрисами, некоторым из них он оказывал особые знаки внимания. Так было и с Давыдовой. На одном из таких приемов (новогоднем банкете) он подошел к ней — высокой, эффектной женщине в сильно декорированном серебристом платье — и чуть ли не довел до слез своими бестактными высказываниями. «Зачем вы так пышно одеваетесь? — начал он после достаточно продолжительного рассматривания молодой певицы в упор. — К чему все это? Неужели вам не кажется безвкусным ваше платье? Вам надо быть скромнее. Надо меньше думать о платьях и больше работать над собой».

Далее последовало унижительное для любой женщины сравнение с другой красавицей. Он ставил в пример Давыдовой артистку Большого Наталью Шпиллер. Та действительно была настоящей русской красавицей: рост, стать, черты лица — все это завораживало. В одежде она всегда была подчеркнуто скромна, игнорировала косметику и драгоценности. «Вот она не думает о своих туалетах так много, как вы, а думает о своем искусстве...», — заметил Сталин. Обе талантливые певицы молча выслушали монолог вождя. Ответа он не ждал, да и что они могли сказать!

Кроме пышных званых вечеров практикова-

лись и вечеринки другого типа. Как правило, встречи устраивались в честь какого-нибудь вождя. Проходили они иногда на квартирах известных актеров, но чаще всего дома у самих членов Политбюро в Кремле. На такие вечера приглашались актрисы. Их редко предупреждали заранее. Большею частью это была импровизация, и как правило, ночью. Актрисе или балерине звонили среди ночи и приказывали быть готовой через несколько минут. Само собой разумеется, что никакие отказы не принимались. Среди прочих часто оказывалась гостьей таких вечеров и Наталья Шпиллер. Однажды ее вызвали на ночной концерт в 4 часа утра. Женщину подняли с постели и привезли в компанию мертвецы пьяных мужчин. Те, кто еще мог шевелить языком, заставили ее петь русские народные песни. Домой она попала, когда было уже совсем светло.

Любовь к театру просыпалась у наших вождей не только на пьяную голову — они любили посещать театры лично. Сталин в том числе. Именно там он впервые увидел Веру Давыдову. В то время она пела в ленинградском Мариинском оперном театре. Приглянувшуюся Сталину актрису тут же переводят в Москву, в Большой театр и зачисляют в труппу на положении первой меццо-сопрано... Надо ли говорить, сколь велико было счастье Веры. Шутка ли — солистка Большого театра Союза ССР! Первое время в Москве Вера Александровна жила у своей подруги по консерватории Елены Кирилловны Меже-рауп. Елена Кирилловна вместе со своим мужем, крупным военачальником, жила в хорошей просторной квартире. Но Вера Александровна не могла чувствовать себя уютно, зная, что хоть немного, но стесняет чужих людей. Она обратилась в дирек-

цию Большого театра с просьбой предоставить ей отдельную жилплощадь. На то время у Большого не было вообще никаких вариантов и единственное, чем он мог ей помочь — это поселить в гостинице «Националь». Молодая певица начала делать стремительную карьеру: Колонный зал Дома Союзов, Большой зал консерватории — выступления в таких местах были для нее огромной честью. В канун празднования 15-й годовщины Октябрьской революции судьба преподнесла ей еще один подарок. Ее пригласили участвовать в правительственном концерте. Она должна была исполнить сольную партию в только что законченной Виссарионом Шебалиным драматической симфонии «Ленин». Это была большая ответственность. Ей придется петь перед всеми членами Политбюро, перед самим Сталиным. Она очень волновалась. Несмотря на то что и Шебалин, и Мелик-Пашаев хвалили и подбадривали ее, Вера Александровна не находила себе места. Она попыталась вызвать в Москву мужа, общество которого всегда вселяло в нее уверенность, но у него оказалось много работы, откладывать которую было нельзя.

Наступил долгожданный день. Театр заполнили выдающиеся, заслуженные люди страны. В президиуме сидела государственная и партийная элита. Давыдова ожидала своего выхода в артистической уборной. Когда до ее ушей донеслось пение «Интернационала», она поняла: скоро ее выход. Сердце забилось чаще. Через несколько минут ее вызвали на сцену... Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она повернула голову в сторону правительственной ложи. Всех сидящих там она сразу узнала: Сталин, Калинин, Микоян, Орджоникидзе. В это время Мелик-Пашаев взмахнул палочкой

и Вера, не успев испугаться, запела. По аплодисментам, как шквал обрушившимся на нее, актриса поняла: все прошло удачно. Она в очередной раз повернула голову в сторону правительственной ложи... Сидевшие там улыбались и дружно аплодировали. От сердца отлегло. Из-за кулис кто-то шепнул: «Поклонись правительству...». Она склонилась в поклоне, полном искренней признательности. По завершению концерта всю труппу пришел поздравить секретарь Президиума ВЦИК Авель Енукидзе. Особо он отметил пение Давыдовой. Она поблагодарила его по-грузински. На Авеля это произвело должное впечатление. «Откуда вы знаете грузинский язык?» — спросил он. — «А у меня муж грузин...». — «Это сюрприз для меня! Неужели вы говорите по-грузински?» — «Нет, Авель Сафонович, говорить я пока не умею, но несколько песен по-грузински пою».

Сейчас уже трудно сказать, какую роль в переводе Давыдовой из Мариинки в Большой сыграли личные мотивы, но они наверняка имелись. Ближился новый 1933 год... Начинались предновогодние хлопоты. Тамара Церетели, Мелик-Пашаев, Касимовский намеревались отметить его вместе и пригласили к себе Веру Александровну. Но она отказалась. Ей хотелось провести этот вечер в кругу пусть не полной (она жила с мамой и сыном), но семьи. На следующий день она получила предложение, от которого отказаться не могла. Ей позвонила Мария Платоновна Орахелашвили и попросила составить им с мужем компанию в поездке на дачу Енукидзе. Вера Александровна с радостью согласилась и пообещала спеть что-нибудь. Через некоторое время она уже мчалась на черном «линкольне» по заснеженному Подмосковию. За бесе-

дой дорога показалась совсем недолгой. Вера с интересом и восхищением смотрела на Мамию Орахелашвили. Она помнила рассказы мужа о нем. Вера знала, что он долгое время был партийным руководителем высшего ранга в Закавказье, а теперь — директор Института Маркса-Энгельса-Ленина. Его жена, Мария Платоновна — народный комиссар просвещения Грузии. Разговор в машине шел в основном о музыке, хвалили искусство Веры. Мамия заметил, что Авель Енукидзе — большой любитель оперы, знает многие партии и даже сам их иногда поет. Дача Авеля располагалась в Мещерино. Хозяин встретил гостей радушно, позволил себе пару безобидных шуток и предложил гостям располагаться. Через некоторое время прибыли еще приглашенные, и гости уселись за праздничный стол. Вера была на высоте: сначала она покорила всех знанием грузинского, а затем спела «Мравалжамиер». Собравшиеся ей дружно подпевали. Когда с трапезой было покончено, Вера, аккомпанируя себе на рояле, спела «Иав-нана» на грузинском языке. Хозяин дома пришел в полный восторг. Он поспешил сообщить ей, что в доме имеется оперный клавир «Царской невесты». Вера Александровна искренне удивилась и предложила дуэтом исполнить партию Любаши и Грязного. Получилось довольно неплохо. Енукидзе пел хорошо поставленным голосом. «Вы, должно быть, учились пению?» — поинтересовалась Вера. — «Был такой грех...» — признался хозяин дома. Из его дальнейших разговоров Вера Александровна поняла, что Енукидзе довольно внимательно следит за ее выступлениями. Но больше всего ей польстило его признание, что они с Иосифом Виссарионовичем часто обсуждают ее успехи в творчестве.

Все это время Вера Александровна жила в гостинице. Отсутствие рояля, стесненная обстановка угнетали ее. Наконец Вере Давыдовой была предоставлена отдельная квартира на Кузнецком мосту. По соседству с ней жили певцы, музыканты, актеры. На противоположной стороне — друг детства ее мужа, бас Серго Гоциридзе. Существует мнение, что блага, сыпавшиеся на голову Давыдовой, не были простой платой за талант. Многие считают, что большую роль сыграли личные отношения певицы с главой Советского государства. Говорили, что Вера Давыдова долгое время была любовницей Сталина.

СЛАДОСТЬ РИСКА

Белые руки, красивое, тонкое, нервное лицо...

Немногочисленные свидетели вспоминают Ларису Рейснер то на моторном катере-истребителе под «пулеметно-кинжальным» огнем врагов. То в ночной разведке. То на борту миноносца, по которому из засады открыли артиллерийский огонь. «Вся в белом, — подчеркивает очевидец, — резко выделяясь среди экипажа миноносца, стоя во весь рост на виду у всех... Лариса Михайловна одним своим видом, несомненно, способствовала поддержанию порядка». Почему в белом, а не в зеленом, не в коричневом? Да потому, что был июнь. Волга, молодость. Потому, что Лариса умела любить жизнь между двумя боями. Потому, что холодящая сладость риска была ей милее. В 1914—1916 годы Лариса Рейснер — студентка Психоневрологического института. После штурма Зимнего ей была поручена охрана историко-культурных ценностей дворца. Весной 1918 года вступила в коммунистическую партию. В июле 1918 года была назначена комиссаром генштаба Волжско-Камской (затем Волжско-Каспийской) флотилии. Мужеподобного в ней не было ничего: она со вкусом одевалась, отлично танцевала. Но налет большевизма плюс выраженная сексуальность были в ней неудержимы. В короткой шубке или в шуршащем кожаном пальто, с коньками или теннисной ракеткой в руке, она была хоро-

ша, молода, собиралась жить и жить, совершить поездку по Кавказу, Закавказью и Ирану, поехать в Париж... Она хотела многого...

Представляет интерес единственная в своем роде анкета, на которую Рейснер ответила по просьбе одного из друзей. Вместе со всем архивом она хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. *Вопрос.* Где бы вы предпочли жить? *Ответ.* Никогда не жить на месте. Лучше всего на ковче-самолете. *Вопрос.* Ваши любимые композиторы? *Ответ.* Очень люблю плохую музыку. Шарманки, бродячие оркестры, таперы в кино. Сверх того Бетховена и Скрябина. *Вопрос.* Ваше любимое кушанье? *Ответ.* Господи, конечно, мороженое, миндаль, жаренный в сахаре, кочерыжка от капусты». Среди этих ответов есть и серьезные. На вопрос о ее нынешнем душевном состоянии Рейснер отвечает: «Разрушилось, и все-таки думаю, что обломков моих хватит на новое...»

Она действительно была наделена поразительной способностью к возрождению из огня, наподобие сказочной птицы Феникс. Рейснер была замужем за Федором Раскольниковым (настоящая фамилия Ильин). В 1919—1920 годах он командовал Волжско-Каспийской военной флотилией, в 1920—1921 годах командовал Балтийским флотом, в 1921—1923 — полпред в Афганистане. Лариса Рейснер везде была с ним. Но в старых книгах о Ларисе Рейснер нет ни слова о ее любимом муже. Как нет его и в словарях и справочниках, вышедших до 1990 года. Почему? Раскольников написал знаменитое письмо Сталину, обвиняя его в массовых репрессиях. Ввиду угрозы ареста остался за рубежом.

Был заочно исключен из партии, лишен советского гражданства, объявлен «врагом народа». Реабилитирован посмертно. Поэтому во всех советских книгах его жена выступает в качестве незамужней девушки.

«Комсомольская правда» опубликовала одно из писем Ларисы Рейснер к родителям, открыто назидая молодым: учитесь ценить, понимать и почитать старших. Действительно, отношение Рейснер к отцу и матери было удивительно. Ее письма к родителям могут составить отдельную книгу. Но и родители не оставались в долгу. Отец, мать, которые, по словам Ларисы, нередко ложатся грузом на всякое движение, «на всякий прыжок вдаль», были ее первыми учителями, главными вдохновителями. Еще в 1915 году профессор Петербургского психоневрологического института Михаил Андреевич Рейснер на свои скудные средства начал издавать резко оппозиционный журнал «Рудин», направленный против угара шовинизма, против ренегатов революции. В своей незаконченной автобиографической повести Лариса Рейснер так передает разговор двух героев, в которых легко угадываются ее отец и мать: «Мы будем первыми, которые нарушат ужасающую тишину... Почему не доставить себе этой последней радости и не крикнуть королю, что он голый?» — «А дети?» — «Дети с нами». Журнал «Рудин» просуществовал очень недолго, исчерпав все средства семьи Рейснер и вогнав ее в долги. Но для двадцатилетней Ларисы, делившей с отцом все тяготы по выпуску журнала, это была школа журналистики. Памфлет на Керенского, вышедший летом 1917 года из-под пера Ларисы Рейснер, не на шутку испугал некоторых ее коллег, но отнюдь не родителей. Она пошла дальше своего отца, живше-

го в николаевской России с «почетным клеймом отщепенца, одиночки, чужака». Но пошла с его благословения. Ненадолго выбравшись на фронт — к дочери, политкомиссару Волжско-Камской флотилии, Екатерина Александровна Рейснер нашла в себе мужество написать домой: «У нее хороший период Sturm und Drang. Если выживет, будет для души много, и авось творчество оживет, напившись этих неслыханных переживаний...»

...Москва. Лето 1918 года. В гостинице «Красный флот» та походная обстановка, которая предшествует отправке на фронт. К Ларисе Рейснер пришел молодой поэт, знакомый по «Рудину», по дореволюционным литературным кружкам. Чувствуя себя очень уверенно среди этого бивуака, Лариса встретила слегка растерянного поэта весьма скептически. В руках она держала газету «Вечерний час» с любовными стихами незадачливого гостя. «Мы встретились на лестнице с прелестницей моей», — насмешливо процитировала она.

— В последний раз встретились, я надеюсь? Скоро мы эти «Вечерние часы» закроем. И не стыдно вам писать такие стишки?

В комнату вошел матрос. «Познакомьтесь, это товарищ Железняков. Тот самый, который сказал: “Караул устал”. И разогнал “Учредилку”...»

Этот эпизод рассказывает в своих воспоминаниях писатель Лев Никулин, автор «прелестницы». Рейснер тогда жила интересами матросов и партии, в которую недавно вступила, уже говорила «мы» — местоимение, которое чаще других встречается в ее книгах.

Отправка Рейснер на фронт предваряла многие

события. Летом и осенью 1917 года она работала в Петроградской межклубной комиссии, в Комиссии по делам искусств при исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов. Занималась охраной музейных ценностей... Эмигрантские газеты в Берлине, Париже, Шанхае писали о полном разграблении большевиками Зимнего.

Лариса Рейснер была действительно незаурядной личностью: 18-летней девушкой она писала декадентские стихи и мечтала о революции. Вопреки всем сложившимся традициям об образовании женщин, в 1915 году она посещала лекции Петроградского университета. И это была не блажь — ее тянуло к наукам, к поэзии. Даже став комиссаром Генерального морского штаба, она не утратила способности тонко чувствовать и понимать высокое искусство. Этой женщиной восхищались, в ее честь слагались стихи. А Всеволод Вишневский сделал ее прообразом своей героини в «Оптимистической трагедии». Ларису боготворил Карл Радек. Они тесно дружили, а может быть, и не только... В студенческие годы Лариса была дружна с Всеволодом Рождественским. Первый раз юноша увидел ее на лекции в университете. Когда ее точеная фигурка появилась в дверном проеме, шум, неизбежно присутствующий перед началом занятий, резко прекратился, взоры присутствующих обратились к вошедшей. Внимание такого количества мужчин, конечно же, смутило новую студентку, но она и бровью не повела. Окинув надменно-холодным и в то же время слегка насмешливым взглядом аудиторию, Лариса решительно направилась к скамье Рождественского, так как там еще было свободное место. Попросив разрешение сесть, Лариса спокойно открыла портфель и достала тетрадь.

Мужская аудитория, как замороженная, следила за ее плавными движениями, она чувствовала их взгляды на своих руках, лице, они жгли ей затылок. Но девушке хватило самообладания, чтобы ничем не выдать своего волнения. И только Всеволод краем глаза мог заметить легкий румянец на ее щеках. Лариса пришла в университет вольнослушательницей, и этот статус не давал ей полного чувства уверенности. Но по-другому в 1915 году девушка в университет попасть не могла. Лекцию читал профессор Ф. Ф. Зелинский. Речь шла о классической филологии и античной литературе. Во время занятий Лариса была очень внимательна, поспешно что-то записывала. Тогда, на первом занятии, Всеволод еще не знал, что эта удивительно красивая девушка с серыми глазами вскоре станет его большим другом. Первое время они встречались только на лекциях — и то изредка. Лариса училась на юридическом факультете и к ним — филологам — приходила не часто. Дала повод для продолжения знакомства сама Лариса. Она неожиданно подошла к Всеволоду на перемене и, весело поприветствовав, протянула руку. Юноша был ошеломлен. Все уже начали привыкать к ее надменно-холодной манере держаться, а здесь вот так запросто, даже несколько театрально... Но как бы то ни было, беседа завязалась, и вскоре Всеволод, избавившись от смущения, заметил, что милые серые глаза умеют улыбаться, пусть и несколько насмешливо, иронично. Лариса была остра на язык, ее стремительный ум рождал такие же стремительные вопросы и ответы. Она явно симпатизировала демократически настроенной части молодежи, так же, как и они, носила в душе непримиримую вражду к «маменькиным сынкам» барского сословия. Постепенно формировались

и более серьезные взгляды, носившие чисто политический характер. Встречи Всеволода и Ларисы становились все более частыми и продолжительными. Она с удовольствием рассказывала о Петербургской женской гимназии Д. Т. Прокофьевой, которую закончила с отличием, о Психоневрологическом институте, в котором училась параллельно с посещением университета. Молодые люди гуляли по островам, катались на ялике по Неве. Они любили свой город. Могли часами любоваться гранитными глыбами фасадов, их захлестывала неповторимая эстетика Петербурга.

Несмотря на романтичность таких прогулок, Лариса все чаще и чаще говорила о рабочих окраинах, о том, как о них пишет Александр Блок или Валерий Брюсов. В студенческие годы они вместе участвовали в университетском «Кружке поэтов». Туда входили одаренные молодые юноши и девушки, и Рейснер, как редактор печатного журнала «Рудин», дружила со многими из них. Лариса сама писала стихи, но все же с большим воодушевлением она поднимала на заседаниях клуба острые, принципиальные споры. Это был ее конек. Никто не мог сравниться с ней в красноречии, остроумии и находчивости. Лариса обладала действительно «мужским умом», но как бы она ни старалась подчеркнуть силу своего характера, ума, Рейснер оставалась воплощением женственности, с легким, едва уловимым налетом тонкого кокетства. Дерзкая, решительная, она умела ни при каких обстоятельствах не терять самообладания. В беседах со Всеволодом она часто жаловалась, что перестала понимать простые вещи. Ее огорчало постоянное стремление все усложнить. Природа с ее простотой форм и проявлений не особенно привлекала Ларису. Другое де-

ло — человек. Но и здесь ей был интересен не сегодняшний обыватель, а человек будущего. Она вообще любила говорить о будущем, любила мечтать о нем. Но подобные разговоры, как правило, заходили в тупик. Лариса любила неразрешимые загадки и неожиданные повороты. Порой ее острый язык и несколько ироничный взгляд могли обидеть кого-нибудь, но с друзьями она всегда была предельно честной и простой. Лариса любила танцы, кататься верхом, читала все подряд: от научной литературы до легких романов, в общем, ничто человеческое ей было не чуждо. Она немного стеснялась своего романтизма, но и отказаться от него не желала.

1916 год поставил точку на их студенческой юности. Несколько курсов были призваны в армию. Судьба разбросала старых друзей по разным воинским частям. Рождественский на несколько месяцев потерял Ларису Михайловну из виду. Правда, до него доходили слухи о ее активном участии в Октябрьском перевороте, да еще о том, что она связала свою судьбу с моряками Кронштадта. Зная решительный характер Ларисы, его это не удивляло. Ее вечное желание находиться на гребне истории не могло оставить девушку в стороне от столь значительных событий. Рейснер приняла участие в защите памятников старины и искусства, одно время даже работала с А. В. Луначарским. Затем ее увлекла за собой гражданская война и она вместе с моряками-балтийцами героически сражалась на фронтах революции.

В 1920 году, после долгой разлуки они снова встретились в Петербурге. К этому времени Рождественский был уже младшим командиром Красной Армии. Его часть дислоцировалась в Петроград-

ском гарнизоне. Сам Всеволод занял небольшую комнатку в Доме искусств. Однажды, направляясь на работу и проходя мимо Адмиралтейства, он услышал позади себя легкое шуршание автомобильных колес. Неожиданно машина остановилась и Всеволода окликнула женщина в морской форме с удивительно знакомой улыбкой. Подойдя поближе, он узнал ее. Это была Лариса — элегантная, подтянутая и, как всегда, очаровательная. Она пригласила старого друга в машину и, не скрывая радости, принялась расспрашивать о бывших членах клуба, о жизни самого Всеволода. Времени было очень мало, а поговорить хотелось обо всем. Лариса вспоминала студенческие времена — наивные подробности юношеского бытия странным образом увлекали ее, несмотря на суровую действительность, подмявшую под себя былой романтизм. Лариса Михайловна настаивала, чтобы Всеволод пришел к ней в гости, прихватив кого-нибудь из поэтов. В то время она жила на казенной квартире в здании Адмиралтейства. Через несколько дней Рождественский вместе с Кузьминым и Мандельштамом направились к старой знакомой «на чашечку кофе». У дверей их встретил моряк и повел гулками, мрачными коридорами в квартиру бывшего морского министра Григоровича. Именно ее и занимала Лариса. Больше всех растерялся в этой обстановке несколько рассеянный Михаил Кузьмин, он то и дело отставал и с тайным благоговением осматривал висевшие на стене полотна с изображением батальных сцен и расположенные здесь же портреты знаменитых флотоводцев. Подойдя к двери Ларисиних апартаментов, матрос церемонно доложил о прибытии гостей. Лариса встретила их в тяжелом, прошитом золотыми нитками халате, чистый, строгий

пробор на ее голове украшала тугая каштановая коса, аккуратно уложенная кольцом. Старые друзья расположились в небольшой комнатке, задрапированной экзотическими тканями, широкая низкая тахта была завалена английскими книгами, исключение составлял толстый древнегреческий словарь, лежавший по соседству. По углам комнату украшали бронзовые и медные будды, а на фоне сигнального корабельного флага красовался наган и гардемаринский палаш. Низкий восточный столик украшало бесчисленное количество флакончиков с духами, каких-то сосудиков и ящичков — все было выдержано в восточном стиле и удивительно гармонировало друг с другом. Гости удобно расположились в комнате, завязалась оживленная беседа. Делились впечатлениями о войне, о боях. Затем разговор плавно перешел на литературную тему: обсуждались последние новинки в поэзии и вообще в литературной жизни Петербурга. Обойти эту тему было невозможно, тем более, что полным ходом шла подготовка к маскараду, который должен был состояться в Доме искусств.

Об этом событии стоит рассказать несколько подробнее. В то время писатели всех поколений нашли себе пристанище в двух верхних этажах красивого здания на углу Невского и Мойки, в бывших апартаментах братьев Елисеевых. Здесь же, в холодных гостиных они устраивали свои диспуты, вели занятия различных студий. В общем, это было чуть ли не единственное место, где интеллигенция города создавала новое советское искусство. Инициатором создания этого дома стал А. М. Горький. Он одновременно являлся как бы ангелом-хранителем для его питомцев. Горький неустанно хлопотал в разных инстанциях, стараясь

обеспечить литераторов дровами, светом, продовольственными пайками. В особом душевном и творческом подъеме находилась литературная молодежь. Их оптимизму и веселью не могли помешать ни голод, ни холод. Именно в такой обстановке обитатели Дома искусств решили устроить маскарад. Он должен был стать символом рождения новой эры в литературной и общественной жизни страны. К подготовке подошли со всей серьезностью. Сумели даже договориться с тогдашним директором государственных театров — Экскузовичем насчет костюмов из Мариинской оперы. Продовольственный отдел Петрокоммуны помог с продуктами, а Главтоп пообещал отопить весь дом. На праздник были приглашены деятели литературы, музыки, театра. Костюмы, привезенные из театральных мастерских, оказались далекими от идеалов, и устроителям маскарада пришлось в кратчайшие сроки приводить их в порядок. В результате пестрая толпа маскарада состояла из гостей ларинского бала в деревне, стрелецких жен, днепровских русалок, офицеров из «Пиковой дамы», севильских табачниц, были здесь даже мыши из балета «Щелкунчик». В период подготовки именно к этому балу и зашли три товарища к Ларисе. Она хотела непременно присутствовать на празднике, но никак не могла выбрать костюм. Мандельштам посоветовал ей нарядиться в тунику Артемиды-охотницы, но Лариса высказала опасения, что в ней она попросту замерзнет, да и такой вид может смутить чопорных дам из Дома искусств. Тогда Всеволод высказал почти криминальную мысль. Он пожелал видеть ее в бело-голубом платье с кринолином из балета Карнавал. Тонкие ноздри Ларисы дрогнули. Она прекрасно знала этот

шедевр портняжного мастерства. Платье было подлинной драгоценностью: во время спектакля, когда актер выходил в нем на сцену, за кулисами дежурила целая бригада портных и гардеробщиц во главе с Экскузовичем. Последний ни за что бы не согласился одолжить этот раритет даже на четверть часа. Но все это уже не имело значения, у Ларисы загорелись глаза, она на секунду задумалась, прикусив нижнюю губу. Весь ее вид говорил о том, что она будет на балу в этом платье, чего бы это ни стоило.

Наконец, настал долгожданный день. Дом искусств заметно преобразился: стены были задрапированы самым немислимым образом, везде, где только возможно, висели декоративные лампочки, художники создали галерею дружеских шаржей. Апофеозом всего было огромное панно, изображавшее красноармейский штык, безжалостно вонзенный в толстое пузо мирового капитала. Постепенно начали собираться гости. Они поднимались по мраморной лестнице парадного входа. Зеркала отражали веселую пестроту маскарадного шествия. В зале слышались звуки настраивающихся скрипок, буфет издавал порядком подзабытые запахи. Вдруг на мгновение все затихло — и грянул вальс. Веселая толпа, разбившись на пары, завертелась в безумном цветном вихре. Рождественский, туго затянутый в старинный офицерский мундир, стоял у стены и смотрел на танцующих. Толпа напоминала рассыпанный по стеклянному полу бисер: свет люстр отражался в каждой блестке, монистах, бусах. Он чувствовал себя поручиком Тенгинского полка. Неожиданно его взгляд упал на только что появившуюся маску в бело-голубом платье. Открытые ослепительные плечи отражали все огни в зале, блестя-

щие локоны были перехвачены лиловой лентой, и знакомый дерзкий взгляд смотрел из прорези полумаски. Она была ослепительна. Гости расступились, чтобы дать дорогу прекрасной незнакомке. Она подошла к Всеволоду, положила руку на плечо — и их понесла бессмертная музыка Штрауса. Они кружились среди цыганок, гусаров, рыцарей, все ускоряя и ускоряя движения. Музыка окутала и опьянила их. Лариса торжествовала. Всеволоду пришлось в очередной раз признать, что для этой женщины нет ничего невозможного. Неожиданно огромные глаза Ларисы расширились. Всеволод оглянулся и все понял: в дверях стоял директор государственных театров Экскузович. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Лариса постаралась затеряться в пестрой толпе, затем они в мгновение ока проскочили через буфет и едва ли не кубарем скапались по внутренней лестнице. Лариса накинула шубку на плечи, и через секунду автомобиль Морского штаба уже нес их к костюмерным мастерским. Еще немного — и они у цели: узкие коридоры, развешанные везде костюмы, картонный реквизит... Их встретила маленькая круглая костюмерша, бережно приняла платье и вздохнула с облегчением. А в это время Экскузович, крича на весь елисейский дом, сообщал кому-то по телефону: «Я сам видел его здесь десять минут назад. Собственными глазами...»

Конечно, тот, кто хорошо знал Ларису Михайловну не удивится этому эпизоду из ее жизни. В то время, как на работе она была строгим и требовательным начальником, дома, сняв бушлат, Лариса превращалась в утонченную женщину, живо интересующуюся искусством, литературой, поэзией.

Наступившая весна принесла в жизнь Всеволода

и Ларисы забытый запах юности. Они снова гуляли по старым местам, вспоминая прожитые годы. Лариса любила смотреть на свой город, невольно подмечая перемены: к помпезной величественности зданий, темной северной зелени прибавились удивительная скромность и простота — город на глазах перерождался, этот неуловимый процесс угадывался по тысячам примет. Петербург не умер, он сохранил все лучшее в себе, уберег от гибели порывы человеческой гениальности, воплощенные в скульптурах, памятниках, дворцах.

Во всех советских очерках о Ларисе говорится как о девушке незамужней, но на самом деле у нее был муж — Федор Ильин (больше известный как Раскольников). В 1919—1920-х годах он командовал Волжско-Каспийской военной флотилией, далее его перевели на Балтийский флот. С 1921 по 1923 год он — полпред в Афганистане. Все это время Лариса была рядом с мужем. Так почему же биографы стыдливо обходят этот факт ее жизни? Дело в том, что именно Раскольников написал то знаменитое письмо Сталину, в котором обвиняет Иосифа Виссарионовича в репрессиях. Написав это послание, Федор, боясь ареста, остался за границей. На родине его заочно исключили из партии, лишили советского гражданства и объявили врагом народа. Вскоре после этого он умер на чужбине. Но это было потом... А в те бурные после революции годы Лариса Рейснер провела с мужем на море. Поначалу моряки ее не приняли. «Женщина на корабле — плохая примета», — считали многие, но мужество, обаяние, ум Рейснер помогли развеять этот миф. Имя Лариса переводится как «чайка».

Однажды Лариса Михайловна беседовала с писателем Львом Никулиным. Последний как бы между

прочим сообщил ей, что в химической лаборатории его приятеля хранятся цианистый калий и синильная кислота. Ларису эта информация очень заинтересовала, и, немного поколебавшись, она попросила Льва Вениаминовича достать ей этот яд: «Если, например, попадешь в лапы белогвардейцев... Если обезоружат. Я — женщина, а это — звери». Разумеется, это только на крайний случай. Эта беседа имела неожиданное продолжение в жизни. В то время как Казань и ее пригороды были заняты белыми, Лариса Михайловна решила под видом крестьянки проникнуть в город и разведать силы противника. Это была очень опасная операция, но Рейснер со свойственным ей упрямством убедила командование, что ей это удастся. Проникнув в Казань, она действительно выяснила, где у белогвардейцев штаб, артиллерия и кое-какие другие детали дислокации войск. Утомившись после долгого хождения по городу, Лариса присела отдохнуть. Тут-то и разглядел красивую женщину молодой белогвардейский поручик. Не мудрствуя лукаво, он начал грязно приставать к ней, а когда получил решительный отпор, позвал солдат. Так Рейснер попала в контрразведку. На допросах она продолжала вести себя, как обычная крестьянка, старательно разыгрывая святую невинность. Неожиданно среди арестованных Лариса заметила двух матросов-балтийцев. Конечно же, они ее узнали. Ребятам оставалось жить несколько часов: беспомощные, окровавленные, они сидели неподалеку от нее. Матросы несколько раз переглянулись между собой, но Ларису не выдали. Поняв, что отсюда опасности ждать не стоит, Рейснер продолжила разыгрывать глупенькую крестьянку. Белогвардейцы поверили, но все же зачем-то заперли ее в сарае. Просидев там несколько часов, Лариса бежала. Она

неслышно выбралась из своего заточения и вскочила в проезжавшую мимо пролетку. Возничий правильно оценил намерения измотанной, в изорванной одежде девушки. Долго петляя по городу, он привез ее домой. Как выяснилось позже, его сын тоже служил в Красной Армии. Авдотья Марковна — жена извозчика — накормила беглянку, снабдила одеждой, едой, деньгами, и Лариса отправилась назад к своим. Немного позже, на Волжском фронте, Лев Вениаминович вспомнил о ее просьбе добыть яд. Лариса ответила на это: «Хорошо, что не дали... Не пригодился. Хотя, с другой стороны, если бы не удалось удрать, что со мной сделали бы.»

Поездка в 1921 году в Афганистан, которая так радовала Ларису Рейснер поначалу, томительно затягивалась. Караванная тропа, соединявшая чужую страну с родиной, казалась тонкой, ненадежной нитью. Газеты и письма из Москвы шли почти месяц и сообщали о тревожном: разруха, голод. «Голод! Радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабьего услужения оно бьет нас по щекам», — записывала она. Жизнь «под вечным бдительным надзором целой стаи шпионов» требовала от нее, не привыкшей молчать, молчания, от нее, слишком прямой, — дипломатической гибкости. Поражала забитость афганского народа, и в особенности женщин, отделенных от мира «складками своей чадры». Воительница за будущее, Лариса оказалась в глубоком прошлом... Ко всему этому она жестоко страдала от приступов тропической малярии, которые повторялись в непривычном климате очень часто. «Эта болезнь, — призналась она как-то Вере Инбер, — мучит не только тело. После припадка у меня остается ощущение полной пустоты, как будто пришло какое-то злое

животное и объело всю зелень, которую я развела у себя в душе».

Оазисом в пустыне была творческая работа, но и тут Ларису связывали ограничения. В письме А. М. Коллонтай она жалуется на искусственно суженный радиус наблюдений. Природа и женская половина двора — как это мало было для ее закаленного в гражданской войне революционного темперамента! И вот из этих как будто отрывочных впечатлений завязывается книга «Афганистан». Книга, в которой есть все: и тоска по родине, и воинствующий дух автора, сам Афганистан — выжженная солнцем страна. Достаточно ей было посетить первую афганскую больницу, чтобы сделать безошибочный вывод: «Реомюр под мышкой... афганца — пограничный столб, единица, с которой начинается новое культурное летоисчисление». Выпускница женской годичной школы, публично сдающая свой первый и последний в жизни экзамен, в ее глазах не просто трогательный объект для наблюдения, а знамение времени, ибо «из этой первой задачи, решенной афганской девочкой, некий бес истории втихомолку приготовляет нечто... имеющее взорвать на воздух и этот вал с колоннами, и непроницаемые занавески гарема».

Осенью 1923 года Германия была взбудоражена революционными событиями. Очень скоро Рейснер оказалась в Берлине. Ей хотелось написать книгу «пеной и трепетом» девятого вала германской революции, а его так и не было. Чтобы понять причины этого, чтобы разобраться в уроках Гамбургского восстания, необходимо было глубокое знание жизни страны. Рейснер начинает изучать Германию и «все, что в ней живого и мертвого», читает множество книг, участвует в берлинских демонстрациях.

Прорвавшись в Гамбург, поселяется в рабочих кварталах, «по потухшим разрозненным уголькам» восстанавливает хронику недавних событий. Три цикла очерков о Германии — «Гамбург на баррикадах», «Берлин в октябре 1923 года» и «В стране Гинденбурга». О Гамбурге и гамбургских рабочих Рейснер пишет влюбленно. «Героиня» второго цикла — дочь зажиточного рабочего маленькая Хильда. «Хильда кушает хлеб, намазанный салом, и когда очень сыта, то прополаскивает свое сытое брюшко водой». Девочка Хильда, которая по просьбе матери поет сначала «Интернационал», «потом про рождественское дерево, потом из избранного венка псалмов». Товарищи по Афганистану рассказывают, как она пугала и ошеломяла их, когда, встав наутро после изнурительного припадка малярии, садилась на коня, непременно и часами ездил по знойному Кабулу. Смерть все опрокинула, положила конец всему. Бацилла брюшного тифа оказалась коварнее снарядов, мучительной лихорадки и ледяной воды афганских рек, которую Лариса, лишенная всякого чувства самосохранения, пила так легкомысленно, так долго и жадно, словно хотела напиться на много лет вперед.

КРЕМЛЕВСКИЕ ЛАБИРИНТЫ

ТАТЬЯНЫ

Мир «звезд» живет по своим жестоким законам. Успех, поклонники, деньги, роскошь, власть — лишь одна сторона медали. С другой ее стороны — постоянная борьба за место под солнцем, за желание продлить сладкий миг удачи и признания; взлеты и падения, разбитые судьбы. «Звезды» окружены не только «созвездиями» им подобных, вокруг них — завистники и неудачники. Вокруг — фанатики и меценаты с неуравновешенной психикой. А самые главные в окружении «звезд» кто? Ну, конечно же те, кто эти звезды зажигают...

Стаи честолюбцев, авантюристов, графоманов, безумцев, мечтающих «навеять человечеству сон золотой», устремлялись к огням звезд на башнях Кремля. Огромные рубиновые звезды манили к себе, обещая успех, славу, почет, богатство и власть. Тихое мерцание праха сгоревших здесь никого не пугает. Этот по-своему загадочный свет, как северное сияние, как страшная сказка, — только обостряет радость от чувства тепла и собственной безопасности. И редко кто задумывается о цене кремлевско-звездной жизни, о природе тихо мерцающего праха... Те, кто в полной мере знает цену всего этого, в большинстве своем или очень стары, или мертвы. Это знание мертвых. Почему так печально-трау-

рен и страшен эпилог жизни «кремлевских звезд»? Неизбежен ли он? К сожалению, да! Неизбежность жестко определена самой природой «звезд» — они гаснут, потому что не вечны. Одной из кремлевских звезд была и Татьяна Окуневская.

И вот эта женщина через много лет решила рассказать о себе все. «В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка, маленькая, беленькая, похожая на крутолобого бычка. И любила эта девочка выковыривать пальчиком варенье из сладкого пирога и гордо стояла в углу, когда наказывали несправедливо, а когда справедливо — редела во все горло и, обидевшись, лезла под стол и зловещим шепотом вещала: «Пусть я больше никогда не вылезу из-под стола». А однажды, это было сразу после революции, был голод, имение на Волге у родителей еще не отобрали, приехали гости, и все сидели на террасе. Танечка, вертя носочком тувельки, обрадовала гостей: «А у нас есть варенье!..» Услышав, что из дома ее зовет мама, побежала... «Танечка, зачем же ты сказала гостям, что у нас есть варенье, его ведь совсем немного, и теперь придется поставить варенье на стол». Танечка стрелой выбежала обратно на террасу и громко сказала: «Нет, у нас нет варенья!» Когда ее спрашивали: «Как зовут тебя, девочка?», ласково отвечала: «Танечка», и уж с таким веселым и хитрым личиком, что и не найдешь такого второго. Только не было у нее девчачьих косичек — вместо волос был пух, тоненькие шелковинки, как льняное сияние вокруг головы...

...Я работаю курьером в Народном Комиссариате Просвещения, а вечером учусь на ненавистных мне, противных чертежных курсах рядом с моим «Великим немым». В мои обязанности входит разносить бумаги и документы по Комиссариату. Иногда их

отвозят в гостиницу «Метрополь», где живут вожди. Я растерялась, когда приехала в первый раз: старинная дореволюционная шикарная гостиница с коврами, хрусталем, номера из нескольких комнат. Я застыла у массивной двери, не решаясь позвонить, я показалась себе такой букашкой в своих тапочках и в майке.

На этот раз хозяин пакет из рук не взял, ввел меня в кабинет, усадил: распечатал конверт и стал его долго читать.

— Ты, наверное, устала, голодная.. Перекуси, у меня все стоит на столе! — В его голосе что-то противное, и сам он старый, тоже противный. Он обнял меня за плечи и подвел к столу, заставленному всем самым вкусным. Ударило в голову воспоминание, как я с подругой пошла слушать к ее знакомому, взрослому человеку, пластинки. Он послал подругу за чем-то в магазин, а на меня набросился.. Это была коммунальная квартира, я начала кричать, он меня выгнал, и я, рыдая, нашла подругу у подъезда. Здесь кабинет от коридора через две комнаты. Кричи не кричи — никто не услышит! Я сбросила с плеч его руку.

— Я таких яств никогда не ела! Мне от них будет плохо!

Он опешил. Что же он ожидал, что я начну все хватать со стола и брошусь ему на шею?! Быстро и гордо я пошла к двери. Сердце выпрыгивало. До двери уже немного. Около уха его сопение. А если сейчас собьет с ног?.. А если дверь заперта?.. Хватаю за ручку. Заперто.

— Откройте дверь!

Он повернул ключ, и я почти вывалилась в коридор.

— Как ты сюда попала?! Ты что здесь делаешь?

Что с тобой?! Меня подхватил дядя Коля Бухарин. Я стала что-то лепетать... Сверкнув глазами на дверь, из которой я вывалилась, дядя Коля повел меня по коридору.

— Боже, как ты выросла!.. Я бы тебя и не узнал в нормальном состоянии. Ты похожа на ребенка, только обиженного. Как папа? Я его давно не видел...

Он нарочно болтает, чтобы я пришла в себя. О случившемся ни одного слова. Он все понял... Как стыдно! Что он может подумать?!

— Я провожу тебя. Где ты живешь? Я посажу тебя на трамвай. У подъезда он повернул меня к себе и, смотря прямо в глаза, спросил:

— Ты только одно скажи: как ты попала в «Метрополь»?

Я рассказала. Он бросил меня и побежал обратно в гостиницу.

А я тихо пошла домой. С папой об этом говорить ни в коем случае нельзя — он ворвется в «Метрополь», выбросит всю эту требуху на улицу, это тараканье гнездо, этих жаб, этих мокриц!.. Но ведь не все же вожди такие?! Дядя Бухарин другой... Он отомстит за меня... Он убьет этого старикашку!.. Как он смел!!! Как он...

Митя... Митя... Моя первая любовь... На свадьбе я сломала каблук, и кто-то сказал, что это плохая примета. Первая брачная ночь. Митя и терпелив, и мягок, и нежен. Когда мой страх прошел и это все случилось, Митя, вытащив из-под меня простыню, куда-то исчез. Ошеломленная, жду Митю. Может быть, так и надо сразу куда-нибудь исчезнуть. Уже прошло часа три, а Мити все нет, и спросить, что делать дальше, не у кого. У папы теперь об этом тоже не спросишь... Митя появился только к вечеру, сильно выпивший, и сказал, что они с братом «обмывали мою невин-

ность». Я постепенно осознаю тот разговор с Папой на нашей скамейке: «Человек не нашего круга». Папа говорил о воспитании. Митя вообще не знает, что это такое, и приходится нам к нему приспособливаться, ломать себя в другую сторону... И дела мои плохи. Моя карьера в кино тоже закончилась печально: съемки фильма затянулись, беременность стала видна, нашли похожую на меня прибалтийскую девушку, стали снимать ее, а меня оставили только на общих планах в больших массовых сценах, снятых на шахте. А потом был какой-то пленум ЦК по идеологии, и почти готовый фильм закрыли, как не отвечающий линии партии на шахте. Заработанные деньги кончились. Пока Митя учился в институте, Папа и Баби (бабушка. — Г. К.), как мышки в норушку, несли нам все, что могли. А после окончания института Митю по партийной линии оставили деканом режиссерского факультета, он стал получать зарплату, но часто эта зарплата остается в ресторане или на пирушке, когда появляются тбилисские друзья, а я тащусь с ребенком к своим пообедать. Мои, конечно, видят все, но молчат, и только раз, когда я завязала шею платком, Папа платок снял и увидел синяки, мне пришлось рассказать, что Митя душил меня из ревности.

— Надо терпеть, теперь у вас ребенок, и о разводе не может быть и речи.

Я ни о ком не думаю, я его еще люблю, я сделала бы все, чтобы спасти нашу любовь, а он ведет себя, как распоясавшийся человек, знающий, что ему все дозволено. Так стыдно перед Папой! Сегодня четверг... сумрачный... я вообще не люблю четверги... все неприятности у меня по четвергам... Мама и Папа, и мы устраиваемся кормить Малюшку грудью: Папа сделал для меня специальную маленькую ска-

меечку, они усаживаются по бокам и умиленно наблюдают. Митя пришел раньше обычного, выпивший, еле поздоровался и, не обратив на нас внимания, сел за стол.

— Ну, и сколько же еще будет длиться это зрелище?! Я тороплюсь! Где обед?!

Мы вздрогнули от его слов и тона. Митя вскочил, схватил с моих колен Малюшку и бросил на кровать. Девочка соскользнула на пол. Все произошло в мгновение. Папа дал Мите пощечину.

— Быстро соберите вещи!

Я молю глазами Митю попросить прощенья, но он опешил от отпора и стоит у печи, растерянный, жалкий. Вот и все. Я снова вернулась с моей маленькой девочкой в нашу маленькую комнату».

Потом вокруг нее всегда было много мужчин, готовых положить к ее ногам и партбилет, и карьеру. Все поклонники ее страстно обожали. Она была красивой, эксцентричной и независимой. Из-за нее потеряли голову югославский посол Владо Попович, маршал Тито. Последний звал ее в Югославию, где обещал золотые горы. Дай она согласие, он подарил бы ей дом в Загребе и собственную киностудию. На спектакли от его имени приносили букеты из двух сотен черных роз.

Не остался равнодушен к Татьяниной красоте известный своей любвеобильностью Берия. Она дважды против собственной воли стала его гостьей. В первый раз он пригласил ее будто бы для выступления на концерте. После того, как концерт не состоялся, Берия ее попросту изнасиловал. Второй раз он уже ничего не придумывал. Однако слушаться она не могла — это означало смерть. От ста-

линских лагерей Окуневскую не спас никто. Она была объявлена иностранной шпионкой и отправлена на допросы к Абакумову — палачу не по профессии, а по призванию. Пытками и лишениями он пытался добиться от нее согласия на интимное общение с ним. Но она предпочла пройти все муки ада. Окуневская общалась со многими знаменитыми писателями, поэтами, актерами. Она любила свою профессию, любила людей. Благодаря браку с Борисом Горбатовым — секретарем Союза писателей и лауреатом Сталинской премии, она попала в общество советской номенклатуры. Пост мужа открывал большие возможности для улучшения материального положения: это и новая квартира, и дача в Серебряном Бору, и лучшее медицинское обслуживание. Она часто посещала кремлевские приемы, общалась с партийной элитой страны. Но это была только одна сторона ее жизни.

Другая сторона была мрачной и безнадежной: бабушка и отец Татьяны были репрессированы. Сама Окуневская провела в сталинских лагерях 6 лет. Они вымотали ее, лишили здоровья — в общем, сломали всю жизнь. Несмотря на опухшие ноги, отсутствие жилья и полное одиночество, дух ее оставался крепким, и, вернувшись, она становится писательницей. Ей есть что сказать людям: она может рассказать правду о сталинской эпохе. Ее мемуары дают ощущение того, что вместе с ушедшими временами возвращаются и люди.

Первая поездка Татьяны за границу оставила глубокое впечатление в душе. Она поняла, что та тревога, которая сквозила в наших фильмах о загранице, далека от истины. Она воочию увидела свободную страну и свободных людей. По возвращении она не могла избавиться от ощущения ущербности

нашего духа и, может быть, поэтому она отличалась эксцентричностью суждений и оригинальным мировоззрением.

Одним из первых, кто позвонил Татьяне после ее приезда из-за границы, был Берия. От его противного хихиканья ее начало подташнивать. На это раз он опять прибегнул к хитрости, чтобы выманить ее из дома и отвезти к себе на дачу. Ровно в 23 часа к ее дому подъехала машина. Вышедший офицер грубо затолкал Татьяну на заднее сиденье. Там был Берия. О том, что он был охотником за женскими телами, Татьяна знала не понаслышке, и она понимала, зачем и куда ее везут. Машина рванула с места. Берия продолжал мерзко хихикать, и когда они уже выехали за город, он признался, что обхитрил ее. Единственная мысль, которая пульсировала в голове у Татьяны: «Убью его! Убью его! Убью!» Ничего подобного, конечно, на самом деле совершить было невозможно.

Ее привезли в двухэтажный дворец с зимним садом. Офицер испарился. Его заменила горничная, с презрением глянувшая на гостью. За столом Татьяна сидела молча. Ничего не пила и не ела. Берия же, напротив, ел руками, много пил. Наконец, насытившись, он схватил девушку, раздел и поставил на стол. Это была страшная, унижительная картина. Безобразный, жирный Берия не отрывал своих маленьких мерзких глазенок от Татьяны. Он хрипел, задыхаясь от счастья. Вероятно, так хрипит дикий зверь, поймавший свою жертву. Ночью он исчез. Но недалеко. Она чувствовала его присутствие где-то рядом. Татьяна, окаменев от унижения и ужаса, сидела в спальне. Назад возвращались на той же машине. Он по-прежнему был игрив и нагл. Неожиданно Берия заговорил о Тито. В едкой форме по-

интересовался, как ей жилось в Югославии. Затем он взял девушку за подбородок, но встретив поток ненависти в ее глазах несколько поостыл.

— Что вам надо?! — заревел он. — Я второй раз с вами, и это честь для вас, я за ваш поцелуй многое могу для вас сделать! А что, спать и целоваться с этим дураком Горбатовым, вонючим жидом, трусом, карьеристом, приятнее?!

Татьяну просто вытолкнули из машины возле ее подъезда... Профессиональная жизнь складывалась лучше. Татьяна сыграла немку-иммигрантку в пьесе американской писательницы и драматурга Лиллиан Хелман. Причем игра была настолько удачной, что актриса удостоилась похвалы самого автора.

Постепенно Татьяна приходила в себя после посещения Югославии. Стала замечать окружающих, приглядываться к городу. Он потрясает ее своими переменами, причем в худшую сторону. Чувствуется наплыв странных чужих людей. Между ними идет постоянная война за комнаты, квартиры. Законные владельцы никак не могут заселиться в оставленные перед эвакуацией жилища. А хлынувшее в столицу подмосковье грубо, поспешно завладевает всем, что попадает под руку... Неожиданно в Москву прилетает маршал Тито. Татьяна по газетным публикациям следит за его встречами, интервью. Татьяну приглашают на прием, посвященный Тито, но не в официальную резиденцию, а в ресторан гостиницы «Метрополь». Там ее ждет шикарный банкет... Ее потряс внешний вид маршала. Мундир, который блестяще сидел на нем, делал Тито еще более привлекательным. Посол Попович, встречавший гостей, двусмысленно сжал ее руку и, давая понять, что знает что-то важное, заглянул в ее глаза.

Воздух «Метрополя» напоен тонкими ароматами, смехом и музыкой, которая разливается в огромном пространстве зала. Знаменитый фонтан, который частенько служил бассейном для сильно перебравших дам и джентльменов, искрится разноцветными блестками. Наконец свет гаснет. Начинаются танцы. Вместо люстр включается серебристый шар, который разбивает потоки света на мириады мерцающих огоньков. Зазвучал вальс. Возволнованный и возбужденный Тито, направился к Татьяне. Танцующие расступились, давая простор для достойной пары: маршал в мундире с золотом и блистательная партнерша в алом панбархате. Тито был великолепным танцором. Так держались с дамой только царские офицеры. Во время танца маршал сделал ей странное предложение. Он хотел, чтобы Татьяна переехала жить в Югославию. Он попытался объяснить ей, что жениться на ней он не может, так как народ вряд ли примет его женитьбу на иностранке, в особенности, когда политическая ситуация в Югославии нестабильна. Но в то же время, если бы она поехала туда одна, он сделал бы все, чтобы она ни в чем не нуждалась.

— Я все продумал. — сказал он. — Вы видели, как к вам отнесся народ, вы забудете все тяготы... — Татьяна понимала, что она никогда не примет этого предложения, и поэтому ответила:

— Я не могу уехать из своей страны... Но у меня тоже есть идея: приезжайте вы к нам, вам будет уготовано шикарное место в ЦК. Танец заканчивался. В воздухе повисло волнующее напряжение. Тито в последний раз предпринял попытку уговорить ее переехать жить в Югославию, а на случай, если она вдруг согласится, посоветовал передать о своем решении Владо. Свет зажегся, присутствующие заап-

лодировали. Маршал подвел Татьяну к Борису. Ей было очень неприятно видеть сиявшего от счастья мужа, заискивающе смотревшего на маршала. Наутро до Татьяны дошла радостная новость: Тито пригласил их театр приехать в Югославию. Берсенев был на седьмом небе от счастья. «Вы представляете, — восторженно кричал он в трубку, — мы наконец вырвемся за границу! Видите, какой успех у спектакля!» Вдохновленные известием актеры играли в тот вечер блистательно. После пятого акта, когда занавес закрылся, зал буквально захлебнулся шквалом аплодисментов, актеров засыпали цветами. Среди прочих восторженных зрителей был и Владо. Они встретились глазами. Татьяна тут же отметила про себя, как он потрясающе красив. Она подумала, как умело он носит мундир, как хорошо держится. Именно в этот вечер она получила от Тито знаменитую корзину черных роз. Маршал покинул страну. Больше они не виделись. Но всякое ее появление в главной роли отмечалось корзинами теперь уже кроваво-красных роз. Свой дом... Как давно она мечтала о нем. В нем она могла быть полновластной хозяйкой, общаться с тем, с кем она хотела общаться, и отмечать свой любимый Татьянин день. Теперь этот дом у нее был. Деятельность мужа привела к тому, что на них посыпались блага, словно манна небесная. Они отдыхали в Переделкино, лечились в кремлевской больнице и получали продовольственные пайки, содержащие немыслимые для тех времен деликатесы. Меньше всего Татьяне хотелось посещать больницу, но с легкой руки ее шофера Юрки, разбившего «мерседес», она все-таки туда попала. Ссадина была ерундовой (рассечена бровь), но то количество заботы, которое она встретила в больнице, просто поразило ее. Белобрысый,

курносый 19-летний Юрка попал в эту аварию по глупости. Обычно он возил Татьяну на «москвиче», но когда тот забарахлил, Юрке пришлось пересестись на «мерседес». Обе эти машины, конечно, здорово отличались друг от друга, и Юрка просто не учел этих обстоятельств. В 6 часов утра они возвращались с ночной съемки. Погода была мерзкая, холодная. Татьяна сидела на переднем пассажирском сиденье. По дороге домой им пришлось пересекать трамвайные пути. Юрка решил, что успеет проскочить через рельсы, прежде чем показавшийся вдали трамвай доедет до этого места. Однако, когда автомобиль переезжал через вторые рельсы, мотор неожиданно заглох. Трамвай, словно лишенный управления, несся прямо на них. Юрка бросился к нему, стал размахивать руками, но трамвай как будто был без водителя. Отскочив в сторону, Юрка не своим голосом крикнул Татьяне, чтобы она выскакивала. Та успела только открыть дверцу — и ее ударом выкинуло в сугроб. Чуть позже выяснилось, что вожакая просто задремала, а когда очнулась, делать что-либо было уже поздно. Протокол составлять не стали — пожалели женщину.

Карьера ее мужа Бориса развивалась как нельзя лучше. Он получил Сталинскую премию за «Непокоренных». Татьяна нашла это очень странным, так как не считала «Непокоренных» каким-то особенным произведением. Она понимала, что премию он получил только потому, что умудрился издать эту книгу огромными тиражами на всевозможных языках.

Татьяну несколько обескуражили вдруг свалившиеся на их голову блага. Борис приносил ей самые невероятные пропуски. Один из них — пропуск на паперть Богоявленского патриаршего собора на

праздник Пасхи. Она и не представляла о существовании таких пропусков! Обычно они выдавались дипкорпусу, но иногда еще и тем, кто мог достать их по благу.

Татьяна очень любила обращаться к опыту прошлых лет. Она болезненно воспринимала современную интеллигенцию и видела, как невыгодно та отличалась от дореволюционной. Она видела облаканных правительством выскочек-писателей, художников, специализирующихся в написании портретов членов ЦК. Ее охватывал ужас, когда она не могла найти в интеллигенции тех настоящих, предопределяющих черт, которые и позволяют назвать человека интеллигентом. Современное ей высшее общество представляло собой группу однообразных вождей, их жен и детей. Они все были одинаково неприятны ей. В глазах Татьяны они были серыми, с пустыми глазами и лицами, лишенными каких бы то ни было человеческих страстей. Говорить с ними было сложно и неинтересно. Творческая интеллигенция с течением времени становилась похожей на них. Не исключением были и Борис, и Садкович, и Константин Симонов.

Татьяна посещала приемы, устраиваемые Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей (ВОКС). Там собирались, как правило, по-настоящему воспитанные, интеллигентные люди, витал совершенно иной дух. Этим воздухом хотелось дышать и наслаждаться. Старинный особняк нежно-голубого цвета, в котором находился ВОКС, уже сам по себе располагал к приятному общению. Все здесь — деревья, гардины, мебель, свет — настраивало на духовность. Именно здесь Татьяна встретила Зою Федорову — актрису прошлого поколения. В тот момент у Зои был роман с американским мор-

ским офицером. Это была на удивление красивая пара. Они не стеснялись своей любви и не скрывали ее. Здесь же Татьяна встретила своего давнего возлюбленного — выдающегося советского пианиста Гилельса. Он был искренне рад встрече. На Татьяну сразу нахлынули воспоминания. Много лет назад они встретились в Горьком, и талантливый пианист полюбил ее на всю жизнь. В эту встречу он признался, что не пропускал ни одного спектакля с ее участием, по несколько раз смотрел фильмы, в которых она снималась. Он следил за всеми переменами в ее жизни. Знал о муже, дочери, ее поездках за границу, любви к ней Тито. Татьяна испытывала к Гилельсу такие же нежные чувства и могла бесконечно слушать музыку, рождавшуюся под его волшебными пальцами.

Забеременев от Бориса, Татьяна решила во что бы то ни стало избавиться от ребенка и сделала аборт у какого-то кустаря. И вот она снова попала в Кремлевку. Ее откачали. С трудом, но откачали. Татьяну стали мучить кошмары, тревоги, она впадает в депрессию, ей чудились странные вещи. Вытащивший ее с того света доктор Корчагин предложил обратиться за помощью к психиатру — пожилой еврейке. Вопреки ожиданиям, врач оказалась холодной и безразличной. Она чуть ли не открытым текстом сказала больной: «Что, с жиру бесишься?» Расстроенная Татьяна пошла к своему доктору. Он как мог утешил ее, говоря о том, что нельзя винить эту женщину. Через ее руки проходит вся гниль нынешней власти, и той особенно невыносимо общаться с женами партийных боссов. Эти крестьянские девки в соболях представляли из себя настоящий театр абсурда. В большинстве своем они были здоровы, больница же для них служила эдаким развлечением. Тем более,

что меню здесь не уступало меню в ресторане «Националь». Среди них трудно было найти умное, обязательное лицо, даже красивые черты не могли скрыть неприглядной сути.

Пока Татьяна лежала в больнице, она порядком устала от бесконечных назойливых приставаний этих женщин, которые ради престижа постоянно искали знакомства с ней. Татьяна очень тяжело пережила этот аборт. У нее пропал аппетит, пропало желание видеть людей и вообще жить. Она не могла найти оправдания для себя. Ситуацию усугубило и общество неприятных для нее людей, находившихся в больнице. Выписавшись, она уехала в Переделкино. Татьяна всегда тяжело переживала непонимание, зависть, обращенную к ней. На одном из приемов, где она была вместе с Валей Серовой, до ее ушей донесся чей-то громкий шепот. Говоривший надеялся на то, что она это услышит: «Две суки продали свою красоту и талант цековским холуям». Только невероятным усилием воли она заставила себя сдержаться. На всеобщее счастье заводная Валя этого не слышала. Иначе непременно бы устроила скандал, а может быть, и побила бы обидчика.

Отношения с Борисом постепенно усложнялись. По вышедшему новому закону, незарегистрированные браки официальными не считались. А Татьяна с ним не была расписана. И желанием посетить казенное заведение, называемое загсом, не горела. Она не хотела уподобиться потоку молодоженов, терпеливо выслушивающих фальшивые напутствия чиновницы с равнодушным лицом, а затем по одному и тому же сценарию, под одну и ту же музыку надевающих обручальные кольца на пальцы друг друга. От всего этого ее коробило. Как уже говорилось, единственным местом, где она отдыхала душой, бы-

ли приемы в ВОКСе. Об одном из них она вспоминает так: «...когда подъехало много машин и мы все пошли через скверик, хлынул проливной дождь. Мы влетели в холл, отряхиваясь, хохоча. Сама собой сложилась непринужденная обстановка». Она любила общество «старых звезд». Татьяна искренне восхищалась великой русской певицей Неждановой и главным режиссером Большого театра Головановым, для нее они были образцом для подражания. Она считала их неповторимыми и недостижимыми в величии таланта. Однажды она разглядела в толпе присутствующих Владо Поповича. После короткого общения с ним ее долго не оставляла мысль, что посол уже давно перестал действовать от имени Тито — похоже, он сам заинтересован в близких отношениях с ней. Татьяна готовилась к гастролям по Югославии. Она знала: ее там ждут. Но планам этим не суждено было сбыться. По каким-то невероятно нелепым причинам ей и артисту Иванову было отказано в открытии визы. Иванову потому, что он бог знает сколько лет назад был женат на иностранке, а Татьяне потому, что она уже в Югославии была. Берсенев не находил себе места: с одной стороны, ломался спектакль; с другой — он понимал, кто и зачем устроил эти гастроли в Югославию. Татьяну же такой поворот дел избавил от лишних объяснений с Тито. Как раз в это время ее мужа с группой журналистов отправили в Японию. Она еще и не знала, что в ее жизни наступил, быть может, самый романтический период. Незадолго до поездки Борис устроил ей очередное выяснение отношений. Все сводилось к тому, что она должна быть осмотрительнее в высказываниях, пожебливее в разговорах с государственными людьми и, в конце концов, она просто обязана вступить в партию! Татьяну этот разговор толь-

ко рассмешил. Конечно же, она не была настолько наивна, чтобы не понять, о чем говорит Борис. Но ей было очень трудно переступить через себя, уподобиться этим мерзким подобострастным лицами. Она хотела быть свободной в суждениях и поступках.

Ее всегда радовало, когда Борис говорил, что она не такая, как все, «не наша». Она этим гордилась. Очень удивило и обидело Татьяну в этом разговоре то, что муж ничего не сказал по поводу отказа ей в визе. Именно об этом она тогда думала. Она смотрела на распаленного монологом Бориса и никак не могла понять, что же на самом деле на душе у этого человека. Татьяну же в этот момент больше беспокоило то, что она будет делать, если после отъезда Бориса снова позвонит Берия. Ее возмущали слова мужа. Однако она решила не расстраивать его перед поездкой в Японию и пообещала подумать над его словами. Звонок Владо Поповича не был для нее неожиданным. По телефону он сообщил ей, что маршал уполномочил его поговорить с Татьяной по поводу очень важного дела. Они встретились в небольшом кафе, так как это было хоть какой-то гарантией, что их не подслушают. Владо был чем-то взволнован. Оказалось, что маршал, удивленный и возмущенный ее отсутствием на гастролях, намеревался поднять скандал. Татьяну это встревожило. Она знала, что любой скандал по этому поводу может пагубно отразиться на ее судьбе. Она попыталась объяснить это Владо, и тот на удивление быстро ее понял и согласился с ней.

— Но маршал спрашивает, — продолжил он, — о вашем переезде в Югославию... Вы уверены, что не поедете?

— Нет, я не поеду. Я буду жить в своей стране.

Владо эти слова еще сильнее заволновали. Татьяна отметила, что в своем волнении он удивительно красив. Чистокровный черногорец, взявший от своего народа все самое лучшее, боевой генерал, он был удивительно привлекателен в этот момент. Наконец, собравшись с мыслями, Владо начал говорить:

— Простите мне все — и бестактность, и вмешательство в ваши отношения с маршалом. Я потерял голову. Я впервые люблю, люблю вас всем существом, безоглядно, с первых кадров вашего фильма. Я прилетел в Белград к вашим гастролям, я не сумел даже придумать предлога...

Это было начало красивого романа. Татьяна не могла поверить, что все это происходит с ней. Ничего подобного в своей жизни она не ощущала. Владо постарался превратить их встречи в сказку. Он нашел домик, в котором все было пронизано его заботой и любовью. Собираясь на свидание, Татьяна испытывала волнение. Всякий раз это было трепетное ожидание встречи. Друзья поражались, замечая, как она изменилась: глаза светились счастьем и вдохновением. Домашние Татьяны полюбили Владо. Однако всему хорошему когда-то наступает конец. Близилось возвращение Бориса из командировки. Владо начал все чаще заговаривать о том, чтобы Татьяна ушла от мужа. Может быть, она бы и сделала это с удовольствием, но Владо вдруг повел себя каким-то странным образом. Из мягкого и ласкового он превратился в грубого и настойчивого. И когда к нему пришло понимание, что он собственными руками рушит свое счастье, Владо совсем потерял голову. Он пытался воздействовать на Татьяну через ее друзей и знакомых, обещал поговорить с Борисом. Он умолял Татьяну переехать в гостиницу,

но получил отказ. Несмотря на это, он снял для нее в гостинице «Москва» номер люкс. С Борисом он все-таки поговорил, но содержание этой беседы никому не известно. Этот разговор поставил точку на их встречах. Но Борис никогда не упрекал Татьяну. Потом они еще неоднократно встречались на приемах. Для обоих это было мучительным испытанием. Владо пытался вернуть Татьяну. Молодая женщина мучилась теми же желаниями. Ей было больно видеть его рядом, но не иметь возможности обнять его, говорить с ним. Она хотела каждый день видеть его улыбку, она помнила все: его привычки, походку, манеру держаться...

Татьяна понимала, что справиться с этим выше ее сил, поэтому ей нужно было одно: чтобы Владо исчез. Она и хотела, и боялась этого. Сердце переполняли прежние желания, но умом она понимала: лучше будет, если Владо отзовут и он вернется в Югославию. Другого выхода она не видела. В один из Татьянинных дней к ней в гости на новую квартиру приехал брат. Она чуть узнала его. Он сильно изменился, похудел, глаза ввалились, волосы стали почти седыми. Заметив ее встревоженный взгляд, Лев попытался подбодрить сестру, мол, ничего страшного, небольшая усталость от поездки. Она понимала, что все далеко не так просто. В Минске, где он жил, опять началась «охота на ведьм», и Лев очень рисковал снова попасть в немилость властям: лишиться прописки и в 24 часа покинуть квартиру. Татьяна не виделась с братом два года. Им было о чем поговорить. Лев был единственным человеком в мире, с которым она могла быть до конца откровенной, рассказать ему все, как на исповеди. Он молча слушал ее и, как в детстве, гладил своей рукой ее шелковые волосы. В тот вечер Татьяна так и не

решилась спросить у Льва о его невесте Люде Врангель, о жене Ирине. Эти женщины исчезли из его жизни в тяжелые минуты лишений. К чести своей, Лев не потерял чувства юмора, он по-прежнему веселил Татьяну анекдотами и дразнил, как в детстве, Татьянкой-обезьянкой. Когда сестра рассказала об обществе, в котором она живет, о том, как тяжело ей найти общий язык с этими людьми, Лев попытался все превратить в шутку, дабы не усугублять мрачные мысли Татьяны. Они долго говорили о Владо. Наконец она могла излить душу, могла не прятать ни от кого своих истинных переживаний. Лев нежно заглянул ей в глаза: «Бедняжка моя... Пришла любовь, подразнила, ушла... И все равно это счастье, что она заглянула».

Вот уже ее лагерные воспоминания: «Молча стоим шпалерами по семь человек у лагерной вахты. Нас много, старух, девочек, женщин, — черная масса в черных тяжелых бушлатах, в черных ватных штанах, в непомерных валенках. Рассвет еще не скоро. Прожектор выхватывает конвой, рвущихся собак. Мороз. В фашистском государстве все это называется концентрационным лагерем, а в нашем коммунистическом — исправительно-трудовым. Вчерашняя пурга опять замела дорогу на лесоповал, дорогу каторжников, пять километров вытягиваем ноги, хватаясь за сугробы. За нами остается что-то похожее на дорогу, все-таки полторы тысячи ступней, а над головой звезды... Огромные северные звезды... Хоть бы пургу, бешеную, сатанинскую вьюгу, чтобы замело и небо, и землю, и лагерь, и вахту, чтобы все смешалось в ад, чтобы вернуться в барак, упасть на нары, в чем есть и как есть, и не шевелиться. Лес валят мужчины. Их уже перевели на следующий участок. Мы, женщины, не должны их видеть, мы должны обрубать сучья

и складывать лес в штабеля. Между нами и уголовницами идет битва не на жизнь, а на смерть, за место под сосной. Выжить можно только под верхушкой. Мы, интеллигенция, оказываемся под основанием. Приемов не знаем. Когда взвалили на плечи сосну, у одной учительницы хлынула из ушей кровь. Выручили нас, как и всю послевоенную страну, «работяги», простой народ, арестованный миллионами, чтобы здесь работать бесплатно за пайку хлеба. Они нам показали, что и как надо делать. Но это стало началом конца: голодные, обессиленные, мы через день-два — в больнице. Пурга кончилась, и в окошко барака вплыла луна... Огромная... Здесь все огромное. Звезды огромные... Солнце огромное. Луна огромная... Мозг чутунный... По нему бьют железкой... Подъем... Неужели я когда-нибудь была ребенком...»

И все же Татьяна Окуневская все выдержала и вернулась. И когда в 1999 году видишь ее на экране телевизора, то понимаешь, что это именно та женщина, которой можно восхищаться. Эта умная и прекрасная женщина достойна поклонения.

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.....	3
ЧАСТЬ I. ЖЕНЫ И СОРАТНИЦЫ	9
«Коллективная мать» (О Н. КРУПСКОЙ).....	9
ВСТРЕЧА С АБСОЛЮТОМ (ОБ Е. СТАСОВОЙ).....	29
ИСПОВЕДЬ ЖЕНЫ ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА (О С. МУШКАТ)	53
«Очень скверно, Юля!» (ОБ Ю. СОКОЛОВОЙ-ПЯТНИЦКОЙ)	78
МАЛЕНЬКАЯ ГОЛУБОГЛАЗАЯ ДЕВУШКА (ОБ О. ЛЕПЕШИНСКОЙ)	98
«Мы длинной вереницей идем за Синей птицей!» (ОБ А. БУХАРИНОЙ-ЛАРИНОЙ).....	121
ХРАНИТЕЛЬНИЦА КРЕМЛЕВСКИХ СОКРОВИЩ (О К. СВЕРДЛОВОЙ).....	150
КАКОЙ ЖЕНЩИНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЖЕНОЙ ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА? (О ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЕ С. БУДЕННОГО)	170
ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ НАДЕЖДЫ (О ЖЕНЕ СТАЛИНА Н. АЛЛИЛУЕВОЙ).....	186
БЕГСТВО К СВОБОДЕ (ИСПОВЕДЬ ДОЧЕРИ СТАЛИНА СВЕТЛАНЫ)	203
МУЗА НЕ ЗНАЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА В ЛЮБВИ (О ЖИЗНИ МУЗЫ РАСКОЛЬНИКОВОЙ).....	230
ЧАСТЬ II. СВОБОДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ	240
ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА ИЛЬИЧА (ОБ И. АРМАНД).....	240
ОПАСНЫЕ ИГРЫ (О Л. СТАЛЬ).....	259
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ДЗЕРЖИНСКОГО.....	268
РОЖДЕННАЯ ДЛЯ УСПЕХА (О Г. ВИШНЕВСКОЙ).....	288
ЛЮБОВЬ И БЕЗУМИЕ (О ЛЮБОВНИЦЕ ЕСЕНИНА Г. БЕНИСЛАВСКОЙ).....	304
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ М. ГОРЬКОГО	317
Мы молоды, пока нас любят!.....	331
ТАЙНА «КРЕМЛЕВСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (О В. ДАВЫДОВОЙ)	353
СЛАДОСТЬ РИСКА (О Л. РЕЙСНЕР).....	375
КРЕМЛЕВСКИЕ ЛАБИРИНТЫ ТАТЬЯНЫ (О Т. ОКУНЕВСКОЙ).....	393

Литературно-художественное издание

Красная Галина Николаевна

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ В КРЕМЛЕ

Ответственный за выпуск *Н. В. Клакоцкая*
OCR - Давид Титиевский, апрель 2017 г., Хайфа

Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.06.99.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Тираж 11 000 экз. Заказ 1517.

Фирма «Современный литератор».
Лицензия ЛВ № 319 от 03.08.98.
220029, Минск, ул. Красная, 5—12.

При участии ООО «Харвест».
Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35—305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

Новая книга Галины Красной «Женские истории в Кремле» представляет собой сборник очерков о женщинах, имена которых вошли в историю Советской страны. Эти женщины, волею судеб втянутые в борьбу между истиной и идеологией, оказались из-за этого лишенными простого женского счастья.

В воспоминаниях этих женщин читателю предлагаются ранее тщательно скрывавшиеся цензурой эпизоды жизни соратниц, жен и любовниц коммунистических вождей, партийных и государственных деятелей.

Судьбы этих женщин непросты, и большинство из них, вольно или невольно став заложницами тоталитарного большевистского режима, обрекли себя на страдания и унижения.

Женские истории, собранные автором, несомненно, будут интересны современному читателю. Это истории поруганного идеализма, истории любви и утрат, и, наконец, истории сопротивления и победы.

